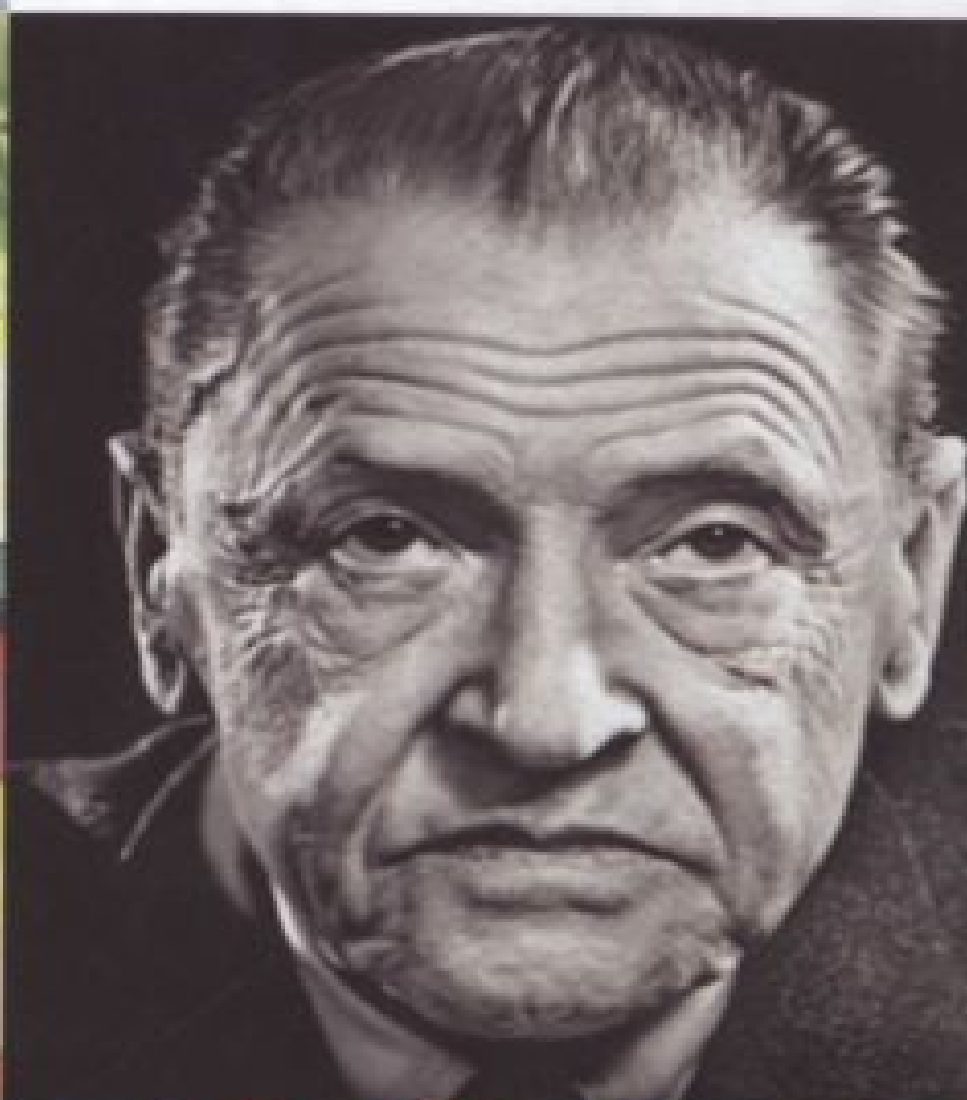
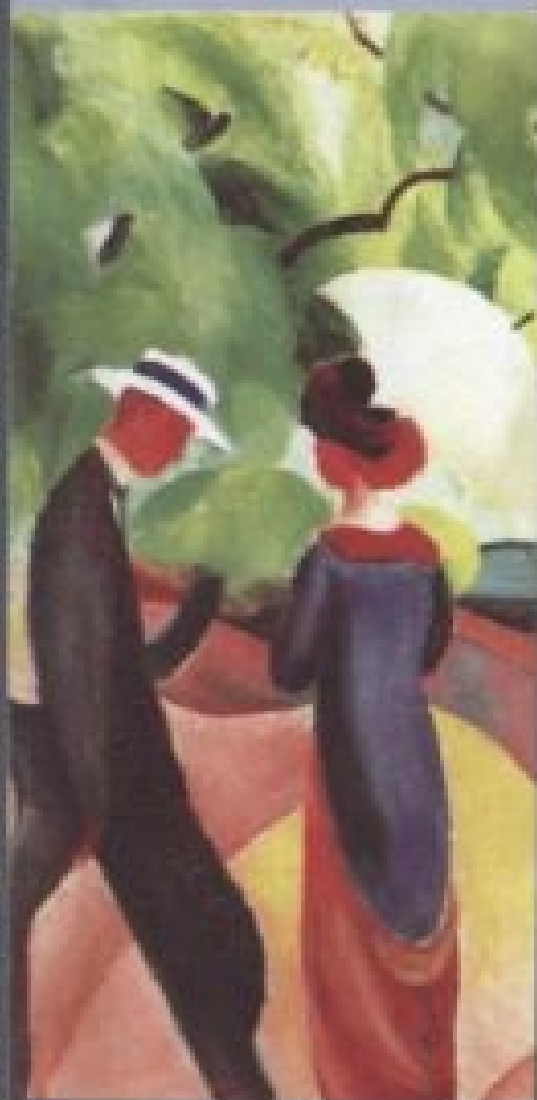


СОМЕРСЕТ МОЭМ



Александр
Либергант



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Герой этой книги был самым читаемым и одним из самых преуспевающих английских писателей XX века. Притом что жизнь он вел вполне упорядоченную и даже размеренную, она оказалась довольно яркой и насыщенной, в ней было всего очень много — много друзей и знакомых, много любовных историй, много путешествий, много творчества. Про таких, как он, говорят — self-made man — человек, который сделал себя сам. Прежде, чем стать писателем, Моэм работал врачом, участвовал в Первой мировой войне, а снискав славу на литературном поприще, попробовал себя в роли резидента британской разведки, в этом качестве ему даже довелось поработать в России в 1917 году. Книги и пьесы Сомерсета Моэма очень популярны и в наши дни. В Приложении к биографии талантливого английского писателя и драматурга представлены путевые очерки Моэма, еще не публиковавшиеся на русском языке и переведенные автором книги.

- [А. Я. Ливергант. Сомерсет Моэм](#)
 - [ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ](#)
 - [Глава 1 «ВО ФРАНЦИИ... ЭТО УСТРОЕНО ЛУЧШЕ»\[1\]](#)
 - [Глава 2 В ЛЮДЯХ](#)
 - [Глава 3 ЧЕРНАЯ КНИГА](#)
 - [Глава 4 «ОН ИЗ ГЕРМАНИИ ТУМАННОЙ...»](#)
 - [Глава 5 «ФОРМАТИВНЫЕ» ГОДЫ, ИЛИ «ЛЕТОПИСЬ ТЯЖЕЛОЮ ТРУДА И МАЛЫХ ДЕРЗАНИЙ»](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7 ПРИ ДЕЛЕ](#)
 - [Глава 8 «Я НИКОГДА НЕ БЫЛ ОДЕРЖИМ ТЕАТРОМ»](#)
 - [Глава 9 НЕСОСТОЯВШИЙСЯ БРАК И ДВЕ ВСТРЕЧИ](#)
 - [Глава 10 «ВМЕСТО ПЕПЛА УКРАШЕНИЕ», ИЛИ «МОЖНО ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»](#)
 - [Глава 11 СЛАДКАЯ ПАРОЧКА](#)
 - [Глава 12 ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ «МОМ»\[62\], ИЛИ КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ](#)
 - [Глава 13 «СТАРИКАН», СОТКАННЫЙ ИЗ ПРОТИВОРЕЧИЙ](#)
 - [Глава 14 БОЕЦ НЕВИДИМОГО ФРОНТА](#)
 - [Глава 15 ОХОТА К ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ](#)

- [Глава 16 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ИГРОК ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ»](#)
- [Глава 17 НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ](#)
- [Глава 18 «ЛАЗУРНЫЙ» КОРОЛЬ ЛИР](#)
- [Глава 19 «ЕСЛИ ТЫ НЕБОЛЬШОГО РОСТА, СМЕРТЬ МОЖЕТ ТЕБЯ НЕ ЗАМЕТИТЬ»](#)
- [ПРИЛОЖЕНИЕ](#)
 - [Уильям Сомерсет Моэм Из книги путевых очерков «Джентльмен в гостиной» \(1930\)](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [Из книги путевых очерков об Испании «Дон Фернандо» \(1935\)](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
- [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
- [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА УИЛЬЯМА СОМЕРСЕТА МОЭМА](#)
- [ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)

- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)

- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)

- [93](#)
 - [94](#)
 - [95](#)
 - [96](#)
 - [97](#)
 - [98](#)
 - [99](#)
 - [100](#)
 - [101](#)
 - [102](#)
 - [103](#)
 - [104](#)
 - [105](#)
 - [106](#)
 - [107](#)
 - [108](#)
 - [109](#)
 - [110](#)
 - [111](#)
-

А. Я. Ливергант. Сомерсет Моэм

«Когда в „Таймс“ наконец-то напечатают мой некролог и кто-нибудь скажет: „Надо же, я думал, он давным-давно умер“, — мой призрак преехидно захихикает».

Сомерсет Моэм. Из записных книжек

«Я неудачник... Каких только ошибок я не совершал в жизни! Жизнь у меня получилась никудышная, у меня все валялось из рук...

Те немногие, кто хорошо меня знал, в конце концов, начинали меня ненавидеть».

Сомерсет Моэм. Из беседы с Робинот Моэмом



W Somerset Maugham

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В лондонской галерее «Тейт» висит запоминающийся портрет. На ярко-желтом фоне изображен сидящий на плетеном табурете пожилой человек. Сидит, положив ногу на ногу, руки сложены, как у первоклассника, спина прямая, серые отглаженные брюки со стрелкой, бежевый пиджак, бежевые — в тон пиджаку — носки, желтые, чуть светлее яичного фона, мокасины, на шее — заправленный в пиджак длинный, почему-то красный шарф. Уголки тонких губ презрительно опущены, длинный, вислый нос, дряблые щеки, тяжелая челюсть, иронический, всеведущий взгляд карих глаз. «Уж я-то вам цену знаю!» — словно хочет сказать этот устремленный поверх зрителя скептический, больше того — брезгливый, недоверчивый взгляд.

Написан портрет пейзажистом, мастером религиозных композиций, а в поздние годы и известным портретистом (этот портрет в его послужном списке едва ли не первый) англичанином Грэмом Сазерлендом. Человек на портрете — тоже англичанин, прославленный писатель, один из самых чтимых, читаемых и высоко оплачиваемых в двадцатом столетии английских прозаиков, драматургов, новеллистов и очеркистов Уильям Сомерсет Моэм.

Писался портрет на юге Франции, на вилле Моэма, с 17 февраля до июня 1949 года; Моэм позировал художнику десять сеансов, по часу в день. Сазерленду тогда было сорок шесть лет. Моэму — семьдесят пять. Сам Сазерленд, сославшись на то, что для него это едва ли не первый опыт портретной живописи, согласился писать портрет живого классика только при условии, что к нему не будет претензий. Он же самокритично и не без яда заметил впоследствии, что Моэм на портрете похож на содержательницу публичного дома в Шанхае. Приписывают биографы это сравнение и старому приятелю Моэма, тогдашнему президенту Королевской академии художеств Джералду Келли, который якобы сказал о портрете друга примерно то же самое: «Подумать только, Уилли я знаю с 1902 года, однако только сейчас понял, что, загримировавшись под содержательницу китайского публичного дома, он держал бордель в Шанхае».

И тем не менее писатель остался своим изображением доволен. В отличие, кстати, от своего друга Уинстона Черчилля, который терпеть не мог свой портрет кисти Сазерленда, написанный к восьмидесятилетию

знаменитого политика. Терпеть не мог и нисколько не скрывал этого. И это притом что он сам заказал Сазерленду эту работу; портрет Моэма ему понравился. «Вылитый Уилли», — похвалил художника Черчилль. Заметим кстати, что, помимо изображений Черчилля и Моэма, кисти Сазерленда принадлежат также портреты таких известных людей, как Елена Рубинштейн, Конрад Аденауэр, лорд Бивербрук.

Уже спустя два года, в 1951 году, портрет Моэма перекочевал из его виллы на Лазурном Берегу в лондонский дом его дочери, которая, по договоренности с отцом, передала картину в галерею «Тейт». Портрет же Черчилля в исполнении Сазерленда был с помпой выставлен в Вестминстер-холле 30 ноября 1954 года, и между старыми друзьями, Черчиллем и Сомерсетом Моэмом, состоялся любопытный и, как всегда, не лишенный остроумия обмен репликами.

Черчилль: Нет, мне мой портрет решительно не нравится.

Моэм: Чем же?

Черчилль: Вид у меня на портрете какой-то неблагородный.

Моэм: Так какой же у вас в таком случае вид?

Черчилль: Как будто у меня запор.

Моэм рассмеялся — вид у политика на портрете и действительно был очень напряженный, один из критиков пошутил примерно так же, как и Черчилль: дескать, выглядит премьер-министр на портрете так, будто у него прострел. Впоследствии, однако, писатель не раз говорил, что образ Черчилля Сазерленд уловил очень точно. «То, как написал меня Грэм Сазерленд, мне на самом деле понравилось не слишком, — поменял по прошествии времени свою точку зрения Моэм, — а вот образ Черчилля он уловил превосходно».

А дело все в том, что есть два вида портретистов, на что однажды обратил внимание и Моэм, отлично разбирающийся в живописи. Для одних в первую очередь важна модель, а уж потом они сами; другие же ставят на первое место себя, а модель на второе, в результате чего на холсте отражается не столько личность портретируемого, сколько индивидуальность портретиста. Так вот, Грэм Сазерленд относился ко второй категории живописцев, на первое место он ставил себя. И это притом что однажды он заявил: «Я должен поглощать всех, кто мне позирует, как промокательная бумага, и быть бдителен, как кошка». Не удивительно поэтому, что, когда жена Черчилля Клементина, спустя полтора года, сожгла, не делая из этого большого секрета, «непотребный» портрет обожаемого мужа, Сазерленд поспешил назвать это «актом вандализма».

А вот портрет Моэма, по всей видимости, и в самом деле удался; во всяком случае, своим изображением остался доволен не только автор «Пирогов и пива» и «Театра».

«Невозможно было представить себе, что человек с таким лицом разразится громким, заразительным смехом — в лучшем случае он мог бы выдавить из себя едва заметную ироническую улыбку» — так, описывая в рассказе «За кулисами» внешность британского посла сэра Герберта Уизерспуна, Моэм — едва ли это сознавая — описал самого себя на портрете Грэма Сазерленда.

Словно предвидя крайне негативную реакцию Черчилля, Сазерленд однажды заметил: «Лишь те, кто не слишком любит свою внешность, кто хорошо разбирается в живописи, или же те, кто по-настоящему хорошо воспитан, способны скрыть тот ужас и даже отвращение, какие они испытают, впервые увидев на холсте свое в меру правдивое изображение».

Насколько «правдивым» было застывшее, брезгливое и разочарованное выражение лица 75-летнего Моэма на портрете Грэма Сазерленда, читатель оценит, прочитав эту книгу.

За свою жизнь Сомерсет Моэм написал несколько автобиографий, однако был решительно против того, чтобы его жизнь описывал кто-то, кроме него самого. Поэтому незадолго до смерти он распорядился не предоставлять биографам газетных статей, рецензий, своих писем, а также писем, присланных ему, равно как и прочих «материалов к биографии», которые Моэм в старости регулярно, часто даже не перечитывая, сжигал в камине. Плохую биографию не станут читать, рассуждал писатель, а хорошую все равно не напишут.

Вот какой показательный диалог состоялся однажды между уже престарелым писателем и его «Эккерманом», американским журналистом и кинорежиссером Гэрсоном Кэнином.

Кэнин: Бумаги, которые вы сжигаете, очень быгодились будущему биографу.

Моэм: Биографов не будет. И биографий тоже.

Кэнин: Никогда?

Моэм: Никогда.

Кэнин: Не можете же вы помешать автору написать вашу биографию!

Моэм: Но и помогать не стану. Ни я, ни мои кости.

Глава 1 «ВО ФРАНЦИИ... ЭТО УСТРОЕНО ЛУЧШЕ»^[1]

С этим весьма непатриотичным утверждением, с которого начинается «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» Лоренса Стерна, где автор издевается над спесью, желчью и капризами английских путевых очеркистов, десятилетний Уилли наверняка бы согласился.

И девяностолетний всемирно знаменитый писатель Уильям Сомерсет Моэм — тоже. Любовь к Франции Моэм пронес через всю жизнь. Во время Второй мировой войны, находясь в Америке, вдали от любимого Лазурного Берега, где писатель проживет в общей сложности без малого сорок лет, он читал по вечерам французские романы и признавался Гэрсону Кэнину, что очень по Франции скучает. «Читаю по-французски и словно в нее возвращаюсь — хотя бы в уме...»

Десятилетнему Уилли жилось в Париже лучше некуда. Разве можно было жизнь мальчика во Франции сравнить с жизнью на родине?

Во Франции зимой он жил в Фобур Сен-Оноре, одном из лучших, «престижных», как сказали бы теперь, районов Парижа, в нескольких минутах ходьбы от находившегося на Елисейских Полях британского посольства, бывшей виллы Боргезе, некогда, до 1814 года, принадлежавшей сестре Наполеона Полине. Поражала воображение и родительская квартира на авеню Д'Антен: старинная мебель, книги в сафьяновых переплетах, бильярдная, в гостиной гравюры Гюстава Доре, танагрские статуэтки в нишах, родосские вазы, на стенах дорогие ковры и турецкие кинжалы, приобретенные отцом во время путешествий по Турции, Греции, Малой Азии; французские слуги, английская гувернантка. По журфиксам квартира на авеню Д'Антен превращалась в модный артистический и литературный салон, который держала миссис Моэм и в котором бывали, по некоторым сведениям, такие знаменитости, как будущий премьер Клемансо, а также Проспер Мериме и Гюстав Доре. А летом Моэмы жили или под Парижем, неподалеку от Булонского леса, в Сюренн, где отец Уилли задумал построить (и построил — успел до смерти) загородный дом по собственному проекту, нечто вроде швейцарского шале, на горе с видом на Париж и Сену. Или — на нормандском морском курорте Довиль, который в те времена был обыкновенной рыбацкой деревушкой и который мы знаем по маринистским пейзажам барбизонца Эжена Будена. Один такой пейзаж

Моэм приобрел лет шестьдесят спустя из ностальгических, надо полагать, соображений. Отец Уилли снимал в Довиле дом, чтобы жена и сыновья дышали летом свежим морским воздухом, сам же приезжал к ним лишь на выходные. Что до Будена, то прославился он много позже; тогда же, вспоминал потом Моэм, по пляжу бродил немолодой, бедно одетый художник, который рисовал на картоне небольшие портреты дам в модных платьях и продавал их по пять франков за штуку. Купленный Моэмом в середине тридцатых годов пейзаж Будена обошелся писателю, надо думать, несколько дороже.

В Англии же, после смерти родителей, мальчик жил в мрачноватом и пустоватом, уютном, заросшем плющом доме викария, в заштатном приморском городке Уитстейбл, в шести милях от Кентербери, в графстве Кент.

Во Франции он был окружен любовью родителей и преданной няни-француженки, с которой жил в одной комнате (к матери Уилли допускался лишь в утренние часы, и ненадолго, или же вечером, когда он, бывало, выразительно читал в присутствии гостей басни Лафонтена). Няня водила его гулять на Елисейские Поля и выучила говорить по-французски раньше, чем он научился изъясняться на своем родном языке.

В Англии же рано умерших родителей заменила немолодая бездетная чета — младший брат отца викарий и его жена. В эти годы в жизни Уилли разыгрывается типично диккенсовский сюжет: сирота испытывает лишения в доме черствого и прижимистого опекуна. Дядя с теткой, в отличие от родителей, людьми были довольно заурядными, скучноватыми и, прямо скажем, скуповатыми: вынудили, к примеру, вернуться во Францию любимую няню мальчика, сочтя ее пребывание в Уитстейбле «неоправданным расточительством». И «скуповатыми» — еще мягко сказано: про жадность викария ходили легенды. Он часто не брал с собой из экономии жену за границу, куда регулярно ездил поправить пошатнувшееся здоровье. Экономил на угле и воде: печь в прихожей топилась только в очень плохую погоду или когда викарий был простужен; ванной же комнаты в доме дядюшки в принципе предусмотрено не было; подписку на столичную «Таймс» священник делил с еще двумя соседями, а однажды — такого и у Диккенса-то не встретишь! — за завтраком он надрезал ножом верхушку крутого яйца и «угостил» ею племянника, сам же прямо у него на глазах съел все остальное.

Да, первые десять лет долгой жизни Уильяма Сомерсета Моэма сложились куда безмятежнее и счастливее, чем вторые. Хорошо жилось в эти — французские — годы и его родителям, и это несмотря на Парижскую

коммуну и войну с Пруссией. «В какой-то момент, — вспоминал старший брат Уилли Фредерик, — на стене в гостиной появилась огромная карта Франции с воткнутыми в нее красными и синими флажками, которые родители время от времени переставляли. Хорошо помню, как наша мать объясняла нам, что, когда флажки, представлявшие германскую армию, дойдут до определенного места на карте, нам всем придется уехать из Парижа в Лондон. Мысль о том, что мы покинем Париж, не могла меня не радовать: наши слуги-французы успели внушить нам ужас и отвращение к les sales Allemands»^[2]. И действительно, когда немцы, одержав решающую победу под Седаном, вплотную приблизились к Парижу, Моэмы вместе с детьми ретировались в Лондон, вывесив, на всякий случай, на балконе своей квартиры британский флаг, про расстрелы коммунаров и бедствия парижан они узнавали из английских газет и благополучно вернулись во французскую столицу, когда страсти улеглись. Для них, юрисконсульта британского посольства во Франции Роберта Ормонда Моэма и его красавицы жены Эдит Моэм, урожденной Эдит Снелл, Франция «была устроена» лучше некуда.

Двадцать пятого января 1874 года Эдит Моэм, которая была моложе мужа на шестнадцать лет, родила четвертого сына Уильяма Сомерсета — и не где-нибудь, а на территории британского посольства. Родись мальчик в обыкновенном парижском роддоме — и он мог бы по новым французским законам, принятым во время Франко-прусской войны, «загреметь» как иностранец, родившийся на французской земле, в армию.

Всю жизнь Уилли оставался младшим братом (пятый сын Эдит умер во младенчестве), что, несомненно, отложило отпечаток и на его отношения с тремя старшими братьями, и на отношения с матерью, с которой он был особенно близок и потерю которой переживал долго и тяжело; сразу три фотографии Эдит Моэм всю жизнь стояли у изголовья писателя. «Для ребенка нет большего несчастья, — отмечает он в „Записных книжках“ спустя семьдесят пять лет после ее смерти, — чем по-настоящему любящая мать»^[3]. В виду здесь имеется боль утраты; иронически этот афоризм звучит лишь при первом, поверхностном прочтении.

От самого старшего брата Чарлза Ормонда, родившегося в 1865 году, Уилли отделяли без малого десять лет. Разница в возрасте со вторым, самым удачливым из младших Моэмов, Фредериком («Фредди») Гербертом, дослужившимся до «степеней известных» лорд-канцлера и пэра

Англии, составляла восемь лет. С Генри Невиллом, которого в семье звали «Гарри», — шесть. Все три брата стали впоследствии юристами, всем трем Уилли придумал клички. Чарлза за благонравие он называл «святым». Генри, покончившего с собой в возрасте тридцати четырех лет, самого закомплексованного и неудачливого из четырех младших Моэмов, — «занудой», а Фредерика, который к младшему брату писателю относился снисходительно и которого Уилли недолюбливал и не скрывал этого, — «великим». Сын Фредерика и племянник Сомерсета Моэма, человек ему очень близкий, Робин Моэм, тоже, кстати, писатель, рассказывал, что однажды его всегда сдержанный дядя высказался о старшем «великом» брате не очень сдержанно: «На протяжении своего нескончаемого жизненного пути я повстречал немало гнусных личностей, но более гнусного субъекта, чем твой отец и мой старший брат, не встречал ни разу».

В сентябре 1877 года, когда Уилли было всего четыре года, старших братьев отправили учиться домой в Англию, в Дувр, — еще одна, веская причина особой близости младшего сына с матерью, женщиной и в самом деле очень красивой, обаятельной, с ангельскими чертами лица, огромными карими глазами и золотистыми волосами. И очень больной: она, как и ее младшая сестра, умерла от туберкулеза даже по понятиям конца XIX века совсем еще не старой — Эдит Моэм шел всего-навсего сорок первый год.

Родом из Корнуолла, Эдит Снелл была дочерью майора Чарлза Снелла и его жены Анны Алисии Тодд, в чьих жилах текла голубая кровь: родословная матери Эдит восходит к королю Эдуарду I и его жене Элеоноре Кастильской. Майор тянул лямку в Индии, где Эдит в 1840 году и появилась на свет. У родителей Эдит разница в возрасте была столь же велика, как между ней самой и ее мужем, и когда майор пятидесяти лет от роду отдал Богу душу, безутешной вдове было всего-то двадцать четыре.

Анна Алисия, несмотря на свой юный возраст, была, по всей видимости, решительной и предприимчивой женщиной: вернувшись ненадолго в Лондон, а потом переселившись в Париж, вдова на пару с младшей дочерью Розой взялась сочинять романы, да еще на французском языке. Мать и дочь, никогда раньше не занимавшиеся литературным трудом, стали издавать, и не без успеха, душещипательные детские книжки. Что они душещипательные, видно хотя бы из заглавия одной из них: «Богоматерь всех скорбящих радости, или Монастырская сиротка». Беззащитные сироты — главные действующие лица многих книг миссис Снелл и ее дочери: словно предвидя судьбу младшего внука и внучатого племянника, мать и дочь в основном сочиняли сентиментальные романы

про бедных сироток и их черствых, безжалостных опекунов. Таких романов миссис Снелл настрочила в общей сложности дюжину, Роза — вдвое меньше, шесть, и на ту же тему. Племянник Моэма Робин в своих мемуарах рассказывает, что один из своих романов миссис Снелл написала якобы на пари с католическим священником, который заявил, что сочинить «католическую историю», которая бы ему понравилась, она не способна. Такой роман, однако, был написан, одобрен, и незадачливому спорщику пришлось отдать писательнице проигранные сто франков. Не у бабки ли позаимствовал Уилли легкость пера и незаурядный творческий кураж? О решительности и смелости миссис Снелл свидетельствует, между прочим, и тот факт, что во время Франко-прусской войны она, в отличие от Моэмов, не отсиживалась в Англии, а осталась в Париже и трудилась в госпитале для раненых, который сама же и открыла.

А вот мужа Эдит, Роберта Ормонда Моэма, которому, когда Уилли родился, было уже за сорок, красавцем никак нельзя было назвать: низкорослый, полноватый, при этом огромная голова, густые «котлеты»-бакенбарды, тяжелая челюсть, крупные, грубоватые черты бледного, обрюзгшего, болезненного лица. Злая на язык леди Энглси, американка по происхождению, светская приятельница Эдит, назвала как-то лицо ее мужа «пивной кружкой». Будь она русской, пивная кружка превратилась бы, надо думать, в кувшинное рыло. Роберт Ормонд любил сидеть в кресле, откинувшись на спинку, выпятив живот вперед и положив ногу на ногу. Отдыхал он, впрочем, мало, трудился с утра до ночи; не случайно, вспоминая отца, Моэм говорил: «Он был мне чужим». В том смысле, что мальчик редко его видел.

В кругу Моэмов супругов именовали не иначе как «красавица и чудище». «Чудище» — слово не только обидное, но и неверное: внешность почтенного и всеми уважаемого Роберта Ормонда была скорее смешной, чем отталкивающей. Поневоле вспоминается автопортрет, который набросал *monsieur le gouverneur*, забавный маленький француз при высокой, дородной супруге из рассказа Моэма «Брак по расчету»: «Я уродлив, и мне об этом прекрасно известно. Бывает уродство, которое внушает уважение или страх, мой же тип уродства способен вызвать лишь смех — и этот тип самый худший. Когда люди видят меня впервые, они не содрогаются от ужаса, что в какой-то степени было бы лестно, а просто начинают смеяться»^[4].

И многие (за глаза, разумеется) смеялись. «Ты так хороша собой, в тебя влюблены все мужчины до одного, и почему ты не изменяешь этому маленькому уродцу, своему мужу?» — искренне говорила леди Энглси

своей приятельнице, женщине не только красивой, но и остроумной. «За все годы, что мы женаты, он ни разу меня не обидел», — последовал несколько неожиданный, всерьез озадачивший светскую львицу прямодушный ответ. Не считать же в самом деле обидным несколько необычный свадебный подарок Роберта Ормонда, преподнесшего своей невесте... гитару, которую Эдит очень любила (хотя на ней и не играла) и в которой после ее смерти обнаружили записку: «Не продавать ни под каким видом».

Отталкивающая внешность Роберта Ормонда была обманчивой. Человеком он был действительно очень добрым — и не только с женой: любил играть с детьми — и своими, и чужими, был отзывчив, великодушен и, в отличие от своего младшего брата викария, натурой слыл широкой, деньги тратил легко, даже, пожалуй, слишком легко. Он был еще и одаренным, прекрасно образованным человеком: с 1848 года возглавлял фирму адвокатов «Моэм и Диксон», которая многие годы успешно вела юридические дела посольства Великобритании в Париже.

Предки Роберта Ормонда были выходцами из Ирландии, одно время фермерствовали в Линкольншире и Уэстморленде, юридические же навыки, дисциплину ума и ясность мысли Роберт Ормонд (а следом за ним и его сыновья) почерпнул у своего деда Уильяма, который родился в 1759 году, переехал, первым из Моэмов, из провинции в Лондон, поселился в Чансери-Лейн, где в столице спокон веку селились «судейские», и стал клерком в юридической конторе. И, в еще большей степени, — у своего отца Роберта, который даже вошел в историю: в 1825 году, если верить «Словарю национальной биографии», он основал в Лондоне и по сей день существующее, авторитетное «Юридическое общество», чьим первым секретарем и был избран. В течение четверти века он издавал им же созданную газету «Правовой наблюдатель», его портрет и сегодня висит в здании «Юридического общества» на Чансери-Лейн. С портрета на нас пристально смотрит невысокий джентльмен в черном закрытом сюртуке, с красивыми насмешливыми темными глазами под черными бровями, тяжелым подбородком, прямым носом и полными алыми губами; в руке он держит гусиное перо, рядом лежит стопка книг — наверняка его собственного сочинения. Как впоследствии и его внук, Роберт Моэм не был чужд литературе, печатал многочисленные статьи и эссе в своем «Правовом наблюдателе» на темы самые разнообразные, в Британском музее хранится внушительный список его трудов. По отзывам современников, дед писателя отличался вспыльчивым, неуживчивым нравом, который не передался уравновешенному, добродушному сыну, зато

в полной мере передался внуку.

Неуживчивый, скрытный нрав проявится у Уилли с возрастом, пока же это бойкий, жизнерадостный, впечатлительный мальчик, при этом он немного заикается (а по приезде в Англию, когда пойдет в школу, заикаться станет гораздо сильнее). «Знайте, — сказал как-то не без некоторого кокетства Моэм своим биографам уже в весьма преклонном возрасте, — на мою жизнь и творчество заикание оказало огромное влияние». И уточнил: «Не заикайся я, и я бы получил то же классическое образование, что и многие молодые люди моего круга, пошел бы в Кембридж, как мои братья, стал бы профессором и время от времени выпускал бы скучнейшую монографию по французской литературе. Однажды я сказал Черчиллю: „Если бы я не заикался, я бы пошел в политику и с моими способностями к языкам мог бы стать министром иностранных дел“. Черчилль посмотрел на меня и буркнул нечто одобрителное. Вот почему я стал писателем».

Насчет творчества сказать трудно, а вот на жизнь, особенно в детские и школьные годы, заикание и впрямь «оказало огромное влияние». Рассказывают, что однажды Уилли возвращался без дяди-викария из Лондона в Уитстейбл и вынужден был дважды отстоять очередь на вокзале, потому что, подойдя к билетной кассе, так заикался, что кассир не понял, что ему надо. «Никогда не забуду то унижение, которое я тогда испытал, — вспоминал Моэм. — Вся очередь молча поела меня глазами». Он вообще всегда больше всего боялся выглядеть смешным, нелепым; внешне был бесстрастен, тогда как в действительности чувствовал себя неуверенно, робел, особенно в школе. «Сдержанность его происходила то ли от робости, то ли от многолетнего самообуздания»^[5] — это Моэм конечно же говорит о себе, когда описывает бактериолога Уолтера Фейна, героя романа «Узорный покров».

Заикался Моэм всю жизнь, иногда меньше, иногда, когда волновался, — сильнее. Бывало, очень из-за этого нервничал, а иногда себя успокаивал: «Так уж я говорю, ничего не поделаешь». Чтобы справиться с недугом, щелкал пальцами, бил себя правым кулаком по левой ладони, или же ребром ладони ударял по спинке стула или по краю стола; иногда трудное для заики слово менял на ходу на более простое. «Наблюдать за этой мучительной борьбой со словами было тяжело. Для него это было сущей пыткой, мало кто понимал, как он уставал от этой борьбы. То, что для большинства людей было так же легко, как дышать, для него составляло постоянное напряжение. Он ужасно нервничал оттого, что боялся, как бы заикание не свело на нет уместную, остроумную реплику». Сказано это не про Моэма, а самим Моэмом — про его друга и такого же известного

писателя и заику Арнолда Беннетта, но к Моэму применимо в той же степени.

Заикание, впрочем, не мешало юному Уилли быть прирожденным лидером: какие только игры он ни выдумывал, как только ни проказничал (любил, к примеру, подсовывать уличным торговцам фальшивые, собственными руками сделанные су), какими только историями ни развлекал своих сверстников. Самым же большим увлечением будущего популярного драматурга стал театр. Однажды все та же леди Энглси подарила семилетнему Уилли золотую монету в 20 франков, и на вопрос, как мальчик собирается распорядиться этим весьма щедрым по тем временам подношением, тот, не раздумывая, ответил: «Хочу увидеть Сару Бернар». «Мелодрама Сарду „Нана Сахиб“ была чудовищной, — вспоминал Моэм впоследствии, — но оторвать от сцены глаз я не мог ни на мгновение».

Чем кончилось счастливое французское детство нашего героя, мы уже знаем. Частые роды считались в XIX веке надежным средством от туберкулеза, и в 1882 году, 24 января, за день до восьмилетия Уилли, Эдит родила своего пятого сына Эдварда Алана. Через день новорожденный умер, а спустя шесть дней после родов скончалась и Эдит — не помогли ни зимы, проведенные в Пиренеях, ни частые беременности, ни ослиное молоко (Моэм вспоминал, что у подъезда их дома выстраивалась по утрам целая вереница осликов). В некрологе, напечатанном в газете «Галл», со свойственной желтой прессе патетикой про покойницу было отмечено: «Ее поразительная красота озаряла самые элегантные наши салоны». И это, если пренебречь нелепыми стилистическими изысками светского борзописца, было чистой правдой: красивую, веселую, хотя и смертельно больную англичанку знал и любил весь Париж.

Любила себя и сама Эдит. Себя и свою семью. О том, как поразительно соединялись в ней светскость и семейные ценности (сочетание, согласитесь, не такое уж частое, а в жизни и в книгах Моэма и вовсе несочетаемое), свидетельствует трогательная история, которую можно было бы счесть апокрифом, если бы на нее не ссылались все без исключения биографы писателя. Совсем незадолго до смерти, после очередного кровохарканья, миссис Моэм вдруг решила сфотографироваться: «А то дети после моей смерти не будут помнить, как я выгляжу». С трудом поднялась с постели, нарядилась в вечернее платье из белого атласа и поехала к фотографу...

А спустя два года, так и не успев пожить в своем шале под Парижем, умер от рака желудка шестидесятиоднолетний отец Уилли. Вскоре после

этого мальчика забрали из французской начальной школы, он расстался с жившим при посольстве английским священником, который, чтобы Уилли окончательно не забыл родной язык, читал ему вслух судебную хронику из английских газет, и отправился вместе с няней в Англию. То ли священник не слишком добросовестно относился к своим преподавательским обязанностям, то ли Уилли, оказавшись впервые в жизни на родине в Дувре, разнервничался и растерялся, но он разом позабыл все английские слова и английское слово porter (носильщик) произносил на французский манер porteur, а hackney carriage (наемный экипаж) называл, на потеху окружающим, cabriolet.

На смену беззаботной и радостной французской жизни пришла безрадостная, полная забот и тревог жизнь английская, впоследствии описанная в «Бремени страстей человеческих» и в «Пирогох и пиве». «„Бремя страстей человеческих“, — заметит спустя много лет Моэм, — я написал, чтобы избавиться от непереносимого наваждения. Мне хотелось покончить со всеми этими призраками, и мне это удалось». Удалось ли?

Глава 2 В ЛЮДЯХ

Началась жизнь Уилли «в людях» и в самом деле невесело, с расставания с самым близким ему после смерти родителей человеком — с няней. «Не успели мы приехать в дом священника, — рассказывал Робину Моэму восьмидесятилетний писатель, — как мой дядя сообщил мне, что вынужден будет отослать няню обратно во Францию — содержать ее он не сможет. А ведь кроме няни меня уже ничто не связывало с тем счастьем и любовью, которыми я при жизни родителей был окружен на авеню Д'Антен. Она была моим единственным настоящим другом, и меня она любила ничуть не меньше, чем я ее. И вот теперь, в первый же вечер, нас с ней разлучали».

«Никогда не забуду горечи последующих нескольких лет», — жаловался спустя много лет он Робину, а между тем особых забот и тревог Уилли, живя у дяди, выпускника Оксфорда, викария Высокой церкви Генри Макдональда Моэма и его жены-немки, дочери нюрнбергского банкира и предпринимателя Барбары Софии фон Шейдлин, не испытывал. Главная беда состояла в том, что жизнь в доме викария, здании из желтого кирпича с красной крышей, готическими окнами, с конюшнями и каретным сараем, протекала однообразно и скучно до одури. Находился дом за городом, в миле от церкви, при нем был большой парк, из окон столовой открывался вид на поля. В этом построенном в церковном стиле здании дядя Генри и прожил более четверти века, с июня 1871 года. Сюда, выйдя за него замуж, фрейлейн Шейдлин, женщина спокойная, тихая, во всем подчинявшаяся мужу, привезла свое нехитрое приданое: инкрустированное бюро с выдвигной доской, несколько фигурок нимфенбургского фарфора и четыре стакана для вина, на которых были выгравированы шестнадцать гербов рода фон Шейдлинов.

В услужении у Моэмов были садовник и две служанки. Помимо своих основных обязанностей, садовник за фунт в неделю еще и ухаживал за курами, следил за печами. Служанкам платили по 12 фунтов в год, и к Рождеству каждой полагалось новое ситцевое платье. После завтрака одна из служанок, протопив печь, если была очень уж плохая, промозглая погода, приносила хозяину «Таймс»; газета, которую, как уже говорилось, из экономии выписывали на три семьи, была в распоряжении дяди Генри с десяти утра до часу дня. После часа, перед обедом, дядя отправлялся к рыбакам на причал, покупал у них устрицы и там же, на причале, съедал

ровно 12 штук. Жаловал устрицы и племянник. «Я обожаю устриц. Мальчишкой я жил в Уитстейбле, — вспоминал впоследствии Моэм, — а этот городок был тогда одним из главных „устричных“ центров в Англии. Устрицы — это то немногое, очень немногое, что мне нравилось в Уитстейбле»...

Пока викарий изучал газету, его супруга — нередко в сопровождении племянника — ходила за покупками и в банк. Лавки и банк располагались в рыбацьем поселке на главной улице — впрочем, единственной. Хай-стрит была очень длинной, спускалась, извиваясь змеей, к морю, по обеим ее сторонам стояли небольшие двухэтажные домики, многие из них принадлежали торговцам. В переулках ближе к гавани селились рыбаки и беднота, в основном нонконформисты, то есть баптисты, квакеры, методисты, которым в англиканскую церковь путь был заказан и у которых покупать съестное викарий строго-настрого запрещал. Помимо нонконформистов дядя терпеть не мог приезжавших в Уитстейбл на лето отдыхающих из Лондона, называл их «чужеземцами» и старался поэтому июль — август, когда городок заполняли многочисленные столичные туристы, проводить за границей.

Когда миссис Моэм заканчивала дела с управляющим банка, она поднималась на второй этаж перекинуться словом с его сестрой; дамы обменивались приходскими новостями, сплетничали, как водится, Уилли же тем временем сидел в одиночестве в гостиной, уставившись в потолок или лениво следя глазами за рыбками в аквариуме. Сделав покупки, тетя с племянником заглядывали на почту, а потом спускались по переулку к окруженной складами маленькой бухте; тетка — романтик в душе — подолгу смотрела на море, а Уилли собирал на берегу камушки и бросал их в воду.

Обедали в доме викария в час дня; после обеда Уилли готовил уроки. Латыни и математике его обучал дядя, не знавший толком ни того ни другого; музыке — тетя. Музыкальные познания Софии фон Шейдлин ограничивались десятком романсов, которые она, когда бывали гости (а бывали они крайне редко), с удовольствием распевала слабым надтреснутым голоском.

После чая играли в триктрак, в восемь часов вечера подавался холодный ужин, а после ужина начиналась экзекуция. Уилли усаживали на стул в конце стола, дядя раскрывал молитвенник на нужной странице и требовал, чтобы племянник выучил наизусть краткую молитву, предназначенную на этот день. «Послушаю тебя перед сном, — говорил дядя. — Произнесешь молитву должным образом — получишь кусок

кекса». С этими словами дядя удалялся к себе в кабинет, а Уилли, уткнувшись головой в ладони, горько плакал и на вопрос сердобольной тетушки, что случилось, жаловался, что не понимает из написанного в молитвеннике ни единого слова. Пожаловавшись, вновь заливался слезами. Обыкновенно тетушка утешала племянника, объясняя ему, что дядюшка Генри вовсе не хотел его обидеть. «Твой дядя хочет, — увещевала она заплаканного сироту, — чтобы ты выучил молитву для твоего же, Уилли, блага». Выучить молитву, тем не менее, не удавалось, дядя сердился, но потом отходил — вероятно, жена уговаривала его, что Уилли еще слишком мал, чтобы выучивать молитвы наизусть.

После вечерней молитвы, на которую тетушка сзывала всех домочадцев, Уилли шел спать, дядя же читал до десяти, а потом отправлялся на боковую и он. В субботу викарий писал у себя в кабинете воскресную проповедь; он любил говорить, что он — единственный человек в приходе, который трудится семь дней в неделю. Вообще, Генри Макдональд Моэм был типичным снобом в теккереевском понимании этого слова. О себе он был весьма высокого мнения. А еще более «высокого» — о местном сквайре, перед которым гнул спину и которого превозносил точно так же, как недолюбливал диссентеров и городскую бедноту. И с теми, и с другими обходился грубо и надменно, за что в городе его недолюбливали. Не от него ли, кстати сказать, унаследовал племянник Уилли непреодолимую тягу к богатым, именитым, сильным мира сего?

В воскресенье же (самый ответственный для него день недели) викарий вставал раньше обычного, читал длинную молитву и нарезал хлеб ломтиками для причастия. В десять подавалась карета, и дядя, предварительно выпив взбитое яйцо с хересом, чтобы лучше звучал голос, в сопровождении супруги в черном атласном платье отправлялся в церковь, куда без труда мог бы пойти и пешком; находилась церковь Всех Святых всего-то в миле от дома викария, никак не дальше, однако ритуал и положение требовали кареты: ходить в храм Божий пешком приходскому священнику не пристало.

Проповеди дяди Уилли обычно слушал вполуха и, когда вырос, отозвался о них в «Записных книжках» довольно нелюбезно: «По воскресеньям дважды в день приходской священник толковал наиболее доступные места из Священного Писания. В течение минут двадцати он оделял свою неотесанную паству банальными суждениями, излагавшимися на низкопробной смеси цитат из Библии начала семнадцатого века и газетных штампов. Священник обладал редкой способностью горячо и пространно растолковывать вещи, очевидные самому недалекому уму. Свое

красноречие он тратил на две регулярно чередовавшиеся темы: нужды бедных прихожан и нужды самой церкви»^[6].

Итак, Уилли рассеянно слушал, как дядя «одевает свою неотесанную паству банальными суждениями», «выпалывает греховные ростки ереси» и изливает испепеляющий гнев на атеистов, папистов, сектантов и прочих отступников. Слушал, смотрел по сторонам, с нетерпением дожидаясь, когда же, наконец, запоют последний псалом (религиозные обряды уже тогда становились для него пустой формальностью) и дядя с церковным старостой уединятся в ризнице подсчитать пожертвования.

После первой воскресной проповеди викарий возвращался домой, пил чай и вновь ехал в церковь — на этот раз на проповедь вечернюю. После же проповеди позволял себе пропустить стаканчик; он вообще не был, что называется, врагом бутылки и любил на доводы поборников трезвости отвечать: «Господь повелел нам пользоваться мирскими благами»^[7]. «Священнику платят за то, чтобы он проповедовал, а не за то, чтобы сам исповедовал благочестие», — не без известной доли цинизма поучал он своих домочадцев и в подтверждение правоты своих слов держал у себя в буфете под надежным замком изрядный запас виски и ликеров. «Людам спиртное не на пользу, да и грешно вводить их во искушение; к тому же они все равно не оценят эти напитки по достоинству», — говаривал он, оттачивая на племяннике свое своеобразное чувство юмора. Подобные изречения, однако, Уилли развлекали не слишком: но и в школу ему не хотелось, он, словно догадываясь, что его ожидает, уже тогда не ждал от нее ничего хорошего. В то же время назвать жизнь десятилетнего сироты в доме викария «хорошей» — веселой, интересной, насыщенной, — как читатель, надо полагать, убедился, — тоже довольно трудно.

И все же было бы преувеличением изображать дом дяди Генри и тети Софии, как это делают некоторые биографы, чуть ли не тюрьмой, рисовать жизнь сироты исключительно в мрачных тонах. Как иначе объяснить, рассуждают они, что герой «Бремени страстей человеческих», и в самом деле наделенный Моэмом многими биографическими чертами, с нетерпением, в расчете на наследство, ждет дядиной смерти? Рассуждение сомнительное: «Бремя страстей человеческих» — роман, а не автобиография. Герой же романа Филип Кэри во многом похож на Уильяма Сомерсета Моэма, а во многом и не похож, о чем в свое время мы еще будем говорить. Сейчас же отметим справедливости ради: «Папаша Моэм», как называли викария в округе, угрюмого вида (хотя и не лишенный своеобразного юмора) пожилой джентльмен с глубоко посаженными, как у

всех Моэмов, глазами, длинными волосами, из-под которых проступала плешь, и длинными же, закрученными, как у полицейского, усами, свой долг перед умершим старшим братом выполнял исправно.

И не только перед старшим братом, но и перед его женой: незадолго до своей смерти Эдит Снелл написала викарию письмо, в котором просила его стать крестным отцом ее младшего сына. «Под Вашим началом, — писала деверю она, — мой сын станет воином за веру Христову и всю жизнь, до самой смерти, будет богобоязненным, кротким и набожным...»^[8]

Дядя Генри дал племяннику пристанище, прилежно занимался его воспитанием и образованием, определил в школу, забирал домой на каникулы, отправил, когда тот заболел, лечиться во Францию и от всей души хотел пристроить его к какому-то делу. Богобоязненным Уилли не стал, это верно, но «под началом» дяди, безусловно, находился и его покровительством пользовался. Да и не жил Уилли в «Уитстейблской тюрьме» так уж долго — только несколько месяцев после Франции, да еще на каникулах и пару месяцев перед отъездом в Гейдельберг.

Требовать от Папаши Моэма и его добронравной, во всем подчинявшейся мужу хаусфрау большего и в самом деле смысла не имеет. Во-первых, эта пожилая (им обоим было тогда уже за пятьдесят) чета, никогда раньше Уилли не видевшая, при всем желании не могла окружить его «родительской» любовью. Другое дело — забота и воспитание, и Папаша Моэм с женой (жена особенно), как могли, на свой, правда, манер, заботились о десятилетнем сироте и его воспитывали. Во-вторых, отец Уилли, хоть и был при жизни человеком состоятельным, большого наследства сыновьям не оставил — привык жить, как уже говорилось, на широкую ногу. После продажи дома под Парижем, а также парижской квартиры с мебелью, статуэтками, гравюрами и кинжалами, и помещения вырученной суммы в банк под проценты каждый из четырех сыновей получил довольно скромный годовой доход в 150 фунтов стерлингов. Платить из этих денег французской няне, да еще для десятилетнего парня, только ради того, чтобы тот продолжал общаться с близким ему человеком и не забывал свой первый язык, и впрямь, если вдуматься, было «неоправданным расточительством».

Верно, у ограниченного и прижимистого дяди мальчику порой жилось не сладко, однако зла против викария Моэм никогда не держал, к его жене Софии же был даже привязан, да и она относилась к Уилли с симпатией, проводила с ним много времени и защищала, как могла, от нападок сурового супруга. Свою жизнь у опекуна, при всем ее однообразии и скуке, Моэм вспоминал не без юмора и, хотя дядю и недолюбливал, не мог не

отдавать должное его надежности, добросовестности и не раз спорил с братом Фредди, говорившим: «Боюсь, богослов из него получился не слишком вдумчивый, да и опекун он тоже не ахти». На экземпляре первого романа Моэма «Лиза из Ламбета», который он послал дяде Генри за две недели до его смерти, написано: «Викарию... с любовью от автора». Слово «любовь» здесь, конечно, формальное, но ведь его могло и не быть...

Когда же писателю было за семьдесят, он побывал, впервые за шестьдесят лет, в доме Папаши Моэма и записал на обороте титула своих «Записных книжек», только что тогда вышедших из печати: «Пишу эти строки в столовой дома викария в Уитстейбле, где я проводил каникулы, когда ходил в школу. В этой комнате дядя с теткой учили меня играть в вист». И научили: Моэм всю жизнь слыл заядлым картежником; скучноватому и примитивному висту предпочитал, впрочем, азартные триктрак и покер, а также затейливый бридж.

В столовой же он и читал: собственная комнатка была слишком мала и темна, гостиная, наоборот, излишне велика, да и плохо отапливалась. У не охочего до знаний и довольно ленивого Папаши Моэма собралась, тем не менее, отличная библиотека. Самого же его книгоцеем назвать было трудно. Кроме Священного Писания, про которое викарий не без юмора говаривал, что дьявол всегда сумеет подыскать и обернуть в свою пользу цитату из Библии, он почти ничего не читал, однако книги регулярно покупал и сумел приучить племянника не только к висту, молитвам и экономии воды и тепла, но и к чтению.

Десятилетний Уилли, хотя по воскресеньям ему читать строго запрещалось, глотал книги без разбора, больше же всего любил Вальтера Скотта, «Тысячу и одну ночь» и «Алису в стране чудес», тем более что во всех этих изданиях имелись превосходные иллюстрации. «Когда я оглядываюсь назад на свою долгую жизнь, — сказал Моэм через семьдесят с лишним лет, передавая в дар школе свою библиотеку, — я начинаю понимать, что чтение всегда было для меня одним из самых больших удовольствий». «У нее была подлинная страсть к чтению... она жила в воображаемом мире, пользуясь свободой, недоступной для нее в повседневности»^[9], — писал Моэм спустя многие годы в романе «Луна и грош» про жену героя, художника Чарлза Стрикленда. Писал будто про самого себя: в подростковом возрасте им тоже владела «подлинная страсть к чтению», он тоже предпочитал жить в воображаемом мире и тоже, читая, обретал свободу, которая была ему недоступна в унылой повседневности — сначала в доме викария, потом в школе.

В школу, впрочем, просто так не брали, даже близкого родственника

викария; к школе ребенка надо было готовить, и дядя Генри и его жена с этой задачей тоже справились. В основном, правда, эта подготовка сводилась к изучению предмета, который в России в те же годы именовался «Законом Божьим». Обучение Закону Божьему, как мы уже писали, обыкновенно кончалось слезами — «Айвенго» и «Али-Баба и сорок разбойников» были куда увлекательнее Псалтыря, часто перечитывались, запоминались не в пример лучше.

Старшие братья Уилли были отправлены из Франции учиться в Дувр, в местный колледж на территории Дуврского монастыря, и в школьную жизнь все трое — заметим сразу, в отличие от Уилли, — довольно быстро вписались. Самый старший, Чарлз, был первым и в регби, и в математике, и в латыни. Фредди же сочинял прекрасные стихи и при этом, что у поэтов бывает не часто, отменно играл в крикет, чем завоевал уважение соучеников, хотя и не сразу — поначалу они обзывали его «лягушатником»: как и все младшие Моэмы, Фредди говорил на своем родном языке с заметным французским прононсом: сказывалось французское детство.

Младшего же брата Уилли летом 1884 года викарий определил в домашнюю школу местного врача доктора Этериджа, чья дочь за скромную мзду занималась с маленькими детьми. Уилли Моэм ей запомнился. «Он очень, очень сильно заикался, — рассказывала она впоследствии Робину Моэму, — и остальные дети смеялись над ним. Одет он был в бархатный костюмчик с белым кружевным воротником».

А спустя без малого год, в мае 1885-го, Генри Макдональд отдал племянника в Кентербери, в младшие классы местной Кингз-скул, которая считалась чуть ли не самой старой в Англии: согласно легенде, основана она была еще в V веке монахами-августинцами. Находилась школа на территории Кентерберийского собора — оплота англиканской церкви, и соответственно, обучение в ней носило подчеркнuto религиозный, схоластический характер. В такую школу дядя отдал племянника конечно же не случайно: он хотел видеть Уилли себе подобным, готовить его к церкви, к богословской карьере. Все учителя Королевской школы, что для викторианской эпохи было, впрочем, типично, образование получили богословское, были посвящены в духовный сан и именовались «преподобными» (Reverend). Большинство учеников были, как и Уилли, родственниками священников, латынь, на которой шла служба в соборе, считалась в Королевской школе «профилирующим предметом», и мальчиков регулярно водили на богослужения.

Ничего этого Уилли, разумеется, знать не мог, однако первое впечатление от школы, — а первое впечатление, как известно, самое

верное, — было не вполне благоприятным. Здание Королевской школы из красного кирпича, а также высокая кирпичная стена, окружавшая ее территорию и отделявшая от соседней Пэлэс-стрит, сильно смахивали на тюрьму. А директор, преподобный Джордж Блор, детина двухметрового роста, обладатель огромных ручищ, большой рыжей бороды, зычного голоса и громкого смеха, вселявшего в учеников панический страх, походил на свирепого великана из сказок «Тысяча и одна ночь».

— Ну как, молодой человек, рад, что поступаешь в школу? Сколько тебе лет?

— Десять.

— Надо говорить: «Десять лет, сэр». М-да, тебе еще многому предстоит научиться.

Вот какой диалог между десятилетним Филипом Кэри и директором школы приводит Моэм в «Бремени страстей человеческих». Если подобного обмена репликами между преподобным Блором и Уилли Моэмом в действительности и не было, большого значения это не имеет: в создавшихся обстоятельствах он вполне мог бы иметь место.

Осознав, что ему еще многому предстоит научиться, оторопевший Уилли только и сумел, дрожа всем телом, точно Оливер Твист, шепнуть дядюшке: «Скажите ему, дядя, что я заикаюсь!»

Глава 3 ЧЕРНАЯ КНИГА

Уилли боялся не зря: заикания ему в Королевской школе не простили. Как не простили бы в любой другой. Ни ученики, ни учителя. Однажды вечером, пишет Моэм в книге «Подводя итоги», накануне возвращения в школу после каникул, он от всей души помолился о том, чтобы Бог избавил его от заикания. Помолвившись, мальчик спокойно уснул, не сомневаясь, что наутро сможет говорить, как все люди, ведь дядя внушал ему, что «вера движет горами». Он уже представлял себе, как удивятся соученики, когда увидят, что заикаться он перестал. «Я проснулся радостным, бодрым, — вспоминает Моэм, — и для меня было тяжким, жестоким ударом, когда оказалось, что заикаюсь я точно так же, как и раньше».

Очень скоро выяснилось, что в школьную жизнь, в отличие от старших братьев, Уилли не вписался и не впишется. И, прежде всего, не впишется в спартанский школьный быт, в непререкаемую армейскую дисциплину закрытой английской школы. В невозможность принять ванну чаще раза в неделю и читать в постели после вечерней молитвы. В необходимость каждодневно по звону колокола, надев все черное — черную курточку, черные полосатые брюки, накрахмаленный воротничок и черный галстук, — бежать в классную комнату на утреннюю молитву, после чего пить жидкий чай, заедая его черствым хлебом, густо намазанным прогорклым маслом. В обязанность по воскресеньям исправно ходить в Кентерберийский собор и сидеть на хорах, слушая нескончаемую проповедь соборного каноника. Торопиться на десятиминутной перемене во двор, где начинались шумные спортивные игры, а вечером со всех ног нестись на вечернюю перекличку.

А ведь Уилли был не менее способным, чем старшие братья. Разве что несобранным: в Черной книге, где учителя Кингз-скул тщательно фиксировали провинности учеников, против фамилии «Моэм» значилось: «Отсутствие внимания». Собственно говоря, у учащегося Моэма таких записей было три: дважды — «Отсутствие внимания» и один раз — «Полное отсутствие внимания». Если ученик попадал в Черную книгу трижды, против его имени появлялась лапидарная запись красными чернилами: «Высечь». Осуществлял порку, оказывая тем самым честь наказуемому, лично директор школы.

«Отсутствие внимания» было, прямо скажем, не самой серьезной провинностью. Бывали и посерьезнее: «Воровал фрукты из школьного

сада». Или: «Аморальное поведение» (Если я правильно понимаю, что имелось в виду, «аморальное поведение» было свойственно абсолютному большинству учащихся). Или: «Ломал школьные парты». Или: «Бормотал дерзости». Или: «Бросал снежки в амбар». Или: «Не успевает по французскому языку». Или: «Носит в школу насекомых».

Мы не знаем, носил ли Уилли в школу насекомых, воровал ли фрукты из школьного сада, но не приходится сомневаться, что школьных парт он не ломал, снежки в амбар, скорее всего, не бросал, по-французски же — и это мы знаем доподлинно — успевал хорошо и конечно же «бормотал дерзости». Что же до «отсутствия внимания», то на академических успехах Уилли оно не сказывалось или сказывалось незначительно.

И вместе с тем чувства локтя с одноклассниками (а их в Кингз-скул, если считать не только учеников младших классов, но и старшеклассников, было в общей сложности более ста) так за четыре года у него и не возникло. Более того, то ли от заикания, то ли из-за слабого здоровья, то ли от нежелания или неумения найти себя среди других, то ли от неспособности к спортивным играм (а в английских закрытых школах спорт, как никакой другой предмет, пользуется всеобщим уважением, «слабосильные» же подвергаются постоянным насмешкам и издевательствам), Уилли Моэм ощущал себя и в младших, и в старших классах «чужим среди своих», изгоем, аутсайдером.

«Я никогда не забуду горестей, выпавших на мою долю за пять школьных лет», — жаловался Робину Моэму спустя много лет писатель. Жаловался, а между тем, когда, как говорится в сказках, «пришло время помирать», отправился в Кингз-скул и попросил у тогдашнего директора разрешения быть похороненным на территории некогда ненавистной ему школы.

Живший же в Уитстейбле по соседству с Моэмами и тогда еще в школу не ходивший Джеймс Роберт Смит вспоминал впоследствии, какой у Уилли был грустный вид, когда он в школьной форме и в соломенной шляпе, со связкой книжек в руке собирался после каникул обратно в Кингз-скул. «Не думаю, что ему особенно нравилось в школе, — рассказывал Смит Робину Моэму лет пятьдесят спустя. — Скорее всего, ему хотелось освободиться от нее и жить дома, как жил тогда я. Никогда не забуду, какое печальное было у него лицо».

И это притом что Уилли едва ли страдал от школьной дедовщины или от учителей больше, чем остальные приготовишки или, если буквально перевести с английского, «свежачки» (freshmen). От учителей, от их розг, унижений и издевательства в большей или меньшей степени страдали все

учащиеся и младших, и старших классов. С групповой фотографии, помещенной в иллюстрированной биографии Моэма, написанной Энтони Кертисом, на нас смотрят четыре преподавателя Королевской школы: преподобные Мейсон (кличка «Морячок»), выходец из Дублина Прайс («Ирландец»), Кемпбелл («Выскачка») и рыжеволосый Ходжсон («Меланхолик») — в обязанности последнего входило каждодневно перед завтраком читать мальчикам главу из Библии. Все четверо — бородатые или усатые, с тяжелыми (чтобы не сказать тупыми), угрюмыми лицами, без тени улыбки, без малейших признаков вдохновения и человеколюбия. Меньше всего похожи эти крупные, мрачные, бородатые люди на выпускников Оксфорда, преподавателей уважаемой, старейшей в Англии закрытой школы, готовящей мужей церкви, тем более на преподавателей, посвященных в духовный сан. Если бы не длинные учительские мантии и плоские, квадратные академические шапочки, «Морячка», «Ирландца», «Выскачку» и «Меланхолика» вполне можно было бы принять в лучшем случае за купцов, а в худшем — за разбойников с большой дороги, пощады от которых ждать не приходится.

Особенно «усердствовал» латинист Кемпбелл, тучный человек среднего роста с маленькими щетинистыми усами и багровым лицом. Отличавшемуся вспыльчивостью, садистическим темпераментом, язвительным нравом и тяжелой рукой Кемпбеллу ничего не стоило не только накричать на ученика, но и побить его. Как-то раз он так сильно ударил одного ученика учебником по голове, что тот оглох, и отец мальчика подал на Кемпбелла в суд. Досталось от него и Моэму. Однажды бедный Уилли, отвечавший Кемпбеллу латинский урок, пришел в такой ужас от злобного окрика учителя, что начал заикаться и не сумел больше произнести ни слова, хотя перевод текста не составлял для него никакого труда. Перепуганный подросток мычал что-то невразумительное, класс покатывался со смеху, а рассвирепевший Кемпбелл колотил кулаком по столу и истошно кричал: «Разевай рот, тупая скотина! Говори!» Устав кричать, наставник с тяжелым вздохом подытожил: «Садись на место, болван. Не понимаю, с какой стати тебя перевели в старшие классы». «Я был в бешенстве, — вспоминал Моэм в написанных уже в глубокой старости воспоминаниях „Вглядываясь в прошлое“. — Мне хотелось его убить. Я был беспомощен, поделать ничего не мог, но про себя решил, что в следующем семестре ни за что не буду ходить к этому зверю»^[10]. Заметим, что это Кемпбелл 8 июня 1888 года вписал в Черную книгу против имени Моэма три слова — «*Полное отсутствие внимания*».

На втором и третьем годах обучения способности Уилли, наконец,

заметили и поощрили. В 1886-м он был признан лучшим учеником года в своем классе. В 1887-м получил музыкальную премию. В 1888-м — премию за успехи в богословии, истории и французском. Удостоился «целого вороха наград — никому не нужных книг (писал Моэм в „Бремени страстей человеческих“) на негодной бумаге, но с великолепными переплетами с оттесненным на них школьным гербом»^[11]. Поощрения такого рода были хороши не столько сами по себе, сколько потому, что давали право в возрасте тринадцати лет надеть вожделенную короткую черную мантию и перейти из младших классов в старшие.

Отрадны были и перемены, произошедшие за эти годы в школьном руководстве. На смену начетчику и схоласту, великану Блору, которого так испугался в первый день Уилли, в Королевскую школу в 1887 году пришел более либеральный, гуманный и демократичный Томас Филд. Недоброжелатели называли сына скромного торговца льняными товарами из Уитстейбла плебеем и отказывались понимать, с какой стати капитул остановил на нем свой выбор. Хотя этот высокий, худощавый, небрежно одетый молодой еще человек и сам в свое время учился в Кингз-скул, был ученым-классиком, к тому же принял духовный сан, он ополчился против традиционного засилья в Королевской школе латыни и греческого. Наперекор «Морячку», «Ирландцу», зловердному Кемпбеллу и компании, он делал все возможное, чтобы развернуть неповоротливый школьный корабль в сторону современных языков и естественных дисциплин, которые прежде, при Блоре, находились в школе на вторых ролях. В отличие от Блора и других наставников «старой выучки», Филд любил поговорить о немецкой философии и французской литературе, рассуждал о самоуправлении Ирландии, приглашал в школу учителей, не принадлежащих к духовному званию, — общее развитие учащихся интересовало его в первую очередь.

Главное же, Филд благоволил к Уилли Моэму. Директор нередко брал его под свою защиту, оценил по достоинству его способности, приохотил юношу к античной литературе и театру — своим любимым предметам, рассказывал ему про раскопки в Греции, в которых сам, в бытность свою в Оксфорде, а потом в Харроу, где одно время преподавал, принимал деятельное участие. Когда Моэм спустя много лет, приехав в Кингз-скул с благотворительной миссией (писатель подарил школьной библиотеке полторы тысячи книг), разглядывал школьные фотографии, он нашел себя без труда: Уилли расположился в ногах у директора Королевской школы Томаса Филда.

Ко всему прочему, у Моэма наконец-то появился в школе друг, и это

притом что и в старших классах его не любили по-прежнему, он, как и раньше, оставался в школе белой вороной. То, что Моэм пишет в «Бремени страстей человеческих» про своего героя, и в самом деле на автора во многом похожего: «Соученики простили ему успехи из-за его физического изъяна», — не вполне соответствовало тому, что происходило с ним самим. Раньше соученики с охотой издевались над заикой, теперь же вдобавок испытывали зависть к фавориту директора, завидовали его академическим успехам, его усидчивости, обзывали «зубрилой», «книжным червем», не любили за зазнайство, самообладание, наблюдательность и злой язык. В Королевской школе у Моэма была кличка «маленький лорд Фаунтлерой».

Имени друга, с которым Моэм очень скоро сблизился, мы не знаем, в «Бремени страстей человеческих» его зовут Роуз, что, очень может быть, является контаминацией имен двух реально существовавших соучеников Моэма — Роу и Росса. Как на самом деле звали закадычного друга Уилли, не так уж, впрочем, и важно. Куда важнее другое. Роуз (будем звать его так, как звали в романе) питал к Уилли приятельские чувства, не более того. Уилли же боготворил Роуза, испытывал к этому красивому, отзывчивому, веселому, легкомысленному парню, отличному спортсмену, всеобщему — в отличие от Уилли — любимцу, чувство истинной влюбленности. Подобные чувства подростки нередко испытывают не только к девочкам (откуда им было взяться в закрытой викторианской школе!), но и к старшим по возрасту мальчикам. Роуз же, отметим, был сверстником Уилли. Чувство Уилли к другу было, надо полагать, первым и довольно ощутимым свидетельством его будущей нестандартной сексуальной ориентации. Было это чувство столь сильным, что, когда, пропустив по болезни семестр (после очередного приступа плеврита дядя отправил племянника пожить в средневековый Йер на Французской Ривьере, где Уилли занимался в группе таких же, как он, больных мальчиков у преподавателя-англичанина), Моэм по возвращении обнаружил, что Роуз заметно к нему охладел и сошелся с другим парнем, он совершенно потерял покой от ревности и неразделенной любви. В «Записных книжках» Моэм рассуждает о двух видах дружбы — интеллектуальной, когда «вас привлекают таланты нового знакомого... его непривычные идеи... его жизненный опыт», и животной, в основе которой «лежит животная притягательность». «Такой друг, — читаем в „Записных книжках“ за 1894 год, — нравится не за особые свойства или таланты, а потому что к нему тянет. Чувство это безрассудное, неподвластное уму; вполне вероятно, что, по иронии судьбы, испытываешь тягу к человеку, совершенно того не достойному... Этот вид дружбы сродни любви...»^[12] Именно таким «животным» другом, к которому Моэма тянуло, к которому

он испытывал «дружбу сродни любви», и был, по всей вероятности, Роуз.

Быть может, именно охлаждение к нему Роуза и подтолкнуло Моэма к решению раньше срока покинуть ненавистную Королевскую школу — решение это, впрочем, зрело давно. А между тем академические успехи юноши были к тому времени столь весомы и очевидны, что у него имелись все шансы после окончания Кингз-скул получить стипендию на обучение в Оксфорде или Кембридже. И Филд, и дядя Генри (первый из-за личной симпатии и из соображений сугубо прагматических, второй главным образом из корысти — за обучение ведь было уплачено вперед) были решительными противниками преждевременного ухода Уилли из школы. Однако Моэму «помогли», во-первых, очередной приступ плеврита, очередной — уже второй — пропуск семестра в связи с отъездом в Йер и, как следствие, неважные отметки по греческому и математике, предметам, которые всегда давались мальчику без особого труда. А во-вторых, — нестигаемая решимость покинуть школу любой ценой. Викарий, видимо, понял, что сопротивление бесполезно, и скрепя сердце согласие на преждевременный уход племянника из Кингз-скул, в конце концов, дал. Что же до его супруги (а мы помним, что София с самого начала тепло относилась к сироте), то она не только поддержала Уилли, но и помогла ему через своих немецких родственников уехать учиться за границу — нашла ему в Гейдельберге недорогой пансион, который держала жена местного профессора истории.

Так Уилли Моэм потерял шанс стать выпускником Оксфорда (или Кембриджа), а значит — принять сан и сделать научную или политическую карьеру, какую сделал его старший брат Фредди. И потерял совершенно сознательно. Моэм пошел «другим путем»: вместо проторенной дороги к «зияющим высотам» британского истеблишмента он выбрал летом 1889 года неведомую, но сулящую счастье и свободу Германию. Случилось это спустя четыре с лишним года с того самого дня, как Генри Макдональд Моэм ввел его солнечным майским утром в окруженное старыми раскидистыми вязами красное кирпичное здание Королевской школы, сильно смахивающее на тюрьму.

Сорокалетний Чарлз Стрикленд, герой романа Моэма «Луна и грош», бросает жену и детей и уезжает из Лондона в Париж, чтобы стать художником. Шестнадцатилетний Моэм столь же бестрепетно бросает школу и дядю с теткой и уезжает в Гейдельберг, чтобы стать писателем. Впрочем, он, скорее всего, еще не знает, кем хочет стать, зато твердо знает, кем становиться не собирается. По наезженной колее он в любом случае двигаться не намерен. У него, как сказали бы сегодня психологи,

«негативная мотивация».

Глава 4 «ОН ИЗ ГЕРМАНИИ ТУМАННОЙ...»

Плодов учености Моэм, в отличие от Ленского, из Германии не привез. Зато привез нечто более для себя существенное: чувство свободы, раскрепощения, которых он был лишен в Кингз-скул. Если Королевская школа явилась в жизни Моэма опытом отрицательным, то Гейдельберг — бесспорно, положительным. Спустя четыре года «узник» Кингз-скул обрел, наконец, свободу. Свободу делать что хочешь, изучать что хочешь, говорить о чем хочешь, общаться с кем хочешь.

Круг же общения в Гейдельберге был широк. Широк и интернационален. В пансионе фрау фон Грабау, толстой, приземистой, приветливой дамочки лет сорока, которая обязывала всех пансионеров говорить только по-немецки, помимо ее мужа, высокого мужчины средних лет с большой светловолосой, сидящей головой, дававшего юному англичанину уроки латыни и разговорного немецкого, двух их двадцатилетних дочерей и сына, сверстника Уилли, — жили студенты разных национальностей: француз, китаец, американец и два англичанина. Обратим внимание на первого и трех последних.

Француз, по счастью, оказался эльзасцем и по-немецки говорил если не свободнее, то, во всяком случае, с лучшим произношением, чем по-французски. Одевался он, как немецкий пастор, однако на поверку оказался монахом-бенедиктинцем, которого временно отпустили из монастыря, чтобы он мог заняться научной работой в университетской библиотеке. Эльзасец не походил ни на ученого, ни на монаха — это был рослый блондин с голубыми глазами навывкате и красной физиономией. Как и Уилли, он был стеснителен и сдержан, в застольных беседах участия почти не принимал и сразу же после обеда снова шел трудиться в библиотеку. Уилли совершал с ним длинные прогулки по десять — пятнадцать миль каждая, во время которых эльзасец читал юноше пространные лекции по античной философии и античной литературе.

Об античной литературе беседовал Уилли и с долговязым американцем, жителем Новой Англии, который, несмотря на свои неполные тридцать лет, уже преподавал в Гарварде классические дисциплины. Любитель поговорить о высоком (развалины средневекового замка на горе, помпезные, старинные здания Гейдельбергского университета, «папаша» Рейн, «плавно несущий воды свои», располагали к неторопливым беседам на отвлеченные темы), молодой, глубокомысленный

гарвардский профессор приохотил Уилли к дискуссиям о мировых религиях, о высшем разуме, о свободе вероисповедания — викарий Уитстейбла, даром что оксфордский богослов, тем этих никогда не касался, ведь предпочтение он отдавал молитвам, а не теологическим спорам. Уикс (так называет американца Моэм в «Бремени страстей человеческих») дал Уилли «Жизнь Иисуса» Ренана, книгу, о которой начитанный племянник викария прежде слыхом не слыхивал, и даже свозил его на пару недель в Швейцарию, где насыщенное интеллектуальное общение между молодыми людьми не прекращалось ни на день.

Когда же гарвардский профессор отбыл из Гейдельберга в Берлин, у Моэма появилось два новых друга, и тот и другой — его соотечественники.

С одним из них, сыном театрального менеджера, Эдни Уолтером Пейном, Моэм подружился надолго. Почти двадцать лет, с 1898 года по 1917-й, они вместе снимали в Лондоне квартиры, что для начинающего писателя было, разумеется, выгодно — снимать квартиру одному, да еще в приличном месте, было бы куда обременительнее. Пейн, закончивший Королевский институт аудита и ставший дипломированным бухгалтером, на весь день уходил в контору, предоставляя другу возможность творить в счастливом одиночестве. Дружба с Пейном, натурой широкой, благородной, уживчивой, была в жизни Моэма, постоянством не отличавшегося, одной из самых прочных. Уилли, делавший тогда в литературе лишь первые шаги, имел обыкновение читать другу вслух свои произведения. На первом издании первого романа Моэма «Лиза из Ламбета» значится: «Моему доброму другу Эдни Пейну». Когда же Моэм взялся сочинять пьесы, «добрый друг», сменивший к тому времени профессию и пошедший по стопам отца, помогал ему заключать контракты с театрами, решать проблемы с налогами — вообще занимался его финансовыми делами. В первые же годы совместной жизни польза от Пейна была вовсе не в том, что он прилежно слушал первые, еще робкие опусы приятеля, и не в том, чтобы оказывать Уилли помощь в заполнении налоговых деклараций и заключении контрактов с издательствами или театрами — о таких контрактах тогда и речи быть не могло. Уолтер, вспоминая впоследствии Моэм, был очень хорош собой и легко, в отличие от стеснительного Уилли, завязывал знакомства с девушками, как правило, артистками, официантками или продавщицами, которые потом, после окончания скоротечного романа с Пейном, переходили к его другу. Делился Пейн с юным Моэмом не только девушками, но и деньгами: он был щедр, великодушен и, главное, куда свободнее Моэма в средствах.

А вот как описывает своего второго соотечественника, 26-летнего

выпускника Кембриджа, несостоявшегося юриста, переквалифицировавшегося в поэта-символиста, Джона Эллингема Брукса, сам Моэм в своих «Записных книжках»: «Это человек ниже среднего роста, широкоплечий, крепкий, хорошо сложенный. У него красивая голова, ладный нос, широкий и высокий лоб; но лицо его, всегда чисто выбритое, сужаясь, оканчивается острым подбородком; глаза бледно-голубые, не слишком выразительные; рот большой, губы толстые и чувственные; кудрявые, но реденеющие длинные волосы развеваются по плечам. Вид у него изысканный и романтический»^[13].

Брукса вернее было бы назвать не другом юного Моэма (и уж подавно не «добрым другом»), а наставником. Эстет, эдакий Дориан Грей, он мгновенно влюбил в себя Уилли, а влюбив, взялся за него всерьез. Начал с того, что заложил в юношу семена безбожия (которые, впрочем, легли на благодатную почву) и поменял ему круг чтения; отобрал «Тома Джонса» и вместо «правильного» и скучноватого Филдинга порекомендовал читать романы Мередита, стихи Суинберна, Верлена, «Апологию» кардинала Ньюмена, статьи Уолтера Пейтера, Мэтью Арнолда. Брукс сам читал Уилли вслух Джакомо Леопарди, которого в то время пытался переводить, а также Данте и свои любимые «Рубаи» Омара Хайяма в переложении Эдварда Фицджералда. Читал, вспоминал впоследствии Моэм, «как читает молитву священник Высокой церкви, распевая литанию на все лады в погруженной во мрак крипте».

Брукс и Моэм совершали длинные романтические прогулки в близлежащий Кёнихшталь, любовались живописной долиной реки Неккар. Во многом Брукс походил на своего кумира Оскара Уайльда, и не только острословием, заносчивостью и эстетством; он не скрывал своих гомосексуальных наклонностей, и не исключено, что интеллектуальными беседами о Данте, Леопарди и французских символистах общение Брукса и Моэма не ограничивалось. Мы, впрочем, ничего об этом не знаем, биографы же любят поспорить о том, совратил ли Брукс Моэма, или же юноша, прошедший через горнило аскетического воспитания сначала в доме викария и его жены, а затем в закрытой Королевской школе с религиозным уклоном, сохранил до поры до времени невинность. Если же верить самому Моэму, то истинные намерения американца из Новой Англии и Брукса он понял много позже. «Прошло немало времени, — вспоминает Моэм, — прежде чем я осознал, что усилия, которые эти люди тратили на то, чтобы поддержать мой интерес, были вызваны не тем, что я зачарованно слушал их речи, и не добротой к несведущему шестнадцатилетнему пареньку, а исключительно вожделением».

Трудно сказать, был ли «шестнадцатилетний паренек» таким уж «несведущим», но в любом случае куда интереснее, как формировалось в эти годы интеллектуальное, а не гомоэротическое образование юного Моэма. И здесь роль Брукса — интеллектуального наставника и в самом деле трудно переоценить. Кругом чтения дело не ограничилось. Не без воздействия Брукса Моэм понял, что «веру ему навязали извне», и он «расстался с верой своего детства совсем просто, сбросив ее с плеч, как сбрасывают ненужный больше плащ». Брукс регулярно водил Моэма в местный театр на «Кукольный дом» Ибсена и «Честь» Зудермана, где «добродетель служила маской для тайных пороков». Ибсен, как ниспровергатель лицемерной мещанской морали и обличитель общественных язв, вызывал отвращение у правильных Грабау. Как вызвал бы, читай они его, священный ужас у ничуть не менее правильных викария и его супруги, этих типичных «продуктов» викторианского воспитания. «Я бы предпочел, чтобы мои собственные дочери пали замертво у моих ног, — говорит в „Бремени страстей человеческих“ профессор Эрлин, прототипом которого был фон Грабау, — чем видеть, как они слушают вздор этого потерявшего всякий стыд сочинителя... Это ведет к разложению семьи, гибели морали, распаду Германии»^[14].

У немецкого профессора и английского священника Ибсен вызывал нескрываемое отвращение, зато юный театрал, который после памятного посещения в Париже мелодрамы Сарду в театре не был ни разу, пришел от великого норвежца в восторг. На представления заезжавших в Уитстейбл бродячих трупп дядя, как читатель легко догадается, племянника не пускал — театр считался грехом, не случайно же пуритане в XVII веке его запретили. Как знать, быть может, именно тогда, в 1891 году, на спектаклях «Кукольного дома» и родился Моэм-драматург?

Ибсен был, разумеется, не единственным открытием, сделанным Моэмом в Германии. В Гейдельберге Уилли открыл для себя еще и Вагнера, о котором раньше не имел ни малейшего представления. Вагнера, которого профессор Грабау также, мягко говоря, не жаловал. А еще оказавшего столь существенное влияние на Вагнера и поздних романтиков Шопенгауэра. Уилли повезло: лекции о великом скептике, авторе классического труда «Мир как воля и представление», читал в университете не кто-нибудь, а знаменитый, очень модный в те годы историк философии, гегельянец Куно Фишер. «Это был плотный, подтянутый человек с круглой головой, курносый, словно расплюснутый сильным ударом, носом боксера, щеткой седых волос и красным лицом, на котором поблескивали маленькие, необыкновенные глаза». Фишер слыл остряком: он то и дело отпускал

шутки, вызывавшие дружный хохот аудитории. Помимо новой драмы Ибсена, Шопенгауэра и «новой» музыки Вагнера, основополагающее влияние на молодого Моэма в эти годы оказали уже упоминавшаяся ренановская «Жизнь Иисуса» и, главное, — «Происхождение видов». Если кто и отучил юного Уилли от церкви и «ее сетей», то это в первую очередь Чарлз Дарвин.

Но «вечным студентом», — как бы ни было в Гейдельберге интересно, как бы ни привлекала его немецкая студенческая жизнь с театрами, соперничающими между собой корпорациями, дуэлями между представителями разных «буршеншафтов», развеселыми посиделками в «кнайпах», — Моэм оставаться не собирался. Да и было ему это не по средствам, и весной 1892 года, после двухгодичного пребывания в одном из лучших университетов мира, перед его взором опять возникли давно, казалось бы, похороненные в памяти викарий дядя Генри с женой, унылый, провинциальный Уитстейбл, мрачный, неуютный дом приходского священника.

Вновь возникла — и тут же была перечеркнута — безрадостная перспектива поступления в Оксфорд. Викарий «раскопал» своего оксфордского сокурсника, ныне крупного и влиятельного государственного чиновника, и тот пообещал поспособствовать. Потом, тем же летом 1892 года, стараниями Альберта Диксона, второго опекуна Уилли, в недавнем прошлом парижского партнера покойного Моэма-старшего, появилась возможность (и, увы, осуществилась — по счастью, всего на месяц, больше выпускник Гейдельберга не выдержал бы) поработать клерком в аудиторской конторе в Чансери-Лейн, где веком раньше, и тоже клерком, зарабатывал на хлеб насущный прадед Уилли.

Клерком быть не хотелось. Не хотелось, сняв квартиру за 14 шиллингов в неделю, каждый день напяливать купленный в магазине готового платья дешевый фрак, визитку и цилиндр и шагать на службу, сидя за конторкой на высоком табурете, раскладывать письма по алфавиту, переписывать счета и сверять суммы расходов. Но не хотелось и учиться в Оксфорде. Не хотелось становиться уже четвертым (а если считать покойного отца — и пятым) юристом в семье — да и мог ли стать заика преуспевающим адвокатом? Не хотелось — тем более — оставаться в Уитстейбле.

Сказать, что хотелось Уилли по возвращении из Германии, не так-то просто. Хотелось, пожалуй, только одного — самостоятельной, независимой жизни. И самостоятельности этой Уилли — во всяком случае в эти годы — ни за что бы не добился, если бы не случай. (Со временем

случай как литературный прием станет почти обязательным *deus ex machina* в его книгах.)

Явился случай в образе местного врача, про которого в «Бремени страстей человеческих» сказано, что «он больше старался не причинять вреда, чем приносить пользу». «А почему бы — как-то раз в разговоре с викарием обмолвился, исходя из этой своей жизненной позиции, врач, — не направить юношу по медицинской стезе?» Дядя Генри, которому нерадивый и упрямый племянник и его метания уже порядком надоели, неожиданно согласился. Он посчитал Уилли ленивым, нерешительным и бесхарактерным именно тогда, когда молодой человек — быть может, впервые — проявил характер. Спор с дядей относительно своей бесхарактерности Моэм заведет много позже, когда викария давно не будет на свете, на страницах «Луны и гроша»: «А я-то думал, — рассуждает рассказчик, — надо иметь очень сильный характер, чтобы после получасового размышления поставить крест на блестящей карьере только потому, что тебе открылся иной жизненный путь, более осмысленный и значительный»^[15].

Хотя Оксфорд не гарантировал на все сто процентов блестящей карьеры, да и размышления Уилли о своем жизненном предназначении наверняка длились не больше получаса, — согласился с предложением доктора и он. Ведь даже если занятия медициной не означали «иного жизненного пути, более осмысленного и значительного», молодой человек обретал желанную независимость. Его умственный взор (перефразируем известную мысль Толстого из «Отрочества») был обращен не на то, что он оставлял, а на то, что его ожидало. Работа врачом была хороша уже тем, что предполагала жизнь в Лондоне, как говорят англичане, *on his own* — своим домом, вдали от постылого Уитстейбла и не менее постылых родственников.

Через несколько недель Уилли приняли в медицинскую школу при старейшей лондонской клинике Святого Фомы, где первые три месяца он работал, сменив фрак, визитку и цилиндр клерка-конторщика на больничный халат акушера, в роддоме при больнице. Но это вовсе не означало, что он вознамерился стать врачом. Он, оказывается, хотел стать писателем. И хотел давно. И очень сильно. О чем впоследствии вспоминал постоянно.

«Я был рожден писать, — признается 88-летний Моэм в мемуарах „Вглядываясь в прошлое“. — Для меня писательство — такая же необходимость, как для новорожденного дыхание»^[16].

«Я писал постоянно, с пятнадцати лет, — рассказывает он в „Записных книжках“. — А студентом-медиком я стал, потому что не мог рискнуть объявить своему опекуну, что мне хочется одного — быть писателем»^[17].

В чем же, собственно, риск? — наверняка недоумевают читатель. А в том, что в викторианские времена (а в довикторианские тем более) восемнадцатилетнему англичанину из приличной семьи негоже было становиться литератором. «Я не хотел быть врачом, — пишет Моэм в книге „Подводя итоги“. — Я хотел быть только писателем, но был слишком робок, чтобы заявить об этом. К тому же в те времена это было неслыханное дело, чтобы восемнадцатилетний мальчик из хорошей семьи стал профессиональным литератором. Сама эта мысль была так несуразна, что я даже не пробовал с кем-нибудь ею поделиться...»^[18] И так, «мальчик из хорошей семьи» и литератор были «вещи несовместные». Моэм, тем не менее, уже им стал.

Помимо всех прочих опытов — жизненных и интеллектуальных, в Гейдельберге он приобрел и опыт литературный. Несмотря на то, что от музыки Уилли был далек, он написал биографию немецкого композитора, предтечи Вагнера Джакомо Мейербера, чей столетний юбилей праздновался в Германии в 1891 году. Первая проба пера оказалась, как это большей частью и бывает, неудачной: рукопись (наверняка весьма несовершенную) местные издатели единодушно отвергли, и юный автор в сердцах швырнул ее в камин. Начало, однако, было положено.

Глава 5 «ФОРМАТИВНЫЕ» ГОДЫ, ИЛИ «ЛЕТОПИСЬ ТЯЖЕЛОЮ ТРУДА И МАЛЫХ ДЕРЗАНИЙ»

Первая часть заглавия — буквальный перевод английского словосочетания «formative years» — «годы формирования личности». Вторая — цитата из романа Моэма «Луна и грош»^[19]: так рассказчик, от чьего имени ведется повествование (почти неизменный атрибут и большой и малой художественной прозы Моэма), определяет свою жизнь в Лондоне.

Тяжелый труд (овладение теорией и практикой акушерства в гинекологическом отделении больницы Святого Фомы) и в самом деле имел место; каждодневный, изнурительный, тяжелый труд. Нечастым развлечениям, вроде посещения театров, где Моэм от души наслаждался игрой Генри Ирвинга и Эллен Терри, отводились воскресенье и, в виде исключения, суббота, когда молодой человек наведывался в мюзик-холл «Тиволи» на шоу с участием Мари Ллойд, Беси Белвуд, Альбера Шевалье. Из задних рядов партера он пересмотрел в те годы лучшие, самые популярные пьесы того времени. Особенно запомнились ему «Вторая миссис Тенкерей» Артура Уинга Пинеро с неподражаемой Патрик Кемпбелл и «Как важно быть серьезным» Оскара Уайльда с Джорджем Александером — у Уайльда и Пинеро будущий драматург многому научился.

Развлечений же более легкомысленных робкий, молчаливый, замкнутый, даже отрешенный юноша (таким его запомнили в больнице) сторонился. Однажды, правда, не желая отстать от других студентов и набравшись смелости, Моэм отправился на Пикадилли, заплатил проститутке фунт стерлингов и получил за этот, прямо скажем, немалый по тем временам гонорар... гонорю, от которой потом долго у себя же в больнице лечился.

Что же до литературных дерзаний, то малыми их не назовешь. «Формативное» десятилетие с 1892 года по начало нового, уже не викторианского века явилось в жизни молодого Моэма борьбой медицины и литературы. Необходимость зарабатывать себе на жизнь (на 150 фунтов годового дохода в Лондоне, да еще с унаследованным от отца размахом, прожить было не так уж просто) вступила в борьбу с тем, что сам Моэм

называл «творческим инстинктом». И творческий инстинкт, желание писать вопреки всему постепенно, но неуклонно брали верх над освоением медицинской профессии. Чехов говорил, что медицина — его законная жена, а литература всего лишь любовница; у юного же Моэма место «законной жены» занимала литература. К медицине, впрочем, Моэм относился добросовестно и с неподдельным интересом и делал в ней определенные успехи. Когда спустя несколько лет он оставит медицину, коллеги и больничная профессура будут говорить об этом с нескрываемым сожалением; если им верить, хирург и терапевт из Моэма получился бы неплохой.

Освоению медицинской профессией противостояло, помимо творческого инстинкта, и желание путешествовать — «охота к перемене мест» не покидала Моэма всю жизнь. За время работы в больнице Святого Фомы Моэм побывал на континенте в общей сложности трижды.

Первый раз — если не считать коротких — недельных — вылазок в Париж, который и заграницей-то для Моэма не был, — весной 1894 года. Воспользовавшись полуторамесячными пасхальными каникулами в медицинской школе, Уилли впервые отправляется в Италию. В руке у него небольшой кожаный саквояж «гладстон» со сменой белья и «Привидениями» любимого Ибсена, в кармане 20 фунтов. Трудно сказать, «целых» или «всего», скорее, последнее. Даже притом что тогдашние британские денежные знаки были куда тяжелее нынешних, — сумма эта невелика. Тем более что увидеть хочется как можно больше. Первоначально поездка планировалась недолгая, но аппетит, как известно, приходит во время еды, и молодой человек объезжает всю Италию севернее Рима. Начинает с Генуи, оттуда перебирается в Пизу, из Пизы — во Флоренцию, где живет на Виа Лаура, неподалеку от «дуомо», неустанно бродит по красавцу-городу с томиком Джона Рёскина в качестве туристического гида и вдобавок берет уроки итальянского у дочери вдовы, в чьем доме остановился. Эрсилия (так зовут девушку) читает ему вслух «Чистилище» Данте и довольно строго со своего ученика спрашивает. «К нашим занятиям она относилась серьезно, — вспоминает Моэм в предисловии к своему роману „Узорный покров“, — и когда я бывал непонятлив или невнимателен, била меня по рукам черной линейкой»^[20]. Сам Моэм тоже читает итальянские книги, в основном по истории, и задумывает, вдохновившись «Историей Флоренции» Макиавелли и советами известного критика и фольклориста Эндрю Лэнга, исторический роман из жизни итальянского Средневековья. По мнению (весьма спорному) Лэнга, единственный вид романа, который может сносно

написать молодой автор, — это роман исторический, поскольку, чтобы писать о современных нравах, молодому автору, дескать, недостает жизненного опыта; история же снабдит его и сюжетом, и персонажами, и литературным колоритом. Роман из жизни итальянского Средневековья будет, впрочем, написан несколько позже; теперь же начинающему романисту пора возвращаться в Англию. Домой, к лекциям по анатомии, дежурствам в приемном покое и обязанностям больничного акушера молодой человек возвращается словно бы против воли, неохотно, кружным путем, через Венецию, Верону и Милан.

Второй выезд за границу состоялся ровно год спустя, в 1895-м, и совпал по времени с одним из самых громких скандалов конца викторианской эпохи — судом над Оскаром Уайльдом по обвинению в «содомии». Молодой путешественник вновь отправляется в Италию, на этот раз в южную, — на Капри, в те времена тихий, почти необитаемый остров, где туристов было раз-два и обчелся. Зато английских литераторов и живописцев «уайльдовской ориентации» на Капри в тот год хватало. Был среди них, разумеется, и наш старый знакомый, Джон Эллингем Брукс, чьи сексуальные и литературные пристрастия за пять лет несколько не изменились. Бывший гейдельбергский ментор Моэма по-прежнему восторженно цитирует Пейтера, Мередита и Омара Хайяма, по-прежнему прилежно изучает Данте, переводит Леопарди и сонеты Эредиа, играет на пианино сонаты Бетховена, не выпускает изо рта трубки и, как и прежде, всей душой предан «искусству ради искусства», о чем не устает пылко рассуждать. Впрочем, о неизменности сексуальных пристрастий Брукса мы, пожалуй, сказать поторопились. На Капри он встречает богатую американскую художницу Ромен Годдар и на ней женится; брак гомосексуалиста Брукса и лесбиянки Годдар, спасшей Брукса от нищеты, — он продавал книги, чтобы утолить голод, — длится без малого месяц. А вот пребывание Брукса на Капри затягивается на целых сорок лет...

На возмужавшего, набравшегося жизненного опыта Моэма (где еще приобрести жизненный опыт, как не в больнице?) чары Брукса действовать перестали. Теперь он насквозь видит это самовлюбленное и, в сущности, довольно ограниченное существо. «Он принимал свою похоть за возвышенные чувства, — говорится в „Бремени страстей человеческих“, — слабодушие — за непостоянство артистической натуры, лень — за философскую отрешенность»^[21]. «Он выказывает страстную любовь к прекрасному, приходит в неистовый восторг при виде картины Боттичелли, альпийских снежных вершин, захода солнца над морем. Восторгается всем тем, чем восторгаться принято, но совершенно не обращает внимания на

неброскую прелесть окружающего мира, — прозорливо подмечает Моэм в „Записных книжках“ не только сущность эстета Брукса, но и эстетства как такового. — При этом Брукс ничуть не притворяется; если он чем-то восхищен, то вполне искренне, неподдельно. Однако он способен заметить красоту, только если ему на нее укажут, сам же не в состоянии открыть ничего... За всю жизнь в его голове не родилось ни единой собственной мысли, зато он с чувством и весьма пространно рассуждает об очевидном»^[22]. Так пишет победитель-ученик о побежденном учителе, которому он теперь знает истинную цену.

На Капри Моэм старается держаться в стороне от вседозволенности и интеллектуальной ограниченности («ни одной собственной мысли») англо-американского эстетского кружка. Теперь у него другие, куда более демократические предпочтения. «Нигде не было мне так хорошо, — вспоминал Моэм, — как на волшебном Капри, среди крестьян и рыбаков...» Мы не знаем, платили ли крестьяне и рыбаки Моэму той же монетой, приверженцы же искусства ради искусства не особенно стремились приблизить к себе «обывателя, которого ничего не интересует в жизни, кроме вскрытия трупов, и которому доставит несказанное удовольствие, застав лучшего друга врасплох, поставить ему клизму».

И, наконец, третья, быть может, самая памятная, давно вынашиваемая поездка Моэма состоялась спустя еще два года, в конце 1897-го, когда бывший студент-медик двадцати трех лет сдал экзамены, ушел из больницы и уже выпустил свой первый роман, о котором речь впереди. Испания, «страна его мечты, к которой он и прежде испытывал непреодолимое влечение, проникся ее духом, ее романтикой, величием ее истории» (говорится в «Бремени страстей человеческих»), произвела на Моэма если и не большее впечатление, чем Италия, то, во всяком случае, впечатление более продолжительное и устойчивое. Сурбаран, Рибера, Веласкес и, прежде всего, Эль Греко стали его любимыми художниками на всю жизнь, о них он много думал, им он посвятит многие свои эссе и статьи. Впрочем, в 1897 году Эль Греко и Веласкеса затмила юная испанка с миндалевидными глазами, которой Моэм по возвращении в Англию писал: «Мне казалось, что я не испытывал к тебе любви, Розарито, и очень жалел об этом. Однако теперь, находясь вдали от тебя, под лондонским дождем, мне все же мнится (о нет, не то чтобы я влюбился!), что я увлечен тобой... твоим образом, запечатлевшимся в моей памяти...» Моэм словно и сам не верит, что способен полюбить женщину... Мы, правда, не знаем, Розарито это или юноша Розарио и существовала ли она (существовал ли он) на самом деле.

И первая, и вторая поездки в Италию были недолгими. В Испании же Моэм, не обремененный более больницей, пациентами, дежурствами («никаких обязанностей, никакой ответственности»), прожил, путешествуя, без малого полгода. Находясь под воздействием прочитанной еще в Уитстейбле у дяди Генри книги «Мавры в Испании», а также классических очерков об Испании Теофиля Готье и Проспера Мериме, он едет на Пиренейский полуостров «в поисках эмоций», как он однажды выразился, беседуя со скорняком в Кордове. Путешествует главным образом по Андалузии, останавливается в Кордове, Гранаде и, естественно, в Севилье, где с Розарито (Розарио) и знакомится. Ездит верхом, много ходит пешком, учит испанский — в Италии хотелось прочесть в оригинале Данте, в Испании — Сервантеса, в Каире, спустя несколько лет — «Сказки тысячи и одной ночи». Заходит в соборы, монастыри и мечети, не гнушается больницами (профессиональный интерес?), тюрьмами, а однажды побывал даже в публичном доме, с чем связана столь же банальная, сколь и сентиментальная история, очень смахивающая на вымысел. Когда проститутка разделась, Моэм обнаружил, что это совсем еще девочка, и спросил, зачем она продает свое тело, на что бедняжка якобы произнесла только одно слово: «Hambre» — «Голод». Он танцует на карнавалах, не раз присутствует на бое быков, о чем в «Земле Пресвятой Девы» напишет: «Порочная, отвратительная штука, но в корриде столько риска, мастерства, отваги, что глупо отрицать, будто есть на свете развлечение более увлекательное». А еще подолгу сидит в тавернах, попивая манзанилью, слушает испанские песни. «Чем-то они напоминают туземное ожерелье, где на бечевку, как придется, без всякого разбора нанизаны камешки разного размера и цвета», — записывает он. И, как сказали бы сегодня, совершенно меняет свой «имидж»: отрастил усы, носит надвинутую на глаза широкополую шляпу, играет на гитаре, не расстаётся с филиппинской сигарой. Испания 1897–1898 годов в жизни Моэма сродни Гейдельбергу 1891-го: здесь, как и шесть лет назад в Германии, он вновь обретает желанную свободу. «Я приехал в Севилью после тяжких лондонских лет, — пишет Моэм в автобиографии „Вглядываясь в прошлое“. — Я устал от надежд, устал думать о тяжелой, скучной работе, и Испания стала для меня землей свободы. Только здесь я, наконец, осознал, что еще молод, только здесь я освободился от пут. Испания была для меня чем-то вроде спектакля, я смотрел этот спектакль и все время боялся, что вот сейчас занавес упадет и вернется реальность...»^[23] Если Испания была для Моэма увлекательным и красочным спектаклем, то «в Англии, — напишет он спустя сорок лет в книге „Подводя итоги“, — я никогда не чувствовал себя вполне дома.

Англичан я стеснялся. Англия была для меня страной обязанностей, которые мне не хотелось исполнять, и ответственности, которая меня тяготила»^[24].

Но все это будет в 1897–1898 годах, пока же, в 1892-м, до кабальеро в широкополой шляпе, танцующего на карнавалах, и свободы Моэму еще далеко; это зажатый, молчаливый, очень добросовестный, погруженный в себя и не уверенный в себе заикающийся юноша.

Строго говоря, Моэм, конечно, не жалел, что бросил медицину, однако спустя много лет, уже став известным писателем, признавался, что из больницы ушел слишком рано. «Это был идиотский поступок, — признался он однажды. — Совершенно идиотский. Ведь я мог бы с тем же успехом писать по ночам и не испытывать чудовищных материальных затруднений. И вот еще, отчего я жалею, что так быстро забросил медицинскую профессию. Дело в том, что шанс написать что-то стоящее до тридцати лет, в принципе, очень невелик. Изю всех сил стараешься заработать литературой на жизнь и упускаешь серьезные темы». Тут важно, однако, не противопоставлять медицину и литературу. «Работа врачом, — писал уже в солидном возрасте в книге „Вглядываясь в прошлое“ Моэм, — научила меня всему, что я знаю о человеке. Именно в больнице Святого Фомы я понял, — и это самый главный урок в моей жизни, — что боль и страдание не облагораживают человеческий дух... Боль и страдание порождают мелочность, обидчивость, эгоизм, жестокость. Облагораживает только счастье». Об этом, собственно, и будет первый роман Моэма, а потом, спустя еще лет двадцать, рассказ «Санаторий», — но до них еще довольно далеко...

Как бы то ни было, медицина была лишь ширмой; профессией врача Моэм, как, собственно, и собирался, овладел лишь в качестве своеобразной страховки: пусть, дескать, будет ремесло в запасе. А вдруг издатели не проявят интереса к моей литературной продукции или интерес проявят сдержанный и недолговечный? И то сказать, среднему литератору жить сочинительством в конце XIX века было ничуть не легче, чем в начале XXI: престиж профессии был близок к нулю.

И Моэм раздвоился, превратился в доктора Джекиля и мистера Хайда из знаменитой повести-притчи Роберта Луиса Стивенсона.

Днем «доктор Джекиль» вместе с еще двумя сотнями студентов-медиков прилежно овладевал азами акушерской профессии. Слушал лекции по анатомии в анатомическом театре больницы и лекции по гинекологии (одну из них, вспоминает Моэм в «Записных книжках»,

остроумец-профессор начал так: «Господа, женщина есть животное, которое мочится раз в день, испражняется раз в неделю, менструирует раз в месяц, дает приплод раз в год и совокупляется при любой возможности»^[25]. Моэм препарировал трупы — и однажды заразился даже септическим тонзиллитом. Присутствовал в качестве ассистента на операциях, перевязывал раны, извлекал швы. Штудировал «Кости» Уорда и «Азы анатомии» Эллиса. Смотрел больных в поликлиническом отделении и во время ночных дежурств в приемном покое. Ходил по кривым улочкам Южного Лондона, неподалеку от больницы Святого Фомы, помахивая черным врачебным саквояжем, который «служил ему пропуском в самых зловещих переулках и вонючих тупиках, куда в одиночку боялись заглядывать даже полицейские». Принимал роды («Я стал квалифицированной повивальной бабкой», — шутил он впоследствии) у живущих в трущобах Ламбета многодетных рожениц, извлекая на свет божий, порой по трое в день, не нужных своим родителям младенцев. На счету юного акушера было в общей сложности шестьдесят три новорожденных. «Он принял у одной женщины двойню, — читаем в „Бремени страстей человеческих“, — и, когда ей об этом сказали, она разразилась истошным, надрывным плачем. „Бог милостив, может и приберет их к себе“, — успокоила ее сердобольная акушерка»^[26].

А вечера «мистер Хайд», если только он не ходил на галерку театра Шафтсбери на «Красотку из Нью-Йорка», коротал в двух снятых за фунт стерлингов в неделю комнатках на первом этаже дома по адресу Винсент-сквер, 11, Вестминстер. Обстановка спальни, где он обыкновенно работал, была более чем скромной, чтобы не сказать убогой: узкая железная кровать, комод, умывальник, на стене цветные репродукции картин Перуджино, Ван Дейка, Хоббема, вырезанные из «Иллюстрейтед Лондон ньюс». В гостиной бросались в глаза разве что когда-то висевший на стене в родительской квартире мавританский ковер над каминной полкой да саржевые занавески ядовито-зеленого цвета. Вернувшись из больницы в начале седьмого, «мистер Хайд» просматривал газету «Стар», которую покупал на углу у Ламбетского моста, и, наскоро пообедав, немедля принимался за работу. До поздней ночи что-то записывал в блокноте и листал свои записные книжки, которых с каждым днем становилось все больше от заносимых в них заметок, зарисовок, очерков, наблюдений, диалогов (из них потом рождались его первые одноактные пьесы), речевых характеристик коллег, знакомых, жителей Ламбета.

Занимался в эти годы Моэм и «копированием» — и об этом тоже

свидетельствуют его записные книжки. Подобно начинающим художникам, копирующим картины старых мастеров, юный Моэм копировал классиков английской литературы, переписывал в свои блокноты целые страницы из Филдинга, Диккенса, Хэзлитта, Дефо, Ньюмена, Троллопа; занимался этой скучной, но чрезвычайно полезной работой регулярно и потом, когда стал известен, не уставал повторять, что это унылое переписывание дало ему очень много.

Записные книжки Моэма тех лет полнятся примерами яркой, сочной, малограмотной речи обитателей ламбетских трущоб. В том числе и искрометными репликами не больно-то образованной, но очень неглупой и наблюдательной миссис Формен, его квартирной хозяйки. Когда кто-то употреблял длинное, непонятное слово, она говорила: «Экое благородное словцо! Того и гляди челюсть сломаешь, пока вымолвишь»^[27]. Чтобы подбодрить хандрившего постояльца, она могла сказать: «Ничего, в конце концов, все обойдется. Как рак на горе свистнет, так все и наладится». При виде пьяного она изрекала: «Вот ведь назюзюкался, смотреть страшно; теперь, пожалуй, и домой отползет...» Всякий раз, когда камин «не хотел» разгораться, она учила Моэма: «Как уйду, проси огонь гореть шибче, понял? Только не смотри на него. Вот увидишь, он славно разгорится, если на него не смотреть».

К миссис Формен Моэм очень привязался. «За двенадцать шиллингов в неделю, — читаем в „Записных книжках“, — моя хозяйка утром кормила меня сытным завтраком, а в половине седьмого, когда я возвращался домой, — еще и ужином»^[28]. И не только кормила, но и развлекала разговорами, при этом была ненавязчива, знала, что называется, свое место. Привязался Моэм к ней настолько, что впоследствии не раз ее вспоминал и «воспел» в образе миссис Хадсон в «Пирогам и пиве». «Миссис Хадсон была живая, светливая женщина маленького роста, с худым лицом, крупным орлиным носом и самыми яркими, самыми жизнерадостными черными глазами, какие я видел в жизни»^[29]. Спустя много лет Моэм как-то зашел к ней на Винсент-сквер выпить чаю, и не охочая на комплименты, как всегда, проникательная миссис Формен, которая «за словом в карман не лезла, выражалась живо... была наделена великолепным лондонским народным юмором», задала ему риторический вопрос на привычном кокни: «Ты ведь еще тогда литературой баловался, скажешь, нет?»

Что греха таить — баловался. В дело, то бишь в пьесы, рассказы и романы, шло все. Из этого «сора» и «росли, не ведая стыда», первые произведения начинающего литератора. Зоркого и дотошного наблюдателя,

с поистине медицинской тщательностью и без особых эмоций фиксирующего перипетии больничной, трущобной и уличной жизни с ее горестями, неизлечимыми болезнями, утехами, самоубийствами, свадьбами, драками, скандалами, смертями под колесами омнибусов или на операционном столе. Вслед за многими начинающими авторами тех лет Моэм начинал как натуралист, исходивший из того, что человек не венец творения, а продукт среды. Как автор «трущобных» романов и рассказов, как «разгребатель грязи» — даром что грязи в бедных кварталах Южного Лондона хватало — и в прямом и в переносном смысле. Преподанные в Гейдельберге эстетские уроки Джона Эллингема Брукса в прок не пошли. Как учитель жизни он перестал существовать еще на Капри, теперь же обесценился и как «учитель изящной словесности». «Он вознамерился заняться сочинительством, не обладая необходимыми для того энергией, воображением и волей. Отличаясь примитивным усердием, он интеллектуально ленив»^[30]. Джон Эллингем Брукс, одним словом, был окончательно развенчан.

В чем в чем, а в интеллектуальной лени самого Моэма не обвинишь. Зато его можно обвинить в двух грехах, которым, впрочем, подвержены почти все начинающие писатели, — в поверхностности и подражательности. «Способности налицо, хотя и не слишком большие, — говорится во внутренней рецензии от 20 июля 1896 года, которую еще совсем молодое тогда лондонское издательство „Фишер Анвин“ заказало известному критику и издателю Эдварду Гарнетту на рассказ Моэма „Дурной пример“. — У мистера Моэма есть воображение, и он может недурно писать, но его сатира на общество недостаточно глубока и остроумна, чтобы на нее обратили внимание. Я бы посоветовал автору рассказа некоторое время печататься в журналах не слишком заметных; если же ему удастся написать нечто более существенное, пусть присылает нам». Отрицательную рецензию, подписанную «Э. Г.», Моэму, разумеется, из гуманных соображений не показали. Чтобы юного автора не разочаровывать, ему были переданы на словах две вещи: «Ваши рассказы слишком коротки» и «Присылайте в „Анвин“ что-нибудь подлиннее». Как мы видим, издательские вкусы за 120 лет не очень изменились: большой прозе отдавалось предпочтение тогда и отдается теперь.

Моэм же, напротив, поначалу отдает предпочтение малой прозе и «малой драматургии».

Когда стало ясно, что мрачноватые одноактные пьесы в духе Ибсена с героями, страдающими от неизлечимых болезней и неизлечимого

прошлого, энтузиазма у лондонских театральных менеджеров, антрепренеров и режиссеров не вызывают, Моэм решил переключиться на прозу. «Заручусь репутацией прозаика, — примерно так, по всей видимости, рассуждал он, — а потом вернусь к драматургии». Как показало будущее, рассуждал правильно.

Первые два рассказа «из жизни» были им закончены в марте 1896 года и отправлены, как мы уже знаем, в издательство Томаса Фишера Анвина, сына типографа, высокого, бородатого, вспыльчивого человека, который держал подчиненных в черном теле (они называли его за глаза «психом») и платил гроши авторам. Любимой присказкой Анвина было: «Литература — дело очень хорошее, но она не костыль, на нее не обопрешься».

Решение печататься у Анвина было, тем не менее, разумным. Во-первых, Анвин любил «открывать» молодые таланты: он уже издал произведения Конрада, Йетса, Голсуорси, Форда Мэдокса Форда, которым только еще предстояло прославиться. Во-вторых, рассчитывать начинающему автору на приличные гонорары в любом случае не приходилось, Анвин же вошел в издательский мир с прогрессивной (как мы теперь убедились на практике) идеей серийных изданий, в том числе и серийного издания малой прозы — эта серия в «Анвине» называлась «Национальный рассказ» и пользовалась спросом. Моэм, впрочем, рассчитывал напечататься в другой, более популярной серии — «Библиотека псевдонимов», где под мягкой желтой обложкой Томас Фишер Анвин начал публиковать современных английских и американских романистов (а не новеллистов), и не под их настоящими именами, а под псевдонимами. Читатель, рассудил Анвин, будет заинтригован еще до того, как раскроет книгу.

Рассказы Моэма не подошли не только по формальным признакам («слишком коротки»). Помимо поверхностности, подражательности и отсутствия «глубокой и остроумной сатиры», и «Дурной пример», и «Дейзи» за версту отдавали навязчивой и примитивной социальной критикой, которую массовый читатель не любил никогда: большинству хочется ведь отвлечься от жизненных тягот, от «свинцовых мерзостей», а не погружаться в них. Моэм же хоть и старался писать в манере беспристрастного наблюдателя, хоть и не делал далеко идущих выводов, но с очевидностью бросал вызов «плохому», виновному во всех грехах обществу.

В «Дурном примере» клерк из Сити Джеймс Клинтон, заседая в суде присяжных, где разбираются дела о самоубийствах, вызванных «социальной эксплуатацией», решает посвятить жизнь лондонской бедноте,

не расстаётся со Священным Писанием, после чего жена и друзья записывают его в сумасшедшие и в финале сдают в психиатрическую лечебницу.

В «Дейзи», рассказе более живом и многоплановом, моральная инвектива, тем не менее, столь же примитивна. В этой новелле, которая основана на реальной истории и действие которой происходит не где-нибудь, а в Блэкстейбле (читай — Уитстейбле), героиня Дейзи Гриффит убегает с заезжим офицером, к тому же женатым. В отличие от нашего Самсона Вырина, отец девушки, справившись с минутной слабостью любящего отца, от дочери отворачивается, демонстрируя стойкость викторианской морали. Когда же Дейзи, опустившись на самое дно, в конечном счете «выплывает» — становится театральной звездой и выходит замуж за богатого баронета, ее мать и брат готовы вернуть блудную дочь в лоно семьи — при условии, правда, что Дейзи не откажется оказывать родственникам «посильную» материальную помощь.

И в первом, и во втором рассказе во всем виновато общество — бездуховное, черствое, ханжеское. Увы, чтобы проникнуться этой нехитрой мыслью, столь типичной для всякого «разгребателя грязи», читать «Дурной пример» и «Дейзи» было вовсе не обязательно.

Рассказ «Дейзи» покажется куда любопытнее, если посмотреть на него не с точки зрения примитивной морали, а с точки зрения биографии автора. Когда в трогательном финале мы читаем, как, побывав у родителей, Дейзи идет по городку, приходит на вокзал, садится в зале ожидания и «сердце ее преисполняется горькой печали, ужасной тоски по прошлому», — не напоминает ли это чувства самого Моэма? Чувства, которые он испытывал, приезжая навестить дядю Генри и вспоминая с высоты своего нынешнего опыта ту безотрадную жизнь, что он вел в Уитстейбле мальчиком и подростком? Впрочем, такое — автобиографическое — прочтение рассказа в 1896 году едва ли было возможно. Ни издатель, ни читатель ровным счетом ничего не знали про жизнь никому не известного автора, и «Дейзи» была отвергнута вслед за «Дурным примером»; кто-то из внутренних рецензентов пошутил даже, что Моэм своим рассказом «подает дурной пример» другим начинающим литераторам. Чтобы закончить тему, надо бы еще добавить несколько слов. Оба рассказа, про которые Моэм впоследствии говорил, что задумал их еще в восемнадцатилетнем возрасте, спустя три года будут все же напечатаны в сборнике «Ориентеры»; сборник этот никогда больше не переиздавался и был несколько необычен, о чем еще будет сказано.

Но на ошибках, как известно, учатся. Прочитав внутреннюю рецензию

Гарнетта, Моэм нисколько не расстраивается, чуть ли не в тот же летний день 1896 года садится за роман и уже через несколько месяцев, меньше чем за год до выпускных экзаменов в медшколе, отправляет Анвину рукопись, к которой прикладывает «объяснительную записку». «В начале прошлого года, — говорится в письме, — я послал Вам два небольших рассказа. Вы мне их вернули на том основании, что они слишком коротки, и предложили сочинить что-то более длинное. Посылаю Вам роман, в нем 42 000 слов, поэтому думаю, что коротким Вы его не сочтете. Надеюсь, он Вам подойдет».

Глава 6

«ЛАМБЕТСКАЯ ИДИЛЛИЯ»

Роман подошел. Вот хронология его успеха.

Осень 1896 года. Роман «Ламбетская идиллия» вчерне закончен. Моэм планирует издать книгу у Анвина в серии «Библиотека псевдонимов» и подписывает рукопись «Уильям Сомерсет».

14 января 1897 года. Моэм отправляет рукопись (три исписанные от руки толстые школьные тетради) в издательство «Фишер Анвин».

21 января 1897 года. Из первой внутренней рецензии Вогана Нэша: «Автор демонстрирует неплохое знание речи и обычаев лондонской бедноты, и, умей он распорядиться своим материалом, его книга представляла бы определенную ценность. Увы, в романе нет и следа подобного умения... Некоторые подробности просто возмутительны и, на мой взгляд, непригодны для публикации... Между отдельными сценами нет никакой связи, они пригнаны как придется, любовная интрига отсутствует...» Как говорится, первый блин комом.

25 января 1897 года. Из второй внутренней рецензии Эдварда Гарнетта: «...как бы то ни было, „Ламбетская идиллия“ — весьма толковое реалистическое исследование жизни фабричных работниц и улицы... Финал беспросветен, но общий настрой книги здоровый...» Как видим, на этот раз Гарнетт более благосклонен.

2 февраля 1897 года. Из третьей внутренней рецензии Уильяма Чессона: «Интересно, правдиво, производит впечатление... Главные достоинства мистера Моэма — ясность и соразмерность... Как с моральной, так и с художественной точки зрения, мы рекомендуем опубликовать этот роман... Чувствуется, что мистер Моэм знает людей, о которых пишет».

Счет внутренних рецензий, таким образом, становится 2:1 в пользу «Ламбетской идиллии». Анвин оказался прав, «не поверив» первому, резко отрицательному отзыву.

Апрель 1897 года. Моэм подписывает контракт с издательством «Фишер Анвин» на публикацию «Ламбетской идиллии» в течение 1897 года. Поскольку внутренние рецензии, даже положительные, восторженными никак не назовешь, издатель предупреждает автора, что на его книгу, вероятнее всего, последуют резкие нападки в прессе, и Моэм решает подписать роман своим настоящим именем, а не скрываться под

псевдонимом. Соответственно, «Лиза из Ламбета» (так в окончательном варианте будет называться книга) не выйдет в серии «Библиотека псевдонимов» — издание будет внесерийное.

Конец августа 1897 года. Выходит «сигнал» романа; Моэм получает вожделенные шесть экземпляров и раздает их друзьям — начало положено. Один экземпляр, как уже говорилось, посылает с теплой надписью дяде Генри Макдональду Моэму в Уитстейбл.

Сентябрь 1897 года. «Лиза из Ламбета» выходит из печати тиражом две тысячи экземпляров. В течение первых же четырех недель приличный по тем (да и по этим) временам тираж — две тысячи не так уж мало, когда речь идет о первой книге никому не известного автора — распродан.

Октябрь 1897 года. На прилавках лондонских книжных магазинов появляется второе издание романа. Анвин выплачивает Моэму гонорар в размере «целых» двадцати фунтов стерлингов. Уточним: хорошо зарабатывать Моэм, прославившийся своими баснословными гонорарами, начал далеко не сразу. «За первые десять лет литературных заработков мне ни разу не удавалось выбить из издателей больше пятисот долларов в год, — вспоминал впоследствии писатель. — Это была постоянная борьба с бедностью. Мои книги исправно выходили из печати, но при этом я с трудом сводил концы с концами». Однако пройдут упомянутые десять лет, и Моэм будет зарабатывать 500 долларов не в год, а в неделю... А то и больше.

На «первенца» Моэма критика отзывается очень охотно и очень по-разному — опытный Фишер Анвин оказался прав. Что ж, как мы прекрасно знаем, отрицательный отзыв — реклама не менее, а порой и более действенная.

«Дейли мейл», 7 сентября: «От романа несет кабаком, впечатление он вызывает на редкость гнетущее, вместе с тем написан он мощно и внятно, и следует признать, что картину жизни книга рисует верную и живую».

«Экэдеми», 11 сентября: «...намеренный и бесстыдный плагиат... То, что должно было стать трагедией, свелось к грязной истории вульгарного соблазнения».

«Атенеум», 11 сентября: «Жизнь в Ламбете описана с бескомпромиссной правдивостью и тщательностью... Читателей, которые предпочитают не соприкасаться с самыми непотребными словами и выражениями лондонского дна, следует предупредить, что книга мистера Моэма написана не для них. С другой стороны, те, кто хочет прочесть о жизни такой, какая она есть, без прикрас и преувеличений, без труда оценят

достоинства этого тома».

Рецензия за подписью «Ваш постоянный читатель», 16 сентября: «Давно уже ни одна книга не вызывала у меня такого глубокого отвращения, как „Лиза из Ламбета“. Мистер Моэм сунул нос в помойку и познакомил нас с результатами своего исследования... Результат тошнотворен, грязен. Мсье Золя тоже пишет грязно, но он всегда, в большей или меньшей степени, артистичен; мистер же Моэм — никогда. Мистеру Моэму следовало бы прекратить писать такого рода сочинения; если же он сочтет возможным продолжать, то общество должно этому воспротивиться...»

«Букмен», 9 октября: «Автор не глуп, но ничего нового он нам не сообщил... Все в его книге совершенно безнадежно и беспросветно. Автор не способен на сильные чувства, при этом он проницателен, и хорошо бы о нем услышать вновь — будем надеяться, в описании совсем другой жизни».

«Спектейтор», 13 ноября: «Убогость жизни, описанная в этой небольшой книжке, тошнотворна».

«Вэнити-Фэр»: «Неприятный, нездоровый роман...»

Все отзывы — и внешние, и внутренние, и положительные, и отрицательные — наглядно свидетельствуют: рецензируется произведение натуралиста, «разгребателя грязи». Слова и выражения из этих рецензий: «уличная жизнь», «финал беспросветен», «грязная история», «все очень безнадежно и беспросветно», «гнетущее впечатление», «неприятный, нездоровый роман», «от романа несет кабаком», «убогость жизни», «сунул нос в помойку», «результат тошнотворен, грязен» — говорят сами за себя. Для очень многих, в том числе и тех, кто оценил книгу положительно, «Лиза из Ламбета» — пощечина общественному вкусу, чтение, оптимизма не внушающее.

Сам же Моэм видит свою первоочередную цель не в том, чтобы оскорбить читательский вкус, не в «разгребании» грязи в лондонских трущобах, которые он так хорошо узнал во время своих акушерских «обходов». В ответном письме в «Экэдеми», где его обвиняют в плагиате и вульгарности, Моэм 13 сентября 1897 года не без некоторой патетики пишет: «...задача этой книги — заставить филистера взглянуть на бедных с меньшим самодовольством и даже пожалеть их, ведь жизнь у них — не позавидуешь».

Задача, очень может быть, была именно такой; задача — но не результат. Слова Моэм употребляет красивые, звучные, однако рецензента

«Экэдеми» они убедили вряд ли. Не убеждают, скажем сразу, и нас. Впрочем, справедливости ради надо заметить, что «крыть» Моэму особенно нечем. У начинающего автора в игре с критикой всегда цугцванг. Если он сочинит роман из жизни, скажем, итальянского Средневековья (а такой роман Моэм, как мы помним, уже задумал и в скором времени напишет), критика обвинит его, что описывает он то, чего не знает, сам не переживал, и так далее. Если же в романе действие происходит в лондонских трущобах, жизнь которых писателю известна не понаслышке, критики скажут, что от книги «несет кабаком», они будут на все лады упрекать автора в «беспросветности», «тошнотворности», «убогости» и «грязи». В том, что он употребляет такие «совершенно непристойные» слова, как *belly* — брюхо. Сегодня, когда в книгах, в том числе и самых серьезных, встречаются слова и поглубже, этот пример покажется смехотворным, однако Моэму и его издателю было не до смеха: начался форменный скандал, и автору пришлось, когда он держал корректуру, это «сверхнеприличное» слово заменить. При этом, что забавно, зоилов, радеющих за нравственность чопорного викторианского читателя, нисколько не смутили такие слова, как «грязная сука» и «проститутка», которыми поносят героиню романа...

Иными словами, необстрелянному автору — тем более если двухтысячный тираж его книги распродан за месяц — угодить критикам нелегко. Но вот с какой стати возникли обвинения в «намеренном и бесстыдном плагиате»?

Нам неизвестно, читал ли юный дарвинист и «разгребатель грязи» классиков «трущобного жанра» Джорджа Гиссинга и Артура Моррисона, подражал ли им, знаком ли был не только с «естественным отбором», но и с позитивизмом Герберта Спенсера. А вот то, что между произведениями «Лиза из Ламбета» и «Преисподняя» Гиссинга, тем более — «Повести убогих улиц» и «Дитя Джаго» Моррисона имеются «странные сближения», — очевидно. Сам Моэм, по одним сведениям, отрицал, что он многое позаимствовал у Моррисона, по другим же — признавал это.

В отличие от Диккенса, у которого нищета и убожество всегда временны, преходящи, и читателя ждет обязательный хеппи-энд, Гиссинг, сам проживший много лет в крайней нужде в лондонских трущобах, изображает трущобную жизнь западней, тупиком, из которого выхода нет и быть не может.

О том, что положение обездоленных безнадежно, что Ист-Энд — это, говоря словами Гиссинга, преисподняя, свидетельствует и «Дитя Джаго» Моррисона, роман, вышедший в 1896 году, как раз когда Моэм писал свою

книгу (основной довод обвинителей в плагиате), и отличающийся куда большей мрачностью и беспросветностью, чем «Лиза из Ламбета». Отец героя, Дика Перрота, отправлен на виселицу за убийство, сам Дик погибает в семнадцать лет в уличной драке, роман «перенаселен» ворами, жуликами и бандитами. Тема «ненужности» новорожденных в многодетных нищих семьях, так занимавшая молодого акушера и писателя, в книге Моррисона звучит в словах местного врача: «Все в порядке, говорите? Да в этих местах нет ни одного ребенка, которому лучше было бы жить, чем умереть, а еще лучше было бы этим детям и вовсе не родиться на свет божий... Эти места — прибежище крыс, эти крысы размножаются, как умеют только крысы, — а мы еще говорим, что все в порядке...»

Еще больше совпадений в конфликте и в фабуле между «Лизой из Ламбета» и другим произведением Моррисона, рассказом «Лизерант» из «Повестей убогих улиц», печатавшихся первоначально, прежде чем выйти сборником, в лондонском журнале «Стрэнд мэгэзин» и вызвавших якобы сочувственный отклик самой королевы Виктории. В «Лизеранте» — ранний брак и материнство молоденькой фабричной работницы, чей муж не видит иного выхода из их нищенского существования, кроме как сделать из жены уличную девку. В «Лизе из Ламбета» — не менее печальная (и типичная) судьба восемнадцатилетней Лизы Кемп. Девушка живет с матерью и тринадцать (!) братьями и сестрами. «На нашей улице, — смеясь, говорит мать, — у всех матерей детишек больше десятка, вот только у тети Мэри их всего трое — так она ведь не замужем». Решительная, влюбчивая, всегда готовая за себя постоять, Лиза сходится с человеком, жена которого ждет десятого ребенка. Лиза беременеет, вступает на улице в драку с женой своего любовника — и умирает от родильной горячки. Как и в «Лизеранте», герои изъясняются исключительно на кокни; как и у Моррисона, постоянный фон — насилие, детская смертность, дикие нравы. Как в «Преисподней» Гиссинга — драки между женщинами, нищие похороны, супружеские измены. И вызваны измены не столько чувством, страстью, сколько, наоборот, безразличием к будущему, безысходностью. Как пишет Моэм в письме Анвину, которое прикладывает к рукописи «Лизы», «...в мире вообще мало что имеет значение, а на Вир-стрит в Ламбете *ничего* не имеет значения».

Сходство между «Лизой из Ламбета» и классикой жанра, как видим, налицо. Сходство и в теме, и в мотивах, и в образах, и даже в сюжете. Но только не в пафосе. Его, пафоса, сколько угодно у Гиссинга, тем более — у Моррисона, который добился своим романом, что описанный им квартал бедноты Олд-Никол был снесен, а его жители переселены — редкий

пример прямого воздействия художественной литературы на жизнь. А вот у Моэма, что бы он ни писал в «Экэдеми» в ответ на обвинения в плагиате, пафос отсутствует; отсутствует, впрочем, и ирония, та самая ироническая отстраненность, в которой будут обвинять Моэма-новеллиста. Читая «Лизу из Ламбета», мы попадаем в ту же преисподнюю, но с той существенной разницей, что Моэм, как и в рассказах, описывает беспросветную тяжкую жизнь Ист-Энда с бесстрастностью исследователя, наблюдающего за подопытным кроликом. Говоря его же словами, судьбу Лизы из Ламбета он описывает так, как ее бы описал его тогдашний кумир Мопассан, которого он прочел почти всего, когда ему еще не было и двадцати, — бесстрастно, со стороны.

Моэм несколько лет проработал акушером в больнице в бедном районе, накопил немалый опыт и стремится этим опытом с читателем поделиться, а вовсе не изменить жизнь обитателей лондонских трущоб к лучшему. Литературный же опыт «Лизы из Ламбета» Моэму пошел в прок только в том смысле, что он убедился: его давнее желание зарабатывать на жизнь сочинительством не совсем бесперспективно. Во всех же остальных отношениях этот опыт не пригодился, как не пригодился и опыт написания одноактных пьес в духе Ибсена. На долгом и многоликом творческом пути Моэма первый — натуралистический — роман явился, скорее, исключением, писатель еще не выработал свой почерк, о чем впоследствии прозорливо напишет: «Я был вынужден придерживаться истины из-за отчаянной бедности своей фантазии». Когда фантазия станет побогаче, необходимость в «низкой» истине отпадет.

Глава 7 ПРИ ДЕЛЕ

На поиски своего почерка ушло без малого десять лет. Начинать приходилось с нуля, ведь после успеха «Лизы», вопреки рекомендациям Анвина продолжать писать «трущобные романы», Моэм решил радикально изменить манеру и тему. И при этом — попытаться жить литературным трудом. Первое решение было, пожалуй, оправданным: написать что-то новое о «свинцовых мерзостях» лондонского Ист-Энда после Гиссинга, Моррисона, да и своего собственного романа, было сложно, да и неинтересно — не было, как сказали бы сегодня, «вызова». Второе — по меньшей мере, рискованным: писателей, ухитрявшихся прожить на литературные гонорары в начале XX века (как, впрочем, и столетие спустя), можно пересчитать по пальцам одной руки.

Но Моэм — с виду робкий, осторожный, сдержанный — на риск, как мы уже знаем, шел легко, проторенных путей не искал. Вспомним: после Королевской школы ему «светил» Оксфорд, он же отправился на полтора года в Гейдельберг. После Гейдельберга Моэм мог, не слишком заботясь о хлебе насущном, поступить в университет, мог ходить в «присутствие», мог сделать, вслед за старшими братьями, юридическую карьеру — он же поступил почему-то в медицинскую школу при больнице. По окончании медицинской школы осенью 1897 года он мог бы с медицинским дипломом в кармане без особого труда получить место практикующего врача если не в Лондоне, то уж точно в провинции (как это и произошло с героем «Бремени страстей человеческих») и прожить безбедно и достойно всю оставшуюся жизнь. Моэм же ступил на шаткую стезю сочинительства, того самого, про которое Анвин говорил, что на него, в отличие от костыля, не обопрешься. Он, наконец, после нескольких неудачных попыток написал роман, тираж которого раскупили за месяц. И вот теперь решил изменить «курс».

В принципе, Моэм поступил правильно: он пробует себя в самых разных прозаических и драматических жанрах. Более того, он жанры «тасует». Из романа, от которого отказывается издатель, он нередко делает пьесу, из пьесы, если она не пришлась режиссеру по вкусу, — роман. Так, пьесу «Исследователь» Моэм переделал в роман с тем же названием, и роман этот спустя несколько лет увидел свет. Потом роман вновь был переделан в пьесу — ее черед пришел только в 1908 году. Напечатанный в «Панче» рассказ «Леди Хабарт» был переделан в пьесу «Леди Фредерик»,

рассказ «Купидон и викарий из Свейла» — сначала в пьесу «Хлеба и рыбы», а потом «Хлеба и рыбы» стали романом «Фартук епископа», — и таких «трансвестий» в творчестве писателя тех лет сколько угодно.

Из Испании, куда он отправился, как мы знаем, вскоре после экзаменов, в декабре 1897-го, он привез летом следующего года путевые очерки «Земля Пресвятой Девы», о которых уже шла речь, четыре рассказа и роман воспитания, перенасыщенный автобиографическими подробностями, — «Творческий темперамент Стивена Кэри». Из этой книги со временем «вырастет» один из лучших романов Моэма «Бремя страстей человеческих», на который мы уже не раз ссылались. Но «расти» ему предстоит долго, без малого двадцать лет, версия же 1897 года оставляет желать...

Стивен Кэри ученически списан с Уилли Моэма: так же рано, как и автор, теряет любимую мать, как и автор, живет после смерти матери у дяди — правда, не священника, а коммерсанта. Точно так же учится в закрытой школе, название которой — *Regis School* — представляет собой латинский эквивалент Кингз-скул. Точно так же покидает постылую школу в шестнадцать лет, точно так же учится за границей — правда, не в Гейдельберге, а в Руане. «Атеистическую пропаганду» вместо гарвардского преподавателя осуществляет в романе Фрэнсис Хаус, тоже американец. Роль же эстета Эллингема Брукса в «Творческом темпераменте» берет на себя клерк в конторе, где служит герой...

И каков же результат этих испанских свершений? Почти нулевой. «Землю Пресвятой Девы» удалось пристроить лишь спустя несколько лет, в начале 1905 года, а для этого существенно переработать. Рецензии, когда путевые заметки, наконец, вышли, причем довольно скромным тиражом, были весьма сдержанными. Доброе слово произнес только один рецензент, правда, стоящий многих. «Его перо находится в надежных руках... Он искренне хочет найти нужное слово для выражения красоты, которую он искренне любит», — написала о «Земле Пресвятой Девы» в «Литературном приложении к „Таймс“» Вирджиния Стивен, она же Вирджиния Вулф.

Что же до «Творческого темперамента», то молодой писатель, отдадим ему должное, вложил в этот роман немало сил и творческого темперамента. Изобразил себя эдаким Чайльд Гарольдом, играющим Вагнера на пианино, презиравшим человечество и, вследствие интрижки с официанткой из лондонской забегаловки, разуверившимся в женской любви. Чайльд Гарольд, Вагнер и пронизывающие всю книгу скепсис и безысходность, увы, не помогли: издатели, Анвин в первую очередь, не проявили к этому опусу решительно никакого интереса; книга так и не вышла. Спустя годы,

когда Моэм стал знаменит, издатели порывались включить «Творческий темперамент» в собрание его сочинений, но Моэм наложил вето; теперь с романом можно ознакомиться разве что в рукописи, которая хранится в Вашингтоне, в Библиотеке Конгресса.

Писавшийся летом 1897 года на Капри исторический роман «Сотворение святого», тот самый, на который Моэма подвигнул Эндрю Лэнг и вдохновил своей «Историей Флоренции» Макиавелли, в отличие от «Творческого темперамента», увидел-таки свет в конце мая 1898 года, причем не только в Англии, но и в Америке. При этом в обеих странах продавалась книга неважно, хотя Эдвард Гарнетт во внутренней рецензии ее похвалил: «Очень сильно, свежо, хорошо; Моэм в очередной раз доказал, что писатель он умный». Гарнетт похвалил, а вот сам автор, как это случилось не раз, был о своем романе мнения весьма невысокого; на экземпляре «Святого», подаренном спустя годы Робину Моэму, написано: «Очень слабый роман Уильяма Сомерсета Моэма». Примерно то же написал Моэм впоследствии и на экземпляре другого своего раннего романа «Миссис Крэддок», когда вручал его Карлу Пфайфферу: «Oeuvre de jeunesse» — «творение молодости».

«Сотворение святого» — роман действительно слабый. Не помог подзаголовок «Любовный роман из жизни средневековой Италии» — это чтобы читатель, не дай бог, не подумал, что раскрывает роман религиозный. Не помогли атрибуты массового чтения — кипящие страсти, измены, предательства, несчастная любовь, леденящие кровь натуралистические описания многочисленных убийств и изощренных пыток и казней. Увы, воспоминания итальянского искателя приключений, ныне монаха Филиппо Брандолини, влюбившегося на свою беду в коварную (как и многие героини Моэма) Джулию Далл'Асте, — британского и американского читателя не увлекли. И не слишком испугали, на что, скорее всего, рассчитывал упивавшийся натуралистическими зарисовками автор. «Многих эта книга определенно разочарует, — говорилось в рецензии, напечатанной в „Букмене“. — Она рассчитана на не слишком взыскательного читателя, которого не испугаешь и который не слишком впечатлителен». А ведь Моэм не один месяц просидел в Британском музее, прилежно читая про осаду Форли в далеком XIII веке. Второго издания «Сотворения святого», в отличие от «Лизы из Ламбета», где, кстати сказать, автор тоже увлекается натуралистическими подробностями, не последовало — ни в Англии, ни в Америке.

Весьма умеренный издательско-читательский и режиссерский интерес

вызвали и другие произведения Моэма тех лет. Будь то пьесы, рассказы или романы.

Пьесы либо не ставились вовсе, либо ставились в небольших «некоммерческих театрах» для немногочисленных зрителей и при отсутствии авторских гонораров и рецензий в крупных газетах и журналах. Первым пьесам безвестного Моэма в крупных театрах места не было. Новая генерация актеров-менеджеров имела свои непререкаемые предпочтения. Сэр Герберт Бирбом Три ставил в своем «Театре его величества» в основном Шекспира или французских драматургов. Джордж Александер в «Сент-Джеймсеиз тиэтр» — салонные пьесы Пинеро или же Оскара Уайльда — на того и на другого публика валила валом. Чарлз Уиндэм в «Крайтерионе» — тоже салонные пьесы, но не Пинеро, а Генри Артура Джонса. Такие, как теперь бы сказали, «нераскрученные» драматурги, как Моэм, могли рассчитывать разве что на основанное в 1899 году «Сценическое общество» («Stage Society»), которое снимало на один-два вечера небольшой театр в Уэст-Энде, где вместо салонных драматургов ставились Ибсен и Шоу. Таких проблемных пьес было мало. Для «Сценического общества», впрочем, первые пьесы Моэма тоже не годились: были слишком легковесными, недостаточно «идейными».

Премьера первой поставленной пьесы Моэма «Браки совершаются на небесах», напечатанной в альманахе «Рискованное предприятие», о котором еще будет сказано несколько слов, состоялась и вовсе не в Англии, а в Берлине, в экспериментальном театре «Пустой звук», и сыграно было всего восемь спектаклей. Довольно банальным сюжетом о выдавшей виды женщине, сильно смахивающей на «поживших» героинь Уайльда и Пинеро, заинтересовался тогда еще совсем молодой Макс Рейнхардт — лондонские же режиссеры не удостоили пьесу вниманием.

Премьера «Человека чести», первой «полнометражной» пьесы Моэма, написанной еще в 1898 году, состоялась лишь спустя пять лет в феврале 1903-го, на сцене скромного, несмотря на название, «Импириэл-тиэтр», и продержалась всего два вечера. Автор мог утешаться лишь тем, что на премьере продавался авторитетный театральный журнал «Форнайтли ревью», где был напечатан текст пьесы, да, пожалуй, игрой актеров. Хотя главную роль ветерана бурской войны, незадачливого и благородного Бэзила Кента исполняла восходящая звезда, в дальнейшем не только известный актер, но и режиссер Гарли Грэнвилл-Баркер, рецензии были кислыми. «Тема отвратительная, тон пьесы гнетущий» («Таймс»), «Пьеса принадлежит к новой драматической школе, которая получает удовольствие оттого, что портит настроение зрителям» («Грэфик»), «Нескончаемая

скандинавская ночь», — с прозрачным намеком на то, что автор — апологет Ибсена, писал «Атенеум». «...Пьеса разваливается на части, — писал, не пощадив приятеля, Макс Бирбом. — Мистер Моэм сильно озлоблен... Слабый и добропорядочный молодой человек почему-то вдруг становится у него чудовищем...» Примерно то же самое — вспомним — говорилось и про «Лизу из Ламбета». Жена Фредерика, самого успешного из братьев Моэмов, побывавшая на премьере, записала в тот вечер в дневнике: «Публика принимала спектакль с энтузиазмом, актеры играли хорошо, Уилли же сидел бледный от ужаса». Видимо, представлял — скажем от себя, — что напишут наутро в прессе. Для полноты картины заметим, что некоторого успеха своей дебютной пьесы Моэм все же добился. Он смягчил концовку — оставил героя жить, а не утопил в Темзе, как в первоначальном варианте, и спустя год премьеры переделанного «Человека чести» состоялась уже в коммерческом «Авеню-театр» и продержалась «целых» двадцать восемь вечеров.

Не «прозвучал» и уже упоминавшийся сборник рассказов «Ориентиры» (июнь 1899 года), куда, помимо известных нам «Дурного примера» и «Дейзи», вошли четыре новеллы, привезенные из Испании, в том числе и самая удачная, — «Предусмотрительный дон Себастиан», перепечатанная из «Космополиса», журнала, помешавшего рассказы и стихи не только по-английски, но и по-французски и по-испански. Что же до рассказов «Вера» и особенно «Суд Аминтаса», где описываются приключения в Кадисе английского школьного учителя, подозрительно смахивающего на автора, то они и вовсе не выдерживают никакой критики. «Плоско, тяжеловато, репутация Моэма пострадает, если этот сборник увидит свет», — писал Эдвард Гарнетт, большей частью настроенный к Моэму и его литературной продукции благожелательно. «Книга средняя; читается неплохо, но сулит читателю мало что», — куда резче высказался в июле 1899 года автор рецензии в «Букмене».

Не имели заметного успеха у читателей и несколько романов, сегодня уже подзабытых — «Герой» (1901), «Миссис Крэддок» (1902) — тот самый роман, про который Моэм написал в посвящении Пфайфферу «oeuvre de jeunesse», «Карусель» (1904), «Фартук епископа» (1906), «Исследователь» (1907). Моэм, никогда не обольщавшийся на свой счет, признался в свое время французскому критику Полю Доттену: «Я неважно написал пару первых своих книг, потому что из-за отсутствия опыта был не способен написать их лучше, но сегодня книги эти забыты, и я тоже вправе их забыть». О романе же 1908 года «Маг», где отдается дань вошедшим в моду в начале века мистике и оккультизму, Моэм отозвался еще резче: «Не верю

ни одному слову в этой книге... Посредственный роман». Похвальный пример литературной самокритики, в данном случае более чем оправданной.

Верно, романы слабые — многословные, довольно безвкусные, подражательные, с надуманными сюжетами и образами, за которыми несложно угадать автобиографические мотивы и факты, и даже прототипы. Например, герой «Мага», этот дьявол во плоти, мистик, гипнотизер, специалист по оккультным наукам Оливер Хаддо, — прозрачная карикатура на посредственного поэта, такого же мистика, гипнотизера и оккультиста, вождя Восточных тамплиеров Британии Алестера Кроули, который любил рассуждать о реинкарнации, называл себя «братом тени», занимался йогой, курил гашиш. В издевательской рецензии на «Мага» Кроули зло посмеялся над автором романа, которого вдобавок обвинил в плагиате — Моэм, дескать, использовал самые интимные факты его, Алестера Кроули, частной жизни. «Кто бы мог подумать! — ерничал Кроули. — Мой старый и достойный друг Уильям Сомерсет Моэм, оказывается, сочинил книжку!» Что ж, посмеяться, Кроули прав, в «Маге» есть над чем и, прежде всего... над самим Кроули, выведенным под именем Оливер Хаддо. Вызывали смех, а чаще уныние и другие, пусть и не столь ходульные романы раннего Моэма.

Романы и в самом деле успеха у читателя не имеют, раскупаются неважно, зато пресса у них — парадокс! — в целом неплохая. Про «Миссис Крэддок», эту английскую «Мадам Бовари», критик Сент-Джон Эддок пишет в «Букмене»: «...изящный и мастеровитый анализ женского темперамента... эта книга — свидетельство заметного прогресса в творчестве Моэма». Про «Карусель», роман, состоящий из трех отдельных историй с общими героями и долгое время пылившийся на полках книжных магазинов, в «Экэдеми» говорится, что в нем «нет ни одной скучной страницы, ни одной банальной строки», а про ее автора — что он владеет «широтой и глубиной анализа». Переделанный из пьесы сатирический роман «Фартук епископа», где герой, каноник Спрэтт, метит в епископы и в придачу планирует жениться на наследнице пивного магната, «Панч» называет «лучшим антиклерикальным романом после „Барчестерских башен“ Троллопа», а «Букмен» — «превосходной смесью циничного веселья и грубого фарса». Циничного веселья и грубого фарса в романе действительно хоть отбавляй, но вот так ли уж *превосходна* эта гремучая смесь? Про героя романа «Исследователь» Алека Маккензи, патриота и джингоиста, который едет в Африку, дабы добровольно взвалить на себя «бремя белого человека», «Атенеум» в январе 1908 года

пишет, что он «олицетворяет собой, быть может, лучший тип человека, созданного на наших островах». Сам Моэм, однако, к себе и на этот раз строг: «Мне эта книга очень не нравится. Будь на то моя воля, я бы весь тираж пустил под нож».

Тиражами же все эти не вполне удавшиеся романы издавались приличными. По существу, Моэм пишет и издает по роману в год тиражом в среднем две-три тысячи экземпляров — по тем временам — да и по нашим тоже — не так уж мало. А ведь были еще и многочисленные рассказы. Помимо вошедших в сборник «Ориентиры», они регулярно печатались в периодике. В «Скетче», «Дейли мейл», «Наблюдателе», в «Стрэнд мэгэзин», «Панче», в женских журналах.

«Не мытьем, так катаньем; достойное лучшего применения упорство, которое не слишком одаренный автор проявляет, задавшись целью любой ценой пробиться в литературу», — скажут одни. «Целеустремленность, последовательность, самодисциплина и профессиональное отношение к делу», — возразят другие. И то и другое. Именно в эти годы создается стиль работы, которому Моэм следовал потом всю жизнь. «Лизу из Ламбета» он по необходимости писал поздними вечерами и ночами — днем была больница. Теперь, свободный от дежурств, обходов и операций, Моэм, где бы он ни находился, работает исключительно в первой половине дня, с раннего утра до обеда, в общей сложности не больше четырех часов кряду, при этом выходные и праздничные дни и даже собственные дни рождения исключением не являются. Но в час дня ставится точка. «К часу дня, — как-то заметил он, — мои мозги уже мертвы».

Моэм преувеличивает: в эти, да и в последующие годы мозги после часа дня работают у него ничуть не хуже, чем ранним утром. Вторую половину дня они, правда, настроены не на творческий, а на *практический* лад: писатель — столь же последовательно и целеустремленно — трудится над своим имиджем, всеми силами стремится вписаться в столичную литературную жизнь. Внимательно читает корректуру, «под лупой» изучает контракты, особое внимание уделяет гонорарам, торгуется с издателями, при этом на изменения в тексте, которые предлагают внутренние рецензенты и издатели, как правило, соглашается легко, не упрямится. Когда осенью 1902 года Хатчинсон, у которого Моэм тогда печатался во второй раз, под нажимом внутренних рецензентов и собственных строгих моральных принципов потребовал убрать из романа «Миссис Крэддок» «неприличные» фразы, вроде на сегодняшний день совершенно невинной «ее плоть взывала к его плоти, и желание их было неукротимым», Моэм

подчинился безропотно.

Вписаться в литературную жизнь столицы, безусловно, хочет, но коллег-литераторов сторонится, слишком близко с ними не сходится — ни теперь, ни в дальнейшем. «В своей жизни я перезнакомился с очень многими — пожалуй, слишком многими — писателями, — признавался он уже в 1950-е годы Гэрсону Кэнину. — Брататься с писателями мне, писателю, разумным не кажется. Это приводит к своеобразному литературному инбридингу, и мы начинаем плодить идиотов. Куда полезнее водить дружбу с рыбаками, стюардами на пароходах, с „жучками“ на скачках или же с шлюхами».

Моэм обзаводится литературным агентом Уильямом Моррисом Коллзом, выпускником Кембриджа, толстым бородатым ирландцем с хриплым, заразительным смехом, который представляет правовое агентство «Авторский синдикат». Потом, уже в 1905 году, недовольный работой не слишком распорядительного Коллза, он, по рекомендации Арнолда Беннетта, меняет его на Джеймса Брэнда Пинкера — в прошлом журнального редактора и внутреннего рецензента. Антипод Коллза, низенький, розовощекий, похожий на Пиквика человек, Пинкер носился с авторами, точно наседка, нередко их авансировал, успешно защищал права таких авторитетных и капризных писателей, как Уэллс и Гиссинг, Генри Джеймс и Арнолд Беннетт, американец Стивен Крейн и поляк Джозеф Конрад.

Меняет Моэм и издателя. Уходит от прижимистого и неуравновешенного Анвина сначала к Хатчинсону, которого Генри Джеймс называл «самым продувным из всех издателей», потом, ненадолго, — к «Мэтьюэну», а затем — уже на всю жизнь — к более солидному, надежному и богатому Уильяму Хайнеманну. Хайнеманн стал его постоянным издателем, при этом сказать, что отношения у Хайнеманна с Моэмом всегда были безоблачными, нельзя; издатель и автор, даже если они и приятельствуют, редко бывают союзниками.

Занимается издательской деятельностью и сам. Вместе с другом Уайльда, прозаиком, поэтом, своим приятелем, а заодно и сексуальным партнером, Лоренсом Хаусменом издает ежегодный альманах «Рискованное предприятие: ежегодник искусства и литературы», где, вслед за знаменитой символистской «Желтой книгой», печатаются рассказы, стихи, эссе с иллюстрациями современных художников. Альманах и впрямь оказывается предприятием рискованным: появилось всего два выпуска — за 1903 и 1905 годы, однако Хаусмену и Моэму удалось привлечь таких завидных авторов, как Гилберт Кийт Честертон, Томас Гарди, Артур Саймонс и даже Джеймс

Джойс.

Пишет рецензии, а если быть совсем точным, — рецензию: за всю свою долгую жизнь Моэм отрецензировал всего-то три книги, в том числе, между прочим, «Счастливого Джима» Кингсли Эмиса, но на скандальный роман Эмиса Моэм откликнется лишь спустя более полувека, в 1956 году.

Большой поклонник Капри («ласковый, спокойный и приветливый остров», — сказано о Капри в рассказе «Мэйхью»), Моэм с энтузиазмом отзывается на путевые очерки о Южной Италии «У Ионического моря» уже известного нам Джорджа Гиссинга. В рецензии, напечатанной 11 августа 1901 года в столичной «Санди сан», Моэм превозносит автора «Преисподней» за «живую простоту» стиля, за «суровую правду» о нелегкой жизни итальянских крестьян. Сравнивает «нашу душеньку» (вспомним Гоголя) Италию с Англией, и не в пользу последней. Предаётся ностальгии: «...ночной вид светящегося Везувия и каприйские перголы вызывают у меня самые сильные чувства, когда я вспоминаю их в тусклом и унылом Лондоне... <...> Я взял эту книгу с собой на кентский берег и читал ее вечерами, прислушиваясь к глухому шуму серого моря... Как же непохожи великолепные цвета Калабрии на этот северный океан, безрадостный и холодный даже в середине июля!.. И если поначалу воспоминания о местах и людях, которых я люблю всем сердцем, меня угнетали, ведь еще год мне суждено пробыть вдали от них, — то в дальнейшем я утешал себя мыслью о том, что именно в воспоминаниях люди и места, где ты побывал, являют собой самое большое очарование». Этими же мыслями (преимущество южной Европы над северной, противопоставление непосредственности итальянцев и испанцев практической сметке, заземленности англичан, утешение воспоминаниями) полны и путевые очерки самого Моэма о Флоренции, Капри или Андалузии. «В отличие от непосредственных, небрежных (insouciant) испанцев, — пишет Моэм в „Земле Пресвятой Девы“, — англичане ходят тупой, тяжелой походкой, прихрамывая, как прихрамывают очень усталые». Лондон в путевых заметках Моэма, как и кентский берег, — сер, однообразен, это «свинцовый город, поливаемый ледяным, непрекращающимся дождем». Зато в Севилье автор «Земли Пресвятой Девы» «жадно хватает жизнь обеими руками, ведет рассеянный, радостно-безмятежный образ жизни».

В литературу Моэм пока еще толком не вошел, зато в литературной жизни нелюбимого Лондона участвует активно. Регулярно посещает наиболее известные литературные салоны — и людей посмотреть, и себя

показать. Себя, правда, показывать не очень получается. Громкая слава еще впереди, да и фрак оставляет желать лучшего: ста пятидесяти фунтов годового дохода на то, чтобы вести светскую жизнь, недостаточно. Тем не менее молодого, энергичного, увлекающегося, любопытного литератора стесненные средства не останавливают. Он обаятелен, общителен, остроумен, превосходно и неустанно танцует, одинаково хорошо играет в бридж, гольф и сквош, ухаживает за женщинами, заводит полезные знакомства.

И оставляет нам в «Записных книжках» весьма любопытные воспоминания о светской жизни последних лет викторианского и первых лет эдвардианского Лондона. Любопытные потому, что они в самом скором времени займут свое место в романах, пьесах и рассказах писателя. А еще потому, что, как убедится читатель, британские хлебосолы конца века не слишком отличались от наших фамусовых, троекуровых и ростовых. Да и нравы лондонского высшего света не претерпели существенных изменений со времен Джейн Остин.

«Как известного драматурга, человека модного, меня стали приглашать на обеды, порой до чрезвычайности пышные. Мужчины надевали по такому случаю фраки и белые галстуки, женщины — богатые платья с большими шлейфами. Длинные волосы они укладывали на макушке высокой копной, не брезгуя накладками. Когда все приглашенные собирались в гостиной, каждому джентльмену сообщали, кого из дам ему следует вести к столу, и при словах „кушать подано“ он предлагал ей руку. Впереди становился хозяин дома с вдовой самого высокого ранга, остальные гости спускались за ним в столовую торжественной процессией, которую замыкала хозяйка, опираясь на руку какого-нибудь герцога или посла. Вы мне не поверите, если я скажу, какое количество еды поглощалось на подобных трапезах. Начинали с супа или с бульона, на выбор, затем ели рыбу, а перед жарким подавали еще разные закуски. После жаркого гостей обносили шербетом — замороженным соком: считалось, что он помогает открыться второму дыханию. За шербетом следовала дичь (по сезону), а за ней — широкий выбор сладостей и фруктов. К супу полагался херес, к другим блюдам — всевозможные вина, включая шампанское.

Нам, привыкшим к скромным современным обедам, остается только восхищаться тем, сколько тогда ели. Вот уж действительно умели покушать. За это, само собой, приходилось расплачиваться. Люди делались невообразимо толстыми и в конце лондонского сезона уезжали в Германию

на воды, чтобы привести в порядок печень и сбросить вес. Я знал человека, который каждый год брал в Карлсбад два комплекта одежды: в одном отправлялся на лечение, в другом, сбросив около десяти килограммов, приезжал назад.

После такого обеда полагалось в течение недели нанести хозяйке визит вежливости. Если ее не оказывалось дома, о чем вы горячо молились, вы оставляли две визитные карточки, одну — ей, другую — ее мужу. В противном случае, в сюртуке и в крапчатых штанах, в лакированных башмаках с серым матерчатым верхом на пуговицах и с цилиндром в руках вам приходилось подниматься за горничной в гостиную. Положив цилиндр на пол, вы забавляли хозяйку минут десять каким-нибудь разговором и затем удалялись, вздыхая с огромным облегчением, когда дверь за вами захлопывалась.

Весь сезон то тут, то там давали балы, и при достаточной популярности вы могли получить два-три приглашения на один и тот же день. Балы эти совсем не походили на заурядные современные вечера. Мужчины приезжали во фраках, белых жилетах со стоячими воротничками и белых перчатках. У девушек были с собой карточки, куда вы записывали свое имя, если тот или иной танец оказывался незанятым. И их всегда сопровождали матери или тетки, которые мирно болтали друг с другом до четырех-пяти утра, не спуская глаз со своих подопечных, чтобы те, боже упаси, не скомпрометировали себя, танцуя слишком часто с одним кавалером. Да и танцы были тогда совсем другие. Мы танцевали польку и лансье, мы чинно вальсировали по зале, причем крутиться в другую сторону считалось верхом дурного вкуса»^[31].

По воскресеньям Моэм завтракает на Аппер-Беркли-стрит, в салоне матери известного театрального критика, карикатуриста и своего приятеля Макса Бирбома, где собираются знаменитости из мира литературы и театра. Он — непременный участник журфиксов миссис Кракенторп на Ратленд-Гейт, леди Сэвилл — на Хилл-стрит, куда заходят поэт Роберт Грейвз, драматург Огастес Джон, прозаик Арнолд Беннетт.

Глубокомысленный комплимент Моэму сделала однажды миссис Джордж Стивенс, вдова погибшего на войне с бурами при осаде Ледисмита военного корреспондента «Дейли мейл» в Южной Африке. Филантропка, хозяйка одного из самых модных литературных салонов в Мертон-Эбби, где некогда жили адмирал Нельсон и леди Гамильтон, она устраивала спиритические сеансы, поила гостей шампанским из кувшинов, а по вторникам давала обеды для нуждающихся писателей. «Пусть вы тихий и

молчаливый, — вспоминает в мемуарах „Вглядываясь в прошлое“ ее слова писатель, — но вы существенно отличаетесь от других молодых людей. В вас, вне всяких сомнений, есть какое-то поразительное, неумемное жизненное начало»^[32].

С миссис Джордж Стивенс не поспоришь: жизненное начало, жадный интерес к жизни, к общению, к людям у Моэма, при всей его сдержанности, даже стеснительности, до самой старости и впрямь поразительны, неистощимы. Взять хотя бы круг его светских знакомств в те годы. Шире и разнообразнее не придумаешь. Судите сами.

Уже упоминавшийся театральный критик влиятельного «Субботнего обозрения» Макс Бирбом, которого на этом посту со временем сменит Джордж Бернارد Шоу. К Моэму «несравненный Макс», как и его матушка, относился тепло, хотя поначалу и довольно снисходительно. «В театре легко делать деньги, — сказал он однажды Моэму, вовсе не желая его обидеть, — но не таким, как вы, мой мальчик!» Сказал — и просчитался. Моэм, впрочем, в долгу не остался. Спустя несколько десятилетий, уже после смерти Бирбома, выступая в 1956 году на открытии выставки «Писатель как художник», Моэм задастся риторическим вопросом, на который тут же сам и ответит: «Кто же все-таки Бирбом в первую очередь: писатель, который рисовал, или рисовальщик, который писал?.. Его книги несколько устарели, зато карикатуры — столь же актуальны и живы, как будто нарисованы были только вчера». Compliment для писателя и критика, согласитесь, довольно сомнительный.

Аудитор (или, в тогдашних терминах, — общественный бухгалтер), в недалеком будущем театральный менеджер, директор компании Уолтер Пейн, с которым, если читатель не забыл, Моэм познакомился еще в Гейдельберге. С Пейном Моэм делит в эти годы квартиру возле вокзала Виктория на Карлайл-Мэншнз, 27, и регулярно играет в бридж в престижном клубе «Бат».

Эссеист, остролов, сноб, консерватор, автор необычайно популярных в те годы многотиражных путеводителей по Европе («Прогулки по Риму», «Странствия по Испании») Огастес Хэйр, с которым Моэма роднит страсть к путешествиям. Моэм — постоянный и желанный гость в роскошном имении Хэйра «Холмхерст», где даже в эдвардианскую эпоху свято блюдут викторианские обычаи. До завтрака — чай в постель. В стенах особняка непререкаемый запрет на курение — курительных, где мужчины в смокингах после обеда обычно собираются выпить и поговорить о политике, не предполагался. К обеду одеваются так же тщательно, как и в Лондоне. Перед трапезой обязательная молитва. В приглашении

настоятельная просьба прихватить с собой лакея или дворецкого, которых обычно кормят в людской и рассаживают соответственно положению их хозяина или хозяйки — дворецкий юного и мало известного тогда Моэма, понятное дело, исправно занимал место в конце стола. Не случайно за Хэйром закрепилась в обществе кличка «последний викторианец».

Хозяйка салона на Портленд-Плейс и тоже «последняя викторианка» леди Сент-Хельер, с которой Моэма свел, понятное дело, Огастес Хэйр. Неизменно приносит успех «светская тактика» леди Сент-Хельер — смешивать гостей: министров и спортсменов, политиков и поэтов; бывал на Портленд-Плейс, между прочим, и поэт-лауреат Альфред Теннисон. Как и в Холмхерсте, в салоне леди Сент-Хельер вели себя строго по-викториански: мужчины по старинке носили фраки, дамы наряжались в бархат и атлас. После ужина представительницы слабого пола, согласно освященной веками традиции, поднимались в гостиную, а «мужчины без женщин» пили кофе с ликером и рассуждали о политике. Танцы устраивались в строгой очередности: сначала полька, потом кадриль, потом вальс. Это в салоне леди Сент-Хельер Моэм познакомился с «великим старцем английской литературы» Томасом Гарди. Моэм и Гарди обменялись «комплиментами»: Гарди, не разобрав по старости имени молодого писателя, переспросил, кто тот по профессии. Моэм в долгу не остался: Гарди он вывел — так во всяком случае решили критики — в романе «Пироги и пиво» в образе доброго и прекраснородушного, при этом не всегда чистого на руку классика Эдуарда Дрифилда.

Суфражистка Вайолет Хант, которая отличалась малопристойным поведением и буйным темпераментом, за что была прозвана «неистойвой Хант». «Неистовая Хант» писала пухлые, очень скучные книги и вела нескучную жизнь. Много раз выходила замуж, заводила бесконечные романы, флиртowała с Уэллсом, Генри Джеймсом (без особого успеха) и Арнолдом Беннеттом, который, по ее словам, «находил меня умной, современной и излишне сексуальной». Правоту Беннетта Вайолет Хант подтвердила на деле: еще в молодости заразилась от одного из своих многочисленных любовников сифилисом, что описала в скандальном романе «Рано или поздно», про который Моэм лояльно писал ей, что роман этот «открывает неизведанную область». Дурную болезнь никак не назовешь «неизведанной областью», однако она ничуть не помешала этой пышной красавице с огромными темными глазами, золотисто-каштановыми волосами и неизменно глубоким декольте дожить до восьмидесяти и на старости лет стать даже хозяйкой модного литературного салона «Саут Лодж» на Кэмден-Хилл-Роуд. Хант входила в

«Сообщество писателей-женщин» и издавала феминистский журнал «Свободная женщина», где с пафосом писала о «рабском женском рассудке», притом что рассудок ее собственный никак нельзя было назвать ни женским, ни «рабским». Моэм познакомился с ней в начале 1903 года, когда светской львице было уже за сорок, что не стало помехой их короткому роману, а затем долгой дружбе и интенсивной переписке; это ей, весьма далекой от святости, писатель посвятил «Землю Пресвятой Девы».

Еще одна плодовитая романистка, автор не менее трех десятков романов и детских книг Нетта Сайретт. Она не уступала Вайолет Хант в плодовитости, однако сильно отставала от «свободной женщины», открывавшей читателю «неизведанные области», в «науке страсти нежной» и, по единодушному мнению критиков и биографов Моэма, явилась прототипом благородной и добродетельной Норы Несбитт из «Бремени страстей человеческих».

Старший брат Генри Невилл («зануда Гарри»), сначала, как и двое других братьев Моэма, учившийся на юриста и затем променявший юриспруденцию на изящную словесность; одно время он даже выступал в роли критика — вел колонку с претенциозным заглавием «Благожелательный эгоист» в журнале «Черное и белое». Неудачник и графоман — чтобы в этом убедиться, достаточно привести названия его пьес: «Падение царицы. Драма из жизни Древнего Египта», «Бедный муж. Драма из жизни Франциска Ассизского», — он откровенно завидовал Уилли, хотя завидовать тогда было еще особенно нечему. На прием после успешной премьеры пьесы Моэма «Леди Фредерик» Гарри, считавший, что критика к нему несправедлива, что его не ценят, не дают хода, явился нетрезвый и снисходительно обронил: «Рад слышать, что мой братишка наконец-то добился успеха». 27 июля 1904 года Гарри, так и не дождавшись своего успеха, покончил с собой. «Самоубийство вследствие душевной болезни» — значилось в заключении судмедэксперта. Уилли Моэм был другого мнения: «Уверен, что убили его не столько неудачи, сколько странная жизнь, которую он вел».

Критик, острослов, блестящий собеседник, автор книг о Джоне Донне, Ибсене, Суинберне — одна из самых авторитетных фигур в мире литературы, близкий друг Генри Джеймса, Томаса Гарди, Киплинга Эдмунд Госс. Этого седовласого джентльмена с длинными усами, в золотых очках, которого Герберт Уэллс не без яда именовал «официальным представителем английской словесности» и про которого Моэм говорил, что Госс «получает удовольствие, наблюдая за абсурдностью человеческого существования», знал весь литературный Лондон. По воскресеньям

литературная братия английской столицы собиралась в доме Госсов на Ганновер-Террас, 17, где нередко устраивались представления марионеток и фокусников. Моэм не пропускал этих воскресных приемов. Госс был не только блестящим, но и нужным человеком: он вел литературную колонку во влиятельной «Санди таймс», а в 1904 году получил высокое назначение — ко всем прочим своим регалиям прибавил звание «Библиотекаря Палаты лордов». На роман Моэма «Лиза из Ламбета» обычно взыскательный критик Госс отозвался весьма положительной рецензией, после чего при каждой встрече (а встречались они с Моэмом лет тридцать, никак не меньше) Госс смотрел на Моэма снисходительно и говорил: «М-да, Моэм. „Лиза из Ламбета“. Какая, однако, хорошая книга. Как все-таки умно с вашей стороны, что вы ничего больше не написали».

Художник Джералд Келли, с которым Моэм познакомился в августе 1904 года в доме брата Чарлза в Медоне, под Парижем, куда он уехал после самоубийства «зануды Гарри». Келли и Моэм — антиподы, потому, должно быть, так близко и сошлись, причем на несколько десятилетий. Моэм сдержан, молчалив, стеснителен. Рыжеволосый ирландец Келли, как и полагается ирландцу, — разговорчив, вспыльчив, непоседлив, общителен: в Париже он увлекся импрессионистами, водил дружбу с Клодом Моне, Дега, Роденом, Майолем. «Лицо у него бледное до белизны, — писал о Моэме в 1954 году Келли, которому принадлежит не один десяток портретов писателя. — Глаза, словно маленькие кружочки бежевого бархата, — как у обезьянки». Келли посмеивается над стеснительным Моэмом, Моэм же на протяжении многих лет пишет младшему по возрасту другу наставительные письма, учит — без особого успеха — увлекающегося Келли «властвовать собой».

Живой классик английской литературы Арнолд Беннетт — тогда, впрочем, совсем еще не старый человек, только готовящийся — и весьма целеустремленно — стать мэтром. С Беннеттом Моэм сходится тоже в Париже, в артистическом кафе на рю Одесса «Белая кошка», в котором жившие в Париже англичане допоздна ведут споры об искусстве и литературе и которое в «Маге» из «Белой кошки» превратилось в «Черную собаку». Знакомит писателей вездесущий, всех знающий Келли. «Насколько я помню, — вспоминает Келли, — при первой встрече Моэм и Беннетт друг другу сильно не понравились. Беннетт имел неосторожность поправить Уилли, когда тот заговорил по-французски, и это притом что французским Моэм владел превосходно. Между ними сразу же возникло напряжение, и, помню, как все развеселились, когда увидели, как Уилли сердится...» По счастью, первая встреча была не показательной; писатели

быстро сошлись и подружились. В своих «Дневниках» наблюдательный Беннетт, который в это время пишет в Париже свой шедевр «Повесть о старых женщинах», набросал очень живой портрет автора «Пирогов и пива»: «Держится крайне спокойно, спокойно до апатичности. Выпил с огромным удовольствием две чашки чая и наотрез отказался от третьей... Очень быстро, с жадностью съел несколько печений... Выкурил две сигареты, быстрей, чем я — одну, а от третьей решительно отказался. Мне он понравился». Симпатия оказалась взаимной, хотя однажды Моэм отозвался о приятеле, еще большем, кстати, заике, чем он сам, не слишком уважительно. «Он был самоуверен и самонадеян до крайности и к тому же довольно вульгарен, — заметил однажды Моэм и поспешно, словно боясь, что сказал лишнее, добавил: — Говорю об этом без всякого осуждения, как мог бы сказать про кого-нибудь, что он толстый или маленького роста». Кстати, о вульгарности. Моэм вспоминает, что Беннетт сделал ему однажды «заманчивое» предложение. «У меня есть здесь дама, я хожу к ней дважды в неделю, — конфиденциально сообщил он Моэму. — Еще два раза в неделю она, кажется, встречается с кем-то другим. Но два дня у нее вроде бы свободны — могу познакомить, женщина она культурная, читает мадам де Севинье»...

И, как говорят англичане, *last but not least* (последняя по счету, но не по значимости) — голубоглазая ренуаровская красавица, актриса театра сэра Бирбома Три, одна из четырех дочерей известного драматурга Генри Артура Джонса, Этелуин Сильвия Артур Джонс. Познакомился Моэм со Сью (как ее называли близкие) Джонс на званом вечере уже упоминавшейся миссис Стивенс — этой лондонской Анны Павловны Шерер, знавшей в литературных и театральных кругах всех и каждого. Большим актерским талантом Сью не отличалась, однако переиграла почти все шекспировские женские роли (даром что второстепенные), сыграла, между прочим, и в комедии Моэма «Пенелопа». Была она и в самом деле необыкновенно хороша собой — Моэм сравнивает ее не только с пышнотельными, цветущими ренуаровскими красавицами, но и с рубенсовской Еленой Фоурман. «Она была женщиной зрелых и обильных прелестей, — вспоминает он в „Записных книжках“, — румяная и белокурая, с глазами синими, словно море в летний зной, с округлыми линиями тела и пышной грудью. Склонная к полноте, она принадлежала к тому типу женщин, который увековечил Рубенс в облике восхитительной Елены Фоурман»^[33]. Но главным ее очарованием была улыбка — «такой чудесной улыбки, — писал Моэм, — я никогда еще не видел». От нее исходили такое обаяние и жизнелюбие, что Моэм, изменив — и не в

последний раз — своим нестандартным сексуальным пристрастиям, завел с ней роман. Продолжался роман с перерывами целых восемь лет, а потом писатель даже сделал ей предложение, однако получил отказ, о чем еще будет рассказано подробнее. После чего спустя годы, словно в награду за любовь, вывел ее в одном из самых своих трогательных женских образов — простодушной и любвеобильной Розы Дрифилд, жены того самого Эдуарда Дрифилда из «Пирогов и пива», которого Моэм, как принято считать, писал с Томаса Гарди.

Интерес к жизни, естественно, проявлялся и в путешествиях. Такой, как у Моэма, тяги к странствиям не было, пожалуй, ни у одного крупного английского писателя XX века, за исключением разве что Грэма Грина и Лоренса Даррелла. «Генеральный» план Моэма — не ездить туристом, а жить в стране по несколько месяцев и всякий раз учить язык посещаемой страны, что он, как мы уже убедились, неизменно и делает: живет в Испании и учит испанский; в Риме, на Капри и во Флоренции — итальянский; в Греции — греческий. Не проходит и нескольких месяцев, чтобы Моэм куда-нибудь не отправился. В 1897 году он, уже во второй раз, приезжает на Капри, где пишет «Сотворение святого». С декабря 1897 года по лето 1898-го живет в Испании. В 1904-м гостит у брата Чарлза в Медоне. В феврале 1905-го, прихватив своего тогдашнего друга, оксфордского студента Гарри Филипса, «загримированного» под литературного секретаря, едет больше чем на полгода в Париж. Живет на Монпарнасе, почти ежедневно ходит в Лувр посмотреть своего любимого Веласкеса, ездит в Версаль, а по вечерам ходит в театр, после же спектакля допоздна сидит с бокалом гренадина либо в «Кафе де ля Пэ», либо в той самой «Белой кошке», где состоялась его первая встреча с Беннеттом.

В конце года возвращается в Лондон и уже в начале января 1906 года едет через всю Европу в Грецию и Египет. По дороге, чтобы «оправдать поездку», пишет путевые очерки для популярных газет и журналов «Вестминстер», «Пэлл-Мэлл», «Кроникл», «Уорлд», «Иллюстрейтед Лондон ньюс». Маршрут: Женева — Венеция — Порт-Саид — Александрия — Каир. Живет в Египте, главным образом в Каире, три месяца, усердно учит арабский язык и пишет Вайолет Хант, что синее небо и свежий воздух сделали из него восемнадцатилетнего.

В Лондон из Египта Моэм возвращается в мае 1906 года, а в сентябре 1907-го отбывает на Сицилию, где собирается пробыть несколько месяцев, но почему-то уже неделю спустя через Неаполь, Марсель и Париж срочно, буквально без гроша в кармане, возвращается в Лондон. На дорогу уходит

всего три дня — по тем временам скорость спринтерская. Ушло бы больше, если бы на пароходе, плывущем в Марсель, азартный Моэм не поставил последние имевшиеся у него в наличии полкроны в тотализатор. Поставил, выиграл и добрался до Лондона в срок.

Глава 8 «Я НИКОГДА НЕ БЫЛ ОДЕРЖИМ ТЕАТРОМ»

Причина поспешного возвращения более чем уважительная. Когда Моэм безмятежно любовался в Мессине античными руинами, его тогдашний правовой агент, в прошлом государственный служащий, а затем театральный критик Голдинг Брайт, прислал ему телеграмму, которую писатель ждал не один год. Директор театра «Корт», что на Слоун-сквер, Отто Стюарт ищет, говорилось в телеграмме, чем бы заменить провалившуюся пьесу, и Брайт предложил ему «Леди Фредерик», комедию, написанную Моэмом много лет назад, побывавшую уже в семнадцати (!) театрах, но до сих пор так и не востребованную. «Ваша телеграмма меня необычайно воодушевила, — пишет Брайту в ответ Моэм, — и радужная перспектива постановки моей пьесы вселяет в меня оптимизм: мир, стало быть, не настолько выхолощен и глуп... Через несколько дней буду в Лондоне: хочу быть на месте, прежде чем Отто Великий кое-как распределит роли, ведь все директора театров — прирожденные идиоты».

Предложение Брайта Стюарт, отнюдь не «прирожденный идиот», принял и премьеру назначил на 26 октября 1907 года. Моэм успел — ворвался в театр буквально за несколько часов до начала первой репетиции, — чувствуя себя, по его собственным словам, жюльверновским Филеасом Фоггом после путешествия вокруг света за восемьдесят дней. Очень волновался: шутка ли, его пьесу ставит ведущий театр Уэст-Энда, да еще с Этель Ирвинг, одной из лучших лондонских актрис, в главной роли. Потом он напишет, что уже отчаялся стать кассовым драматургом, о чем прямо и сказал однажды Харли Гренвилл-Баркеру. Что, провалилась пьеса, — он вернулся бы в медицину, нанялся бы на корабль, как Лэмюэль Гулливер, судовым врачом. А тогда, на репетициях, напряженно наблюдал, как Этель Ирвинг играет скандальную и в то же время самую эффектную в пьесе сцену макияжа, когда немолодая, «пожившая» леди Фредерик, простоволосая, сидя в халате перед туалетным столиком («хард порно» по тем временам), пудрит лицо и красит губы в присутствии лорда Мирстона, своего юного поклонника, которого хочет отвадить. Сцену, из-за которой, собственно, никто и не решался ставить «Леди Фредерик». Еще больше, понятно, нервничал Моэм на премьере. «Уилли был очень бледен, весь спектакль просидел в глубине ложи, не проронив ни слова, — записала в дневнике свои впечатления почти теми же словами, что и на премьере

„Человека чести“, Элен Мэри Моэм, жена брата Фредерика. — Пьеса очень остроумная и интересная. Думаю, она будет иметь успех».

Элен Мэри Моэм не ошиблась, пьеса имела успех, причем шумный и длительный, более того, ознаменовала собой начало блестящей театральной карьеры Сомерсета Моэма, продолжавшейся более четверти века, с 1907 по 1933 год. Не верившие в сценическую удачу Моэма-драматурга авторитетные театралы, такие, как Макс Бирбом и Гренвилл-Баркер, были посрамлены. Отто Стюарт со сдержанным оптимизмом рассчитывал, что «Леди Фредерик» продержится хотя бы месяц, от силы полтора, комедия же шла на сцене «Корт» больше полугода при полном зале. И не только на сцене «Корт». В столичных театрах Уэст-Энда «Корт», «Гаррик», «Крайтерион» и «Хеймаркет» прошло в общей сложности 422 (!) спектакля «Леди Фредерик». Прибавьте к этим четыремстам с лишним лондонским спектаклям еще почти сто спектаклей, сыгранных в Нью-Йорке с другой, не менее известной Этель в главной роли, — американской звездой театра и кино Этель Бэрримор. Рецензенты, что лондонские, что нью-йоркские, были единодушны: «пьянящее зрелище», «колоссальное, ни с чем не сравнимое удовольствие», «блестящая... ужасно забавная комедия нравов». Близкий друг Уайльда, а в дальнейшем и Моэма, театральный обозреватель журнала «Экэдеми» Рэгги Тернер назвал «Леди Фредерик» «отличной работой». «Автор знал, что он делает, — писал не склонный к комплиентам Тернер, — и в результате добился абсолютно всего, чего хотел».

Дебют новоявленного драматурга превзошел все ожидания. Правда, как мы вскоре увидим, — не его собственные.

Когда в разных театрах Лондона шли одновременно четыре пьесы Моэма, что являлось абсолютным рекордом в театральной истории Англии, «Панч» напечатал карикатуру Бернарда Партриджа: театральная тумба обклеена объявлениями о многочисленных спектаклях по пьесам Сомерсета Моэма. А рядом с тумбой стоит в глубокой и мрачной, завистливой задумчивости, склонив голову, скосив глаза и ревниво прикусив большой палец, поверженный и униженный Уильям Шекспир. И Барду было чему завидовать...

Вскоре после «Леди Фредерик» ставятся еще три пьесы Моэма — все три написаны давно и до сих пор ни одному театру не пришлось по вкусу. Спустя полгода, в марте 1908-го, с не меньшим успехом, чем «Леди Фредерик», в столичном «Водевиле» проходит премьера написанного еще в 1905 году фарса «Джек Стро», в главной роли подвизается знаменитый комический актер (и, как и Моэм, азартный картежник) Чарлз Хотри, про

которого Моэм писал, что «со сцены он говорит в точности так же, как говорят в гостиных: Хотри на подмостках живет, а не играет». «Джек Стро» выдержал 321 спектакль. Месяцем позже столь же громкий успех выпадает на долю комедии «Миссис Дот», написанной в 1904 году. «Миссис Дот» ставится в «Комеди тиэтр» и выдерживает без малого 300 спектаклей — не в последнюю очередь благодаря занятым в ней популярным Фреду Керри и Мэри Темпест. Наконец, в июне того же года в «Лирическом театре» ставится многострадальный «Исследователь». Пьеса, написанная десять лет назад, неоднократно, как мы уже писали, «перелицовывалась»: сначала из пьесы — в роман, потом из романа — обратно в пьесу. Успех «Исследователя» — тем более в сравнении с тремя другими пьесами Моэма — более чем скромнен, спектаклей набирается всего 48, но ведь это уже *четвертая* играющаяся в столице пьеса Моэма за восемь месяцев. Этот рекорд — четыре пьесы, идущие одновременно только в одном Уэст-Энде, — не побит и по сей день, повторить же его удалось лишь в середине 1920-х годов популярнейшему салонному драматургу и поэту, близкому приятелю Моэма Ноэлу Коурду.

В 1909 году к этим четырем пьесам прибавляются («чтобы закрепить успех у публики», — писал Моэм) еще две — «Пенелопа»: премьера состоялась 9 января, сыграно 246 спектаклей; и «Смит»: премьера — 30 сентября в «Комеди тиэтр», 168 спектаклей, в главной мужской роли Роберт Лорен, в роли служанки Смит несравненная Мари Лор. В 1910 году на столичной сцене ставятся еще две пьесы Моэма — «Десятый человек» и «Грейс». А еще через пару лет, по совету своего друга, «моего доброго ангела», театрального антрепренера, знаменитого импресарио, прагматика из прагматиков Чарлза Фромена, который любил повторять: «Не оживляйте прошлое, атакуйте будущее», а своей любимой книгой называл путеводитель по парижским ресторанам, драматург пишет комедию «Земля обетованная», современную версию «Укрощения строптивой» на канадском (!) материале. Обращается Моэм и к классическому наследию — переводит «Мещанина во дворянстве» Мольера, которого в 1913 году в «Театре его величества» ставит под названием «Безукоризненный джентльмен» сэр Бирбом Три — наконец-то заметил Моэма и он. «Приметили» Моэма и за пределами Англии: его пьесы, благодаря стараниям того же Фромена, с успехом идут в Нью-Йорке, «Миссис Дот» ставят в Берлине, Копенгагене, Петербурге, спустя десять лет, в 1919 году, в Голливуде снят фильм по «Леди Фредерик» все с той же Этель Берримор. Всего же за четверть века Моэм написал двадцать три пьесы — по пьесе в год; Шекспир и тут мог бы ему позавидовать. А также Мольер, Гольдони и

Скриб...

Малоизвестный прозаик проснулся 26 октября 1907 года знаменитым драматургом. Главный вопрос лондонского театрального сезона 1908 года: «Вы видели квартет Сомерсета Моэма?» Его интервьюируют и фотографируют. Его общества ищут всегда и самых блестящих литературных и театральных салонов, он зван — куда чаще и охотнее, чем раньше, — на светские пикники и загородные *parties*, танцует фокстрот с первыми красавицами Лондона, в его друзьях «вся королевская рать»: Госс, Бирбом, Джеймс, Конрад, Уэллс, Киплинг. «Поймал себя на откровенно завистливом чувстве, когда вчера и сегодня читал про очередную успешную постановку пьесы Сомерсета Моэма», — записывает в своем дневнике Арнолд Беннетт.

Моэм регулярно играет в гольф с первым лордом Адмиралтейства Уинстоном Черчиллем. Их многолетняя дружба началась с того, что Моэм однажды в присутствии Черчилля очень удачно отбрил одного зарвавшегося молодого офицера. «На следующее утро, — вспоминал впоследствии Моэм, — когда я сидел в курительной, листая воскресные газеты, вошел Уинстон. Он подошел прямо ко мне и сказал: „Я хочу заключить с вами соглашение“. — „Со мной?“ — „Если вы пообещаете никогда не выставлять меня на посмешище, я не стану выставлять на посмешище вас“». Подобный «паритет» с таким блестяще остроумным человеком, как Уинстон Черчилль, согласитесь, дорогого стоит.

Моэм так популярен, что даже попадает в художественную литературу: его приятельница, светская львица и — по совместительству — романистка Ада Леверсон, — это с нее Уайльд писал своего «Сфинкса», — в романе «Предел» вывела Моэма в образе популярного драматурга Гилберта Хирфорда Вогена. «Он сочинил одиннадцать пьес, пошедших одновременно на всех мыслимых языках, от американского до эскимосского и даже турецкого... — говорится про Вогена в романе. — Он был скорее сдержан и таинствен, чем криклив и удал, отчего женщинам нравился тем больше». А вот портрет Моэма-Вогена, набросанный романисткой: «Бледный, смуглый, невысокий, довольно красивый молодой человек. Ведет себя, в общем, как и все остальные молодые люди, разве что чуть сдержаннее... На первый взгляд особенно умным его назвать, пожалуй, трудно... В непроницаемом взгляде его живых темных глаз многие женщины читают восхищение, тогда как в нем не более чем любопытство».

Примерно таким же увидел Моэма в эти же годы взявший у писателя интервью репортер нью-йоркской «Драматик миррор» Генри Стирнз: «...

похож на юного преподавателя французского языка в большом университете: невысокий, чистое, гладкое лицо, пристальный взгляд темных глаз. Говорит медленно, вдумчиво. Держится с изысканностью эстета».

«Изысканным эстетом», эдаким баловнем судьбы смотрится Моэм и на портрете своего друга Джералда Келли. На портрете с двусмысленной подписью «Насмешник» («Jester») Келли изобразил Моэма, зашедшего к нему после завтрака продемонстрировать свою обновку — только что купленный цилиндр, истинным лондонским денди: фрак, белые перчатки, цилиндр, трость — чем не шафер на великосветской свадьбе.

В августе 1907 года Моэма принимают в престижный театральный клуб, носящий имя легендарного английского актера XVIII века Дэвида Гаррика. В октябре, вместе с еще семьюдесятью видными «деятелями культуры», он подписывает открытое письмо в «Таймс» против театральной цензуры, насаждаемой Эдвардом Гарнеттом и Харли Гренвилл-Баркером, а в марте 1909-го, вместе с Джеймсом Барри, Артуром Пинеро и другими известными авторами, пишущими для театра, основывает «Клуб драматургов» («Dramatists' Club»).

Итак, Моэм в одночасье взошел — лучше будет сказать, вознесся — на литературно-театральный олимп. При этом драматург не важничает, не задается, ведет себя скромно, покладисто. Мы уже рассказывали о том, что Моэм спокойно относился к редакторской правке, не считал, что его текст «безгрешен» и не нуждается в исправлениях. «Самую блестящую сцену, самую остроумную реплику, самую глубокомысленную сентенцию драматург должен изъять, коль скоро она не обязательна для развития пьесы»^[34], — писал Моэм в 1925 году в книге «Подводя итоги». Вот и на репетиции он приходил с остро очиненным синим карандашом и исправно вычеркивал все, что плохо или неестественно звучало со сцены. Вычеркивал целые реплики и, — вспоминала переигравшая многие женские роли в пьесах Моэма американская актриса Глэдис Купер, — шутил: «Я уже вычеркнул столько реплик, что надо будет как-нибудь собрать их вместе в отдельную пьесу».

Не только не задавался, но, по его собственным словам, старался «затеряться среди публики», нервничал и на репетициях, и на спектаклях. «Я старался воображать, — писал Моэм в книге „Подводя итоги“, — что присутствую на премьере не своей пьесы, а чужой, но все равно переживание было не из приятных. Меня не утешал ни смех, которым зрители встречали удачную шутку, ни аплодисменты после понравившегося

публике действия. Дело в том, что даже в самые легкие свои пьесы я вкладывал так много себя, что не мог отделаться от смущения, когда они становились достоянием сотен людей. Слова были придуманы мною и потому были для меня чем-то сугубо интимным, чем мне претило делиться с первыми встречными»^[35].

Не задавался и к тому же, став признанным мэтром, постоянно «милость к падшим призывал». Когда, обидевшись на режиссера за несправедливые и обидные упреки после премьерного спектакля, юная актриса Маргарет Худ отказалась ехать на банкет, который по традиции устраивал актерам Моэм, драматург послал за девушкой своего шофера, потом усадил ее за столом рядом с собой, был с ней ласков, предупредителен, держался как с примой, директору же театра пригрозил, что, если тот будет и впредь обижать актеров, он отберет у театра постановочные права. Примерно такая же история произошла и с другой начинающей актрисой. В первом акте молодая, «необстрелянная» Кэтрин Нэбит забыла слова, сбилась. Когда же в антракте явилась, заплаканная, к себе в уборную, в дверях она столкнулась с Моэмом, который, ласково улыбаясь, заверил ее, что играла она отлично. «После незначительного сбоя в начале первого акта у вас открылось второе дыхание, — подбадривал он актрису, — я, право же, нахожусь под большим впечатлением». Столь же толерантно повел себя Моэм и с «обстрелянной» Этель Берримор, которая, по существу, провалила премьеру «Верной жены»: забывала слова, неудачно импровизировала, произносила реплики из других пьес, в первом акте говорила слова из третьего... Моэм вспоминает, что готов был убить «звезду», однако растаял, стоило ей «покаяться в содеянном». «О дорогой! — воскликнула знаменитая актриса. — Я загубила вашу превосходную пьесу, но, уверяю вас, идти она будет не меньше года». Интуиция Этель Берримор не подвела: «Верная жена» продержалась полтора года при полных залах.

Вместе с тем никакой особой радости от головокружительного успеха Моэм не испытывает. «Я никогда не был одержим театром»^[36] — так начинается одна из глав в книге «Подводя итоги». «Успех, мне кажется, не имел на меня никакого особенного воздействия, — записывает Моэм в 1908 году в „Записных книжках“. — Во-первых, я всегда его ожидал, и когда он пришел, я воспринял его как нечто вполне естественное. Существенной для меня была, пожалуй, только свобода от финансовых неурядиц. Я всегда ненавидел бедность... Ненавидел откладывать медяки и считать их на ладони»^[37].

Скажем здесь, справедливости ради, что «считать на ладони медяки» Моэму все же не приходилось: доставшиеся ему от отца 150 фунтов годового дохода были суммой, конечно, далеко не заоблачной, но вполне сносной. На нее писатель и за границу каждый год, часто надолго, ездил, и одевался у лондонских и парижских портных, и квартиры, пусть и не дорогие, в Лондоне и Париже снимал.

Кстати, о квартирах. По адресам снимаемых Моэмом в Лондоне квартир легко прослеживается неуклонно ползущая вверх кривая его литературных и театральных успехов. Из скромной квартирki неподалеку от вокзала Виктория, которую он делил с Уолтером Пейном, Моэм со временем перебирается в более престижный Вестминстер, а в дальнейшем — в еще более престижный Пэлл-Мэлл. Став же популярным драматургом, Моэм снимает квартиры в самых «лакомых» кварталах столицы — сначала на Маунт-стрит возле Беркли-сквер, а потом, в 1911 году, покупает себе дом в Мэйфэре, на Честерфилд-стрит, где живут «самые-самые»...

И все-таки Моэм, как нам представляется, не кокетничает и не кривит душой, когда пишет, что успех не возымел на него «никакого особого воздействия». Он и правда был психологически к нему готов. Неуверенным в себе он казался лишь со стороны, о чем пишут многие его современники. Деньги же означали для него прежде всего свободу. Свободу жить так, как ему заблагорассудится. Не испытывая недостатка в средствах, Моэм в эти годы становится постоянным посетителем аукционов «Сотби» и «Кристи»; тонкий ценитель изобразительного искусства, он именно тогда начинает коллекционировать картины и антиквариат и занимается этим потом всю жизнь.

«Деньги, — остроумно заметил как-то писатель, — подобны шестому чувству, без которого невозможно в полной мере владеть остальными пятью».

Деньги многое решали в жизни Моэма, который бывал и широк, как его отец, и прижимист, как его дядя. Но еще больше — в жизни героев его комедий. Деньги — наряду с любовной интригой — главный двигатель салонных пьес Моэма, в основе которых лежит, как правило, не действие, а разговор, обмен остроумными репликами; деньги — их композиционный и идейный центр. Зритель, пришедший на «Леди Фредерик», задается материальными вопросами в первую очередь. Сможет ли героиня, эта обаятельная аристократка в возрасте, выйдя замуж за юного лорда Мирстона, расплатиться с долгами? Заплатит ли ее брат 900 фунтов ростовщику? Примет ли леди Фредерик деньги от еврея-ростовщика Арона Левицки, который хочет на ней жениться и тем самым завоевать место в

обществе? Да и происходит действие комедии не где-нибудь, а в отеле «Сплендид» в Монте-Карло — прозрачный намек зрителю, что жизнь — это не более чем азартная игра. Стремится разбогатеть и официант из отеля «Вавилон» Джек Стро, герой одноименного фарса: Стро, которого презабавно сыграл Чарлз Хотри, выдает себя за эрцгерцога Себастьяна Померанского, чтобы взять в жены девушку из семьи нуворишей. В «Пенелопе» героиня собственноручно отдает своего мужа в руки любовницы, чтобы спасти выгодный брак. В «Миссис Дот» вдова пивного магната стремится с помощью подкупа разлучить любимого мужчину с его невестой. Герой «Десятого человека», беспринципный коммерсант, шантажист и мошенник, убежден, что мошенники и дураки — девять человек из десяти, — иначе как бы сам он сумел с такой легкостью делать деньги?

«Денежные» комедии Моэма смотрятся, играют и читаются легко и непринужденно по той причине, что они динамичны («Не отклоняйтесь от главного и сокращайте где только возможно», — учил Моэм начинающих драматургов), неглубоки, непритязательны, а порой и легкомысленны. «Драматург вовсе не должен быть рабом высоких материй и глубокомысленных тем, — напишет Моэм в 1931 году в предисловии к сборнику своих избранных пьес. — Он вправе писать комедии. Требование жизнеподобия нанесло этому жанру немалый вред...»^[38]

А еще смотрятся пьесы Моэма так хорошо потому, что персонажи его комедий в исполнении превосходных актеров владеют искусством изящного афоризма, отличаются искрометным юмором, то и дело вступают в остроумные перепалки. И в этом смысле пьесы Моэма восходят к старой, почтенной английской традиции, заложенной еще драматургами эпохи Реставрации. Они ни в чем не уступают не только салонной комедии прочно забытых в наше время старших современников Моэма Пинеро и Джонса, но и такой признанной классике, как «Идеальный муж» или «Как важно быть серьезным» Оскара Уайльда — непревзойденного мастера насыщенного парадоксами и афоризмами диалога. Судите сами. «Во время званого обеда следует есть вдумчиво, но не слишком много, говорить же — много, но не слишком вдумчиво»^[39]. Или: «Когда сорокалетняя женщина говорит мужчине, что она годится ему в матери, он должен немедленно обратиться в бегство». Или: «Вы вышли замуж по любви, леди Селленджер? — Да, но не хочу, чтобы дочь совершала ту же ошибку». Или: «Когда я был молод, кому-то пришло в голову, что я циник, и с тех пор, стоит мне сказать, что сегодня отличная погода, как меня обвиняют в

чудовищном цинизме». Или: «Я рада, что не верю в Бога. Когда я вижу, какие несчастья творятся на свете, мне начинает казаться, что нет веры более низкой». (И это написал человек, которого в детстве несколько лет воспитывал приходской священник!) Или: «О, если б добродетельные люди были хоть чуточку менее самодовольны!» Или: «Философ напоминает альпиниста. С трудом вскарабкавшись на гору, чтобы увидеть восход солнца, он обнаруживает на вершине сплошной туман и спускается обратно. Но только очень честный человек не скажет вам, что наверху ему открылось ошеломительное зрелище». Или: «Давно известно, что даже крайне безнравственный, на взгляд рядового человека, образ действий утрачивает ореол аморальности, если следовать ему неукоснительно». Или: «Всегда следует культивировать собственные предрассудки». И это не Уайльд — это Моэм.

Легкие, хорошо сделанные (*well-made*) пьесы нравятся зрителям и, соответственно, — директорам театров, антрепренерам и импресарио. Нравятся за снисходительный цинизм, за юмор, за изящное, без тени морализаторства описание сумасбродств светского общества. Но не нравятся автору, хотя даются ему легко — написание «полнометражной» пьесы у Моэма редко уходило больше месяца, по одному акту в неделю, и еще месяц на редактуру; работал Моэм, как всегда, регулярно, четко, продуманно и крайне методично. Писатель вспоминает, что, по существу, каждый день придумывал сюжет для новой пьесы, а иногда два или три сюжета. В пору увлечения театром Моэм подписывался на вырезки из газет с рецензиями на свои спектакли — «радовался, когда меня гладили по головке, и огорчался, когда нещадно секли», и отказался от подписки, лишь когда начал путешествовать и газеты стали доходить лишь через три-четыре месяца, теряя всякий смысл, ведь рецензии представляют интерес только на следующий день после спектакля...

Верно, даются пьесы ему легко и легко приносят много денег; главного же — творческого удовлетворения — не приносят. Вот что говорилось в статье «Трагедия театрального успеха мистера Моэма», напечатанной в журнале «Современная литература»: «Когда мистер Моэм писал серьезные пьесы, его никто не воспринимал всерьез. Теперь же, когда он пишет легкомысленный вздор, ему рукоплещет весь театральный Лондон».

Писателя, как видно, эти слова задели, хотя не вполне понятно, когда это он «писал серьезные пьесы», и вскоре после этой публикации Моэм заявил, что пьесы салонные, развлекательные ему надоели и он хочет писать пьесы проблемные. Как Шоу. «Своими пьесами он всем нам

подложил свинью», — сказал однажды Моэм про автора «Дома, где разбиваются сердца». Он словно забывает собственные слова о том, что главная задача драматурга — забавлять зрителя, что идеи — «не дело драматургии». «Осточертел мне весь этот театральный бизнес... — с нескрываемым раздражением пишет Моэм в письме Аде Леверсон. — С какой стати Фромен хочет от меня легких пьес? Он что, думает, я буду повторяться? Если он полагает, что я нужен только для того, чтобы своими шуточками отвлекать зрителя от серьезных пьес Гренвилл-Баркера и Голсуорси, пусть пишет пьесы сам!»

Моэм искренне возмущен, ему начинает казаться, что легкие пьесы у него получаются, а вот серьезные — нет; впрочем, их и серьезными-то можно назвать с большой натяжкой. Да и эдвардианскому зрителю хочется спектакля развлекательного, а не проблемного. Проблемные пьесы Моэма, вроде «Десятого человека», «Смита» или «Грейс», играют несколько десятков спектаклей, после чего бесследно сходят со сцены, словно доказывая сказанное Моэмом в книге «Подводя итоги»: «Тот, кто пишет пьесы идей, сам себе роет яму»^[40].

Сходят со сцены во многом потому, что высокая мораль в эдвардианскую эпоху — не то что в викторианскую — не в чести. А также потому, что мораль эта, прямо скажем, примитивна, надуманна, выпирает наружу. Вдобавок сюжет их затаскан, диалог банален, характеры большей частью довольно примитивны, в них отсутствует то, что принято называть театральностью, сценичностью.

В комедии «Смит» четверем светским дамам, играющим с утра до вечера в бридж, напрочь позабыв о семейных заботах и обязанностях (ребенок одной из них, миссис Розенберг, тяжело заболевает и умирает, пока мать доигрывает очередной роббер), довольно ходульно противопоставляется трудолюбивая, разумная, благопристойная служанка Смит. Не случайно именно ее и берет в жены только что вернувшийся из Родезии и порывающий со своим циничным окружением герой пьесы с говорящей фамилией Фримен (то бишь — свободный (*free*), не скованный условностями человек).

Столь же очевиден моральный «посыл» и в «Грейс». Сквайр должен уволить своего егеря из-за того, что с ним согрешила его дочь Пегги Ганн, которая в финале пьесы, чтобы спасти отца, кончает жизнь самоубийством. В это же самое время жена сквайра Грейс безнаказанно изменяет мужу. Итог пьесы подводит циничный любовник главной героини: «Она (Пегги) поступила не в пример хуже тебя, — успокаивает он Грейс. — Дала себя вывести на чистую воду».

Ничего удивительного, что обе пьесы, и «Смит», и тем более «Грейс», зрители встретили с прохладцей, спектакли шли недолго. Не спасли даже превосходные актерские работы. Мари Лор отменно сыграла роль служанки Смит, чье имя отсутствует конечно же не случайно: она, как и Фримен, — образ собирательный. В Грейс, чье поведение при всем желании приличным не назовешь (одно из значений слова *grace* — приличие, такт), мастерски перевоплотилась Айрин Вэнбру.

И вместе с тем и критики, и сам Моэм совершают ошибку, разделяя его комедии на проблемные и развлекательные, на «серьезные пьесы и легкомысленный вздор», если воспользоваться формулой автора статьи «Трагедия театрального успеха мистера Моэма». Лучшие пьесы драматурга (а они — впереди) докажут, что и легкая салонная комедия, которая так удается Моэму, способна «ставить проблему». Да и вообще говорить о беспроблемности, легковесности комедий не вполне корректно, как сказали бы математики. Самая смешная, легкомысленная комедия, если ее создали такие мастера, как Шекспир, Мольер, Бен Джонсон, Шеридан или Гоголь, если в ней играют такие мастера, как Мольер, Чаплин, Щепкин или Андрей Миронов, — легковесной в принципе быть не может. Что-то серьезное, значимое за смехом, даже самым беззаботным, незлобивым, за безудержным весельем на подмостках и в зрительном зале всегда отыщется: «...сказка — вздор, да в ней намек...» Говорил же Александр Дюма, что самое главное в пьесе — это то, что происходит за сценой, а не на ней. Добавим от себя: самое главное в *хорошей* пьесе.

В такой, например, как комедия Моэма «Круг», которая уже без малого век, с 1921 года, с неизменным успехом играется в английских и американских — и не только — театрах. О ее успехе и мастерстве автора косвенно свидетельствует и вердикт «буржуазная безыдейность», с которым «Круг» был снят с постановки в Московском театре драмы в достопамятном 1946 году.

На первый взгляд это и в самом деле веселая, эксцентрическая, «безыдейная» комедия, пьеса, что называется, «приятная во всех отношениях». Тут и ласкающая взгляд обстановка: особняк, про который сказано, что «это не дом, а достопримечательность»^[41], величественная гостиная, георгианская мебель, которую больше собственной жены лелеет 35-летний хозяин дома, подающий надежды политик и коллекционер антиквариата Арнолд Чампьюн-Чини. Тут что ни реплика, то афоризм, каламбур, острота, игра слов; действующие лица, «привлекательные, хорошо одетые люди», как и полагается в салонной комедии из жизни высших кругов, шутят и подначивают друг друга — и за светской беседой,

и за ужином, и за теннисом, и за бриджем. «Обуваясь, женщина не преминет попудриться». Или: «Если не чертыхаться, когда происходит черт знает что, то когда же еще чертыхаться?» А происходит в благородном семействе Чампьюн-Чини и впрямь «черт знает что». На голову молодого политика, члена парламента Арнолда и его жены Элизабет одновременно сваливаются его давно разведенные родители. Отец, Клайв Чампьюн-Чини, в прошлом тоже политик, теперь же — пожилой повеса из тех, что «бремя лет несут с легкостью». И его бывшая жена леди Кэтрин Чампьюн-Чини со своим другом лордом Портьюсом, старым брюзгой и грубияном, любящим крепкое словцо и решительно всем — и всеми — недовольным.

Тридцать лет назад, когда Арнолду не было и пяти лет, леди Китти, «веселая миниатюрная дама с крашеными рыжими волосами и наведенными щеками», которая называет себя прирожденной актрисой («Проживи я жизнь сначала, я бы конечно же пошла на сцену») и любит сострить: «У кого-то получается стать матерью, а кто-то остается женщиной», убежала, «забыв честь, долг и приличия», с чужим мужем, причем убежала совершенно неожиданно, оставив обожаемому супругу записку, что к обеду не спустится. И вот теперь, спустя тридцать лет, «шалунья леди Китти» со своим вконец одичавшим от жизни «во флорентийской глуши» лордом-сумасбродом приезжает из Италии повидать сына, которого, естественно, не узнаёт, хотя в порыве экзальтации не устает повторять: «Я узнала бы тебя из тысячи».

Налицо, таким образом, два излюбленных приема салонной комедии вообще и комедий Моэма в частности: нежданное появление и нежелательная встреча. Арнолд и Элизабет в сложном, щекотливом положении, лорд Портьюс ворчит, Клайв на удивление толерантен, легкомысленная же, экзальтированная леди Кэтрин, списанная Моэмом — в чем мы вскоре убедимся — со своей жены, не закрывая рта, не замечая происходящего, беззаботно щебечет, отчего зрители покатываются со смеху. В комедии всегда так: чем сложнее приходится действующим лицам, тем веселее зрителю, тем непринужденнее его смех.

Однако нащупываются проблемы и в беззаботном, казалось бы, «Круге». Проблемы не социальные — героям делить нечего, а психологические: многое в этой пьесе связывает ее с рассказами и романами писателя, с его собственной жизнью и устоявшимися взглядами на жизнь. Помимо «стрекозы» леди Кэтрин, про которую в свое время, когда она, презрев свое завидное положение и не менее завидное состояние, бежала из дома, пели: «Шалунья леди Кити сказала всем: „Простите“», выведен в комедии и «муравей» — плантатор из

Объединенных Малайских Штатов Тедди Лутон. В отличие от Арнолда, Лутон, во-первых, делает дело, а не треплет языком почему зря, а во-вторых, влюблен в Элизабет, женщину, как и он сам, «правильную» — смелую, стойкую, искреннюю, и пользуется ее взаимностью. В-третьих же, Лутон, этот английский Лопухин, является до некоторой степени рупором излюбленных авторских идей. Идей этих, собственно, две. Первая: следует по возможности держаться подальше от Англии. Вторая: следует по возможности держаться подальше от жены. Про прохладное отношение Моэма к родине говорить уже приходилось; про более чем прохладное отношение к жене, про которую читатель пока ничего еще не знает, — еще предстоит.

Эти две любимые моэмовские темы Лутон в чистосердечном разговоре с Элизабет (в котором не встретишь ни одной остроты или каламбура) ухитряется выразить в одной фразе: «В Англию потрясающе возвращаться, но жить я тут не смогу; это — как с заочной любовью: рядом с возлюбленной ты от нее взвоешь». Моэм, кстати, и «взвыл»: блестяще воплотив обе свои излюбленные идеи в жизнь, во все времена старался держаться и от Англии, и от жены подальше. Вот и Лутону куда привольнее жить не в Лондоне, которому «трудно угодить», где «все делается через силу, по обязанности», где люди, как муж Элизабет Арнолд и ее свекр Клайв Чампьюн-Чини, неискренни, лицемерны и манерны, — а в Малайских Штатах. В Малайзии масса преимуществ: любимая, хоть и очень тяжелая, работа, «всесезонное» голубое небо, купание, охота, сад с цветами.

Лутон и Элизабет тем самым выступают антиподами Арнолда и леди Китти. Первые чистосердечны, главное же — воспринимают жизнь всерьез, отвечают за свои слова и поступки — именно в этом смысле надо понимать признание Лутона: «Во мне нет ничего романтического». Вторые — «сплошная мишура», если воспользоваться меткой характеристикой Клайва своей бывшей супруги: «Ее сердце так же нарумянено, как лицо, она — сплошная мишура». Героев своей «безыдейной» пьесы Моэм располагает словно на двух уровнях — карикатурном и человеческом. На человеческом — «правильные», «не желающие угождать Лондону» Элизабет и Тедди Лутон, а также лорд Портьюс, осознавший в конце пути, что свою жизнь — профессиональную и личную — загубил он сам. На карикатурном — Арнолд и его родители, Клайв и леди Китти, которая уверяет, что «без помады она погибший человек», жалуется, что тридцать лет «прожила в антисанитарных условиях в грязнущем мраморном палаццо».

Так, сквозь «хорошо сделанную» салонную комедию проступает довольно едкая пародия на семейную «идиллию» «чемпионов» (Чемпионы конечно же фамилия говорящая), на их светское благополучие, чья «единственная перспектива — переодеться к обеду».

Свою же творческую «перспективу» в 1910-е годы Моэм видел не в театре, а в прозе, тем более что театральная среда ему надоела. «Этот мир, при всем его блеске, удручающе безумен. Люди, заседающие этот мир, прелестны, но инфантильны — это сущие дети, — вспоминал впоследствии писатель. — Детей этих я очень любил, но их часто хотелось отшлепать, — а ведь не отшлепаешь же Этель Берримор!» В театр Моэм еще вернется. Лучшие пьесы, такие, как «Круг», «За услуги», «К востоку от Суэца», еще будут написаны и поставлены, но произойдет это уже «в другой жизни».

Одна из сильных сторон Моэма — профессионального литератора — умение и желание учиться на собственных ошибках. Он решил, пусть и опрометчиво, что легкие комедии у него получаются, но ему не интересны, проблемные же пьесы ему интересны, но не получаются, — а следовательно, пора вновь сменить курс. И за два-три года до начала Первой мировой войны, сделав себе имя на театральном поприще и заработав (на нем же) много денег, Моэм вновь возвращается в прозу. Еще недавно он не мог даже предположить, что это произойдет. Писатель вспоминал потом, как однажды, проходя мимо «Комеди-тиэтр», где с успехом шла «Миссис Дот», он взглянул на заходящее солнце и с облегчением сказал себе: «Слава богу, теперь я могу смотреть на закат, не думая о том, как его описать».

Глава 9 НЕСОСТОЯВШИЙСЯ БРАК И ДВЕ ВСТРЕЧИ

Но прежде чем рассказать о задуманном Моэмом большом романе, о его странствиях и о его послевоенной большой и малой прозе, займемся прозой его жизни.

Пока в голове у Моэма зрел план автобиографического романа, который он напишет, радикально переделав несостоявшийся «Творческий темперамент Стивена Кэри», он надумал жениться. «Одно время я развлекался тем, что воображал себя женатым человеком, — напишет Моэм в книге „Подводя итоги“. — Женатым в принципе, а не на какой-то конкретной женщине. В браке меня привлекали условия женатой жизни. Женившись, я обрел бы покой... покой и устоявшуюся и достойную жизнь. Я стремился к свободе и полагал, что обрету ее в браке»^[42].

Хотя Моэм и пишет, что хотел жениться «в принципе», а «не на какой-то конкретной женщине», избранница у него имелась. И не кто-нибудь, а его многолетняя любовница, ренуаровская красавица, актриса «на вторых ролях» Сью Артур Джонс, которая недавно в очередной раз развелась — влюбчива была до крайности. Влюбчива, но, как утверждает писатель, не порочна. «Она не была порочна, — пишет Моэм в книге воспоминаний „Вглядываясь в прошлое“. — Просто она считала естественным, что ужин с мужчиной должен закончиться постелью»^[43]. История сватовства Моэма — это история о том редком случае, когда ужин Сью Артур Джонс с мужчиной не закончился постелью.

Осенью 1913 года и Моэм, и Сью волею случая оба оказались в Северной Америке. Писатель жил в Малитобе, на западе Канады, где в глуши канадских прерий (и это не истертая метафора, а констатация факта) трудился над римейком «Укрощения строптивой» — пьесой «Земля обетованная», заказанной ему Фроменом, в связи с чем в письме своей знакомой Мейбер Бердслей он писал: «Только что вернулся из диких мест и должен сказать, что цивилизация мне больше по душе... Опыт, впрочем, был любопытный, прерии же, даже под снегом, до сих пор стоят у меня перед глазами». Надо сказать, что в жизни Моэма «дикие места» и «цивилизация» — это типичная диалектическая борьба противоположностей, которую мы изучали в школе. Из «диких мест» его — и многих его героев — будет «тянуть» обратно в цивилизацию. Находясь

же в условиях цивилизованных, он будет стремиться в «любопытные» дикие места.

Просидев на канадской ферме пару месяцев, Моэм приезжает в Нью-Йорк, вновь обретает так не хватавшую ему «цивилизацию» и прилежно ходит на репетиции «Земли обетованной», премьеры которой запланирована на Рождество. Сью же в это самое время играет в Чикаго в «Любовной истории», пьесе приятеля Моэма, известного американского драматурга Эдварда Шелдона.

И Моэм решает действовать: отлучившись из Нью-Йорка на три дня, он отправляется к своей избраннице в Чикаго, там снимает в том же отеле, что и она, номер люкс, приглашает Сью поужинать и, не предвидя возражений, вручает актрисе заранее приобретенное обручальное кольцо, после чего делает ей предложение. Моэм настолько в себе уверен, что, вслед за предложением руки и сердца, делится планами медового месяца: «...сначала, дорогая, мы поедem в Сан-Франциско, а оттуда — на Таити, куда я давно собираюсь». Но Сью совершенно непредвиденно своему другу отказывает, причем решительно и бесповоротно. Обручальное кольцо приходится спрятать обратно в карман и, поужинав, ретироваться.

Тайна нежданного отказа раскрылась по возвращении Моэма в Лондон: в колонке светских новостей газеты «Ивнинг стандарт», которой размахивал на Пикадилли мальчик-газетчик, он обратил внимание на объявление, набранное крупным шрифтом: «АКТРИСА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ ЗА СЫНА ГРАФА». Читатель уже догадался, о какой актрисе шла речь. В таблоиде сообщалось, что актриса Этелуин Сильвия Артур Джонс 13 декабря сочеталась законным браком со вторым сыном графа Антримского Энгусом Макдоннеллом. Только теперь Моэм сообразил: Энгус Макдоннелл — это же тот самый бравый молодой человек... это с ним, весело щебеча, спускалась по трапу Сью, когда возмнивший себя женихом писатель явился встретить ее на нью-йоркский причал.

А вот как описывает эту трагикомическую сцену «предложение — отказ», словно переписанную из салонной комедии самого Моэма, его биограф Тед Морган:

«В Чикаго Моэм сумел выбраться лишь спустя три-четыре недели. Сью пребывала в прекрасном настроении, спектакль, в котором она играла, имел успех, ее хвалили, да и Моэму она, судя по всему, была рада. После спектакля они сели ужинать в ее небольшом люксе. Моэм вызвал официанта и после нескольких незначащих фраз перешел к делу.

— Сью, я ведь приехал в Чикаго просить твоей руки. Что ты на это скажешь? — И он улыбнулся уверенной улыбкой человека, который

заранее знает, каким будет ответ.

— Я не собираюсь выходить за тебя, — сказала Сью.

Моэм был потрясен до глубины души.

— Отчего же? — поинтересовался он.

— Просто не хочу, и все.

Моэм решил, что ей хочется, чтобы он ее уговорил.

— Я подумал, что тебе надо бы заранее предупредить в театре, чтобы у них было время найти замену, — сказал он. — Тогда бы мы сразу же поженились, поехали на поезде в Сан-Франциско, а оттуда на пароходе на Таити.

— План превосходный, — ответила Сью, — но свою роль я никому отдавать не намерена.

— Что за вздор! — вскричал Моэм; он решительно отказывался понимать, что происходит.

— У меня отличная пресса, — пояснила Сью.

Тут он вручил ей обручальное кольцо: две большие жемчужины в оправе из маленьких бриллиантов.

— Какое красивое, — улыбнулась Сью, однако кольцо ему вернула.

— Оставь его себе.

— Нет, не хочу, — сказала Сью.

— Ты что, серьезно?

— Спать со мной можешь, — ответила Сью, — но замуж за тебя я не пойду.

Но лечь с ней в постель Моэм не собирался. С минуту они сидели молча, а потом он произнес:

— Что ж, разговор, насколько я понимаю, окончен.

— Окончен, — кивнула Сью.

Он встал, поцеловал ее, положил кольцо обратно в карман и вышел из комнаты».

Об обручальном кольце. Распорядительный горе-жених сумел-таки вернуть стоившее немалых денег кольцо ювелиру, и тот возместил Моэму его стоимость, удержав всего десять процентов. Материальный урон, таким образом, оказался несущественным, моральный же, думается, — довольно ощутимым. Моэм, совершенно не готовый к такому повороту событий, наверняка был огорчен отказом куда больше, чем он изображает в книге «Вглядываясь в прошлое».

Теперь самое время рассказать о двух весьма знаменательных встречах — одна предшествовала вышеприведенной забавной сценке, другая произошла примерно через год после нее. И та и другая сыграли в жизни

Моэма немалую роль.

Первая состоялась в 1911 году, под Рождество. Однажды вечером в квартире Моэма на Честерфилд-стрит раздался телефонный звонок. Звонила соседка и знакомая миссис Чарлз Карстерс, жена представителя лондонского отделения фирмы Кнедлер, торговавшей картинами старых мастеров. Звонила с просьбой: сегодня они с мужем пригласили на ужин с последующим посещением театра (спектакли в те годы начинались поздно, в девять вечера) двух гостей, даму и джентльмена, и джентльмен в последний момент отказался; таким образом, гостья осталась без кавалера. Так вот, не выручит ли ее «по-соседски» мистер Моэм, не составит ли им компанию? И мистер Моэм, человек светский, выручил и «компанию составил»: приделся, явился в положенное время к Карстерсам и был представлен миловидной, миниатюрной молодой женщине, со вкусом одетой, с изящными пальчиками, унизанными кольцами с крупными изумрудами. Некоей миссис Гвендолен Мод Сайри Уэллкам, урожденной Барнардо, своей — раскроем прежде времени секрет — будущей супруге.

Сайри была дочерью немецкого еврея, детского врача Томаса Джона Барнардо, сделавшего себе в Англии имя и солидный капитал на создании обширной сети детских приютов, носивших его имя. До Англии, впрочем, была еще Ирландия, куда Томас Джон приехал из Гамбурга в 1846 году; поначалу он осел в Дублине, где принял христианство и женился на уроженке ирландской столицы, и только потом переехал в Лондон. Его старший сын, Томас Барнардо, с пятнадцати лет трудился в юридической конторе, затем отправился в Китай врачом-миссионером, а потом, закончив, как и Моэм, медицинский колледж в Лондоне, всю жизнь проработал в одной из лондонских больниц.

Росла Сайри, по воле родителей, среди приютских детей, воспитывалась в строгости, девочкой играла в церкви на органе, по воскресеньям прилежно читала Библию, что, впрочем, не помешало ей вырасти вполне разбитной, хорошенькой и кокетливой светской девицей. Не зря же знакомые за миниатюрный рост, великолепные густые черные волосы, огромные карие глаза, смуглую кожу и изящную фигурку прозвали девушку «маленькой королевой» (*Queenie*).

В 1901 году, двадцати двух лет, маленькая королева отправляется в экзотическое путешествие в Египет, где, плывя на пароходе по Нилу в Хартум, разбивает сердце владельцу крупной фармацевтической фирмы из штата Висконсин, 48-летнему Генри Уэллкаму, за которого летом того же года и выходит замуж. Браке воплощенной «американской мечтой», выбившимся из низов провинциальным американцем с фронта, который

благодаря успешному аптечному бизнесу в Англии не только стал миллионером и британским подданным, но и был в конце жизни возведен в рыцарское достоинство, получился неудачным. Сказалась разница в возрасте; к тому же Сайри в 1903 году родила умственно отсталого ребенка; к тому же Генри Уэллкам человеком был не простым — властным, замкнутым и необычайно ревнивым, да и Сайри, надо отдать ей должное, не раз давала ему повод к ревности. В результате, в 1910 году, меньше чем через десять лет после свадьбы, Уэллкам затеял длившийся не один год бракоразводный процесс.

Вот почему, когда Сайри и Моэм познакомились, Сайри уже жила своим домом, отдельно от мужа, в окружении сонма поклонников и любовников, среди которых был и Гордон Селфридж, тоже миллионер, создатель сети и по сей день процветающих универмагов. Это его в ядовитой антиамериканской комедии «Вышестоящие лица» выведет спустя несколько лет Моэм в образе краснолицего, седовласого, не расстающегося с сигарой американца Артура Фенвика, владельца лондонского универмага, бонвивана, любителя покера и женщин, который любил повторять: «Когда я впервые сюда приехал, надо мной все смеялись. Говорили, что разорюсь. А я взял и перетряхнул их отжившие, дурацкие методы. Так что запомните: хорошо смеется тот, кто смеется последним».

Моэм Сайри понравился. Когда Карстерсы в какой-то момент вышли из столовой, она успела ему шепнуть: «Как жаль, что придется после ужина идти в театр. Я вас заслушалась — дай мне волю, слушала бы всю ночь». А на прощание, после спектакля, выходя из машины, обронила: «Надо бы в скором времени опять встретиться».

До Рождества встретиться, однако, не довелось, зато Сайри преподнесла своему новому знакомому «интеллигентный» рождественский подарок — том пьес Бернарда Шоу. И безо всякого умысла: вряд ли Сайри этим подарком намекала: вот как, дескать, надо писать. Более вероятно, что она стремилась предстать в глазах известного драматурга женщиной самостоятельно мыслящей, прогрессивной и начитанной.

Постоянно встречаться Сайри и Моэм начали лишь спустя два года, в начале 1914-го, когда писатель, вернувшись из Америки, где, как мы помним, Сью Артур Джонс безжалостно отвергла его предложение руки и сердца, ходил на репетиции лондонской премьеры «Земли обетованной».

Как-то вечером он по чистой случайности встретился с Сайри в опере, после чего она пригласила его на прием в связи с покупкой нового дома в Риджентс-парке, а он ее, в свою очередь, — на премьеру своей «Земли обетованной». Оба события, по забавному совпадению, должны были

состояться в один и тот же вечер. Сайри на премьеру опоздала — она всю жизнь всюду опаздывала; в тот вечер, однако, причина для опоздания была у нее более чем уважительная: хлопоты по празднованию новоселья. Влетела в зал, когда занавес уже поднялся, и Моэм, отличавшийся щепетильностью и исключительной пунктуальностью, не на шутку обиделся.

Обиделся, но на вечеринку, «согревающую новый дом» (*housewarming party*), тем не менее, явился. Гостей — большей частью знакомых — было полно, многие с премьеры пьесы Моэма «перетекли» на новоселье Сайри. Сайри наняла оркестр. Все танцевали. Танцевал и Моэм — с хозяйкой дома, всю ночь до рассвета.

С этого дня они на несколько лет стали неразлучны. При этом нельзя сказать, что они были страстно влюблены друг в друга, хотя Сайри и не уставала твердить, что от Моэма без ума. Тут, скорее, дело было в том, что совпадали их жизненные планы и интересы. Моэм по-прежнему не оставил мысли жениться; хотелось вновь выйти замуж и иметь детей и находившейся в преддверии развода Сайри. Вдобавок, что тоже немаловажно, они были друг другу полезны: Моэм был известным драматургом, человеком весьма обеспеченным, и стать его любовницей, тем более женой, было бы и престижно, и выгодно. А Сайри пользовалась репутацией светской львицы, которую знал весь Лондон, в том числе и деловой.

До женитьбы, впрочем, было еще далеко. Сначала был Париж, где Моэм жил с Сайри в ее квартире на знаменитой набережной Д'Орсе. Потом, весной того же 1914 года, — Биарриц, куда они отправились вместе на ее машине; Моэм с легкостью пользовался благами бывшей супруги миллионера. Впрочем, не бывшей. Официального развода с Генри Уэллкамом Сайри тогда еще не получила. Потом была столь милая сердцу Моэма Испания и Бордо на обратном пути в Париж. Вот тогда в Бордо Сайри впервые и заговорила с Моэмом о том, что очень хочет от него ребенка.

А потом было возвращение в Лондон, где лучезарные отношения между любовниками несколько потускнели. По причине, тривиальнее которой не бывает. Сайри своего добилась: она сказала Моэму, что беременна и собирается ребенка оставить. А чтобы не было в связи с рождением ребенка скандала, Сайри придумала, что отдаст его на воспитание своему младшему брату. Брат с женой недавно приехали из Канады, объяснила она Моэму, они бездетны, детей же очень любят. «А мы, — попытожила она, — могли бы навещать нашего младенца, когда только

нам заблагорассудится». Моэма идея стать отцом не воодушевила. «Я питал смутную надежду, — вспоминал он впоследствии, — что, хотя ей и нравилась собственная решимость, когда дойдет до дела, она испугается и откажется от этой затеи».

«До дела дошло» довольно скоро: спустя несколько недель Сайри вызвала к себе Моэма телефонным звонком, сообщила, что у нее случился выкидыш, и предложила на этом отношения прекратить. Моэм был привязан к Сайри и готов был бы *со временем* на ней жениться. Спустя несколько лет, когда у них уже родилась дочь, во время одного из участившихся семейных скандалов Сайри в сердцах бросит супругу: «Мужем-то ты быть хотел. Мужем — но никак не отцом!»

Пользуясь тем, что пока он еще не муж и не отец, Моэм продолжает вести жизнь холостяка-гетеросексуала. На лето оставляет Сайри с ее одиннадцатилетним сыном в деревне, сам же в компании Джералда Келли отправляется на Капри. По утрам плавает, играет в пикет и в теннис, поднимается на Монте Соларо, слушает переводы из Эредиа и игру на фортепиано своего старинного приятеля, некогда наставника Эллингема Брукса и общается с многочисленными представителями обосновавшегося на Капри англо-американского литературного (и по большей части гомосексуального) сообщества, в который, понятное дело, отлично вписывается. Гомосексуально-литературную идиллию, которую Моэм делит с такими довольно известными в то время писателями, как Эдвард Бенсон, Норман Дуглас, Комптон Маккензи, нарушают Первая мировая война, начавшаяся 4 августа, и Сайри, которая в тот же день шлет Моэму из Рима телеграмму с двумя — одна хуже другой — новостями. Во-первых, она опять беременна, а во-вторых, в ближайшие дни выезжает к нему на Капри...

Если б не внезапно разразившаяся война, не состоялась бы вторая столь существенная в жизни Моэма встреча.

Вернувшись в августе в Лондон, он первым делом пишет письмо Уинстону Черчиллю — хочет быть полезным отечеству. Подобное патриотическое рвение Моэму вообще свойственно. Спустя двенадцать лет, в 1926 году, во время общей забастовки в Англии, Моэм идет добровольно и бесплатно работать в Скотленд-Ярд, где помогает разыскивать зачинщиков стачки. Спустя еще тринадцать лет, в первые же дни Второй мировой, обращается в министерство информации — готов послужить королю если не винтовкой (ему уже шестьдесят пять), то хотя бы пером.

Моэм просит друга «использовать его в нуждах родины» и в октябре

— впрочем, скорее всего, по собственной инициативе, без всякого содействия со стороны первого лорда Адмиралтейства, — записывается переводчиком в Красный Крест и отбывает в Булонь, а оттуда на фронт в составе автосанитарной части «Перевозка раненых на колесах». Находясь в нескольких милях от передовой, он вывозит на «фордах» (а заодно и перевязывает — дипломированный врач как-никак) тяжело раненных после кровопролитных боев под Ипром, Дюнкерком, Монтидье, о чем пишет в письме Вайолет Хант: «В Красном Кресте чувствую себя лучше некуда: делаешь, что тебе говорят, и не ощущаешь никакой ответственности за происходящее. В этом, думаю, и состоит прелесть монашеской жизни. Сделал дело — и весь день свободен».

Что-то не верится, что Моэм, вытаскивавший из-под огня окровавленных солдат, не чувствовал никакой ответственности за происходящее. Рисуется он и когда пишет: сделал дело и весь день свободен. День переводчика, водителя кареты «скорой помощи» и одновременно санитаря вряд ли отличался особой «свободой», особенно во Фландрии, куда, в Стеенворде и Попперинг, писатель попадает в самом конце первого года войны и где идут тяжелые бои с переменным успехом. Приведем запись, сделанную Моэмом поздней осенью 1914 года; судя по этому фрагменту, едва ли он чувствует себя в Красном Кресте «лучше некуда»:

«Все утро я работал в школе, превращенной в госпиталь. Туда свезли двести, а то и триста раненых. Здание насквозь пропиталось гнойным смрадом, окна все до единого закрыты... повсюду грязь и запустение. Работали в этом госпитале, сколько я мог понять, всего двое врачей; им помогали две хирургические сестры и несколько женщин из этого городка, не имевших никакого понятия об уходе за больными... Вскоре я понял, что могу не хуже других выполнять то небольшое, что от меня требовалось: промывать раны, прижигать их йодом, делать перевязки. Никогда прежде не видел я таких увечий... раздробленные кости, все залито гноем, вонь жуткая, зияющие отверстия в спине, сквозные пулевые ранения легких, разможенные ступни...»^[44]

Однажды — это, впрочем, было еще в Ипре — и сам Моэм тоже чудом остался жив: на главной площади города снаряд угодил в стену, возле которой писатель стоял за минуту до этого, а потом отошел поглядеть с другой стороны на разрушенный дом цеха суконщиков. «Сам не знаю, почему мы не остались у той стены, где оставили машину, а прошли вдоль длинного фасада здания до дальней стены, — вспоминал потом Моэм. — Это чистейшая случайность... Задержись мы у дальней стены минут на

пять дольше, нас бы убило на месте». Он был до такой степени потрясен случившимся, что ему, пишет он в книге «Подводя итоги», «было не до наблюдений над самим собой»^[45]. Впрочем, во Фландрии Моэм регулярно ведет дневник, где «наблюдает за самим собой» весьма пристально.

Во Фландрии Моэм и встретил такого же, как и он, водителя и санитаря Красного Креста Джералда Хэкстона, служившего в одной с ним автосанитарной части и ставшего его многолетним сожителем, близким — самым близким — другом, секретарем и спутником в многочисленных путешествиях.

Сын американца и англичанки, выходец из Сан-Франциско, воспитывавшийся матерью после развода с отцом в Англии, Хэкстон был моложе Моэма почти вдвое, в год их знакомства ему было чуть больше двадцати. Это был человек среднего роста, с усиками, зачесанными назад темно-каштановыми волосами и миловидным, правда, рябым лицом, которое он гримировал, чтобы не видно было оспин. Робину Моэму, как, впрочем, и всем близким родственникам писателя, Хэкстон, по понятным причинам, не пришелся по душе. «Среди черт его лица, — вспоминает Робин, создавший довольно точный, хотя и предвзятый (сплошные „но“) портрет друга его знаменитого дядюшки, — не было ни одной, которую можно было бы назвать правильной. Зубы у него были белые, но неровные, цвет лица свежий, но кожа нечистая, волосы густые, но какого-то блеклого цвета — не брюнет и не блондин, что-то среднее. Глаза большие, но какие-то тусклые, не живые. Что-то в выражении его лица, в его манере держаться было прожженное, разгульное, и люди, которым он не нравился, говорили, что он изворотлив и не надежен».

Те же, кто испытывал к нему симпатию, в том числе и Моэм, всегда многое ему прощавший, видели в Хэкстоне не изворотливость, разгульность и ненадежность, а обаяние, жизнелюбие и здоровый авантюризм, а также природную одаренность, бесстрашие, кипучую жизнеспособность, решительность. В книге «Вглядываясь в прошлое» Моэм пишет о Хэкстоне по понятным причинам очень мало, однако отмечает: «...меня привлекли в нем огромное жизнелюбие и авантурный дух»^[46]. Чем-чем, а отсутствием «авантурного духа» Хэкстон и в самом деле не страдал. Моэм, человек суховатый, даже чопорный, сдержанный до застенчивости, еще со школьных лет очень ценил в людях те качества, которыми не мог похвастаться сам. Его всегда тянуло к личностям компанейским, общительным, умевшим быть душой любого общества. Этими качествами и завоевали его расположение оба Джералда — Келли и

Хэкстон. «Я плохо схожусь с незнакомыми людьми, — признается Моэм в книге „Подводя итоги“, — но мне повезло: в моих странствиях меня сопровождал человек, который владел неоценимым даром общения. Благодаря приветливости и доброжелательности он мгновенно сходился с людьми на пароходах, в клубах, барах и отелях, и с его помощью я с легкостью завязывал отношения с огромным числом всех тех, с кем в противном случае разве что раскланивался»^[47].

Справедливости ради скажем, что Моэм так высоко ставил обаяние и общительность друга (где бы, в самом деле, писатель черпал сюжеты для своих рассказов, если бы не Хэкстон, которому ничего не стоило разговаривать любого?), что не замечал — или не хотел замечать — его «теневые» стороны. А ведь Хэкстон был, мало сказать, авантюристом, он был запойным пьяницей. И не только пьяницей — наркоманом, развратником, азартным игроком, профессиональным бездельником, человеком скользким и, больше того, — нечистым на руку. Моэм, как мы вскоре увидим, немало от него натерпелся, заплатил за их дружбу — и вообще за свою тягу к людям с сомнительной репутацией, — немалую цену.

Спустя примерно год после их знакомства Хэкстон был обнаружен в лондонской гостинице в Ковент-Гардене в постели с женщиной, задержан и предстал перед судом по обвинению в «публичной гомосексуальной связи». Хотя его признали невиновным, он был выдворен «по месту прописки», в США. Несмотря на то, что все шансы попасть за решетку у него имелись, тюремного заключения Хэкстон избежал — возможно, благодаря чьим-то (уж не Моэма ли?) связям или деньгам — адвокаты, во всяком случае, наняты были самые известные и дорогие, и свое дело они сделали. Справедливость, правда, восторжествовала. Через несколько лет, когда Хэкстон приехал в Англию, просидев перед этим несколько лет в Германии в лагере для военнопленных, куда он попал после захвата немецким крейсером «Вольф» парохода с американскими новобранцами, плывшими в тренировочный лагерь в Южную Африку, — он был выслан из страны без права когда-либо ступить на британскую землю. По всей вероятности, «публичная гомосексуальная связь» не прошла ему даром — впрочем, докопаться до истинной причины столь сурового отношения к другу Моэма ни одному из биографов писателя так и не удалось. Не из-за него ли Моэм, который не мог обойтись без Хэкстона и недели, — что не мешало ему бестрепетно писать в мемуарах: «С тех пор мы *иногда* виделись», — большую часть жизни прожил за пределами родины? Словом, как говорила в «Вышестоящих лицах» (где, кстати, в образе жиголо Тони Пакстона

выведен не кто иной, как Джералд Хэкстон), обращаясь к герцогине, любовнице Пакстона, леди Грейстон: «Судя по всему, вы испытываете нешуточную страсть к подлецам, и они поэтому всегда дурно с вами обходятся». Обходятся дурно, да и стоят недешево. Но когда любишь, так ли уж это важно?

Глава 10 «ВМЕСТО ПЕПЛА УКРАШЕНИЕ», ИЛИ «МОЖНО ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»

Переводчик, водитель и санитар автосанитарной части «Перевозка раненых на колесах» Уильям Сомерсет Моэм не забывал меж тем и о своем литературном поприще. Притом что его служба в Красном Кресте была очень напряженной — выносить из-под огня раненых, перевязывать их и вывозить на санитарном «форде» за линию фронта, — в перерывах он ухитрялся читать присланную ему из Англии корректуру своего, быть может, лучшего романа — «Бремя страстей человеческих». Лучшим считал его и Моэм, который, как мы знаем, не был особенно щедр на похвалы самому себе. «Я, пожалуй, готов согласиться с расхожим мнением, что „Бремя“ — моя лучшая книга, — напишет он спустя много лет. — Таковую книгу писатель может написать всего один раз. Ведь у него, в конечном счете, всего одна жизнь. На то, чтобы собрать материал только для этой книги, у меня ушло тридцать лет жизни».

Служивший с ним в одной части Десмонд Маккарти, тогда начинающий, а в дальнейшем маститый литературный и театральный критик, которому, кстати, приходилось писать и о Моэме, вспоминает, как, получив гранки «Бремени», Моэм, когда выдавалась свободная минута, раскладывал их у себя на кушетке и правил текст при неровном пламени свечи. Маккарти обратил внимание, что поправок в гранках было очень мало, и однажды спросил Моэма, почему тот не правит набранный текст, на что писатель ответил, что обычно, прежде чем отправить рукопись в печать, он сначала дает ей «отлежаться», а затем тщательно, с пристрастием ее правит.

Роман, оговоримся, назывался тогда иначе — несколько видоизмененной цитатой из Ветхого Завета: «Вместо пепла украшение», в договоре же с Хайнеманном проставлены были еще два дополнительных заглавия: «Преходящее» и «Гордиться жизнью» — оба очень значимые. «Бременем страстей человеческих» (так назван один из разделов «Этики» Спинозы) роман был поименован лишь на самом последнем этапе, когда неожиданно выяснилось, что слова пророка Исаии однажды уже были кем-то для заглавия использованы.

В «Бремени» заложен парадокс: герой и похож и не похож на автора, узнаваем и не узнаваем. Многие подробности биографии Моэма, как уже не раз говорилось, совпадают с биографией главного действующего лица.

Подобно Уилли Моэму, Филип Кэри рано теряет любимую мать, живет в заштатном приморском городке у дяди-викария, терпит от соучеников закрытой школы насмешки (правда, не из-за заикания, а из-за врожденной хромоты), духовно раскрепощается в Гейдельберге, учится в медицинской школе при больнице (Святой Фома становится в романе Святым Лукой). А еще очень любит странствовать, словно предчувствуя, что «где-то там он узнает о жизни новое...». Все это позволяет причислить «Бремя» если не к жанру автобиографии, то, по крайней мере, к автобиографическому роману, на чем настаивает и автор. «Это не автобиография, — предостерегал Моэм в книге „Подводя итоги“ своих критиков и биографов — и те и другие склонны были ставить знак равенства между Филипом и Уилли. — Это автобиографический роман, где факты перемешаны с вымыслом; чувства, в нем описанные, я пережил сам, но не все эпизоды происходили так, как о них рассказано, и взяты они частью не из моей жизни, а из жизни людей, хорошо мне знакомых»^[48].

Пусть Филип Кэри и не является слепком с прозаика и драматурга Уильяма Сомерсета Моэма, но герой он, безусловно, автобиографический, писал его Моэм, как бы там ни было, с самого себя. Но не с того Моэма — в этом-то и парадокс, — который был членом клуба Дэвида Гаррика, завсегдаем светских салонов и загородных усадеб, заядлым игроком в бридж и гольф, волокитой и бонвиваном, баловнем лондонских и нью-йоркских театральных премьер. Тут пути героя и автора расходятся. Больше того, Филип Кэри, при всем своем сходстве с Уилли Моэмом, является антиподом того светского щеголя, которого запечатлел на своем портрете друг писателя Джералд Келли. Автор — для Моэма это большая редкость — словно срывает с себя маску. Вместо светского бонвивана, популярного и зажиточного литератора и остролова, хорошо известного по обе стороны Атлантики, нам явлен мятущийся, одинокий, безвестный, неуверенный в себе и неимуший молодой человек — «портрет художника в молодые годы», если воспользоваться названием знаменитого и тоже автобиографического романа Джеймса Джойса. Жизнь для этого молодого человека — не череда успехов, а тяжкое бремя: это и его физический изъян, и навязанное ему жесткое религиозное воспитание, и отношения с любимой женщиной, над ним измывающейся и его цинично использующей.

Антиподом автора Филип Кэри является не только в отношении к жизни, но и в отношении к искусству. В начале романа, этого английского аналога «Воспитания чувств» Флобера, герой проникается убеждением, что в мире нет ничего важнее искусства, однако ближе к финалу Филип Кэри

теряет к искусству интерес, тот повышенный интерес, который всегда питал к изобразительному искусству и литературе сам Моэм: «Филипа перестало интересовать искусство, ему казалось, что теперь он куда глубже воспринимает красоту, чем в юности, однако искусству он больше не придавал былого значения. Ему куда интереснее было плести узор жизни из пестрого хаоса явлений, и возня с красками и словами выглядела пустым занятием»^[49]. Филип Кэри приходит к выводу, что «культурность — это маска, скрывающая лица людей», и что куда интереснее изображать людей без масок, без покровов. Людей, не считающих нужным приспособляться к каким-то нормам. Людей, чья человеческая природа проявляется более зримо и полно. Иными словами, людей интересных, самобытных, диковинных — именно такие и становятся отныне объектом интереса Моэма-рассказчика. «Спесь культуры слетела с меня, — вспоминает Моэм в книге „Подводя итоги“. — Отныне я принимал мир таким, как он есть»^[50].

«Время страстей человеческих» — идеальная книга для литературоведческих штудий, роман словно располагается на пересечении многих литературных направлений и жанров. Моэм, кажется, стремится учесть и усвоить опыт авторов как классических, так и современных, продемонстрировать свою недюжинную литературную осведомленность, взять, что называется, понемногу ото всех.

О том, что «Время» — роман автобиографический, уже сказано, в том числе и самим автором, который, кстати, окончательно убедился в этом, когда, уже после Второй мировой войны, вызвался читать вслух отрывки из «Бремени» в записи для слепых. «Начал Моэм спокойно и уверенно, — вспоминал присутствовавший на записи Гэрсон Кэнин, — однако затем эмоции его захлестнули, и уже в конце первой главы он начал запинаться и заикаться, с трудом сдерживая слезы, а спустя несколько минут и вовсе умолк. „Боюсь, эта чертова книга куда более автобиографична, чем я готов был признать!“ — сказал он мне после записи».

Не выглядит натянутой и аналогия с романом воспитания, и, прежде всего, с классикой жанра «Вильгельмом Мейстером» Гёте. Филип Кэри и Вильгельм Мейстер и в самом деле имеют немало общего. И в том и другом романе, в соответствии с законами жанра, читатель наблюдает за становлением личности главного героя. И тот и другой молод, образован, одарен. И тот и другой тяготеет средой, в которой живет. И тот и другой покидает семью и родной город в поисках своего места в жизни. И тот и другой безразличен к выгоде, наживе, увлекается искусством, Вильгельм —

театром, Филип — живописью. Вильгельм бросает семейную коммерцию и одно время ведет жизнь бродячего актера. Филип отправляется в Париж, где пытается стать художником. Вильгельм оставляет театр и становится хирургом; Филип, уяснив себе, что первоклассного художника из него не получится, возвращается в Англию и также поступает в медицинскую школу. Вильгельм неоднократно и страстно влюбляется. Влюбчив (на свою беду) и герой «Бремени»: сначала у него роман с гувернанткой мисс Уилкинсон, потом — с сочинительницей дешевых романов Норой Несбитт, списанной с уже упоминавшейся Вайолет Хант, потом — с женщиной-вамп, официанткой дешевой лондонской закусочной Милдред Роджерс, про которую злые языки поговаривали, что ее прототипом является не юная официантка, а юный *официант*. И, наконец, — с правильной, нравственно чистой Салли Ательни, той, кому суждено было освободить героя от «бремени» Милдред, вывести его, так сказать, из мрака на свет.

Похож Филип Кэри и на Эрнеста Понтифекса, героя еще одного знаменитого, иконоборческого автобиографического романа «Путь всякой плоти» старшего современника Моэма Сэмюэля Батлера. И Понтифекс, и Филип получают воспитание в образцовой викторианской богословской семье. Воспитатели и того и другого — корыстные, прижимистые и жестокие лицемеры, живущие, как сказали бы сейчас, двойными стандартами. И Понтифекс, и Филип пытаются освободиться от навязанного им тяжкого бремени ханжеского викторианского воспитания. И тот и другой становятся жертвой женщины, и тот и другой в финале возрождаются к жизни, по-новому видят ее смысл.

При желании (а такое желание у литературоведа-компаративиста всегда в наличии) можно обнаружить сходство между «Бременем страстей человеческих» и «Портретом художника в молодые годы» Джеймса Джойса: закрытая школа, ханжеское религиозное воспитание, у ирландца Джойса — католическое, у Моэма — англиканское. И конечно же — между романом Моэма и произведениями австрийца Леопольда фон Захер-Мазоха, ведь отношение Филипа Кэри к пошлой, мелкой, расчетливой, развратной и безжалостной Милдред Роджерс строится в точности по мазохистской формуле: «Страсть мужчины напрямую зависит от физических и умственных мучений, которым его подвергает любимая женщина».

Если историки литературы считают «роман воспитания» Моэма существенным вкладом в историю *Bildungsroman*'a, то критики и читатели, искушенные и не искушенные, отнеслись к шедевру писателя довольно прохладно, некоторые же и вовсе с нескрываемым раздражением. Винить в

этом, впрочем, следует не Моэма, а начавшуюся мировую войну, в чем сам писатель прекрасно отдавал себе отчет. «Когда книга вышла, — поделился он спустя много лет своими воспоминаниями с Гэрсоном Кэнином, — она успеха не снискала, так как я имел несчастье опубликовать ее в 1915 году, и ей пришлось конкурировать с куда более значительной сагой под названием „Мировая война“. По сравнению с этой сагой борения и невзгоды моих героев казались далекими, невнятными и несущественными. Уловить нужный момент для издания книги — неоценимый писательский дар».

Была и еще одна причина неуспеха моэмовского шедевра. В суровую годину — а роман увидел свет в августе 1915 года — читатель хотел развлекательной (точнее было бы сказать — «отвлекающей») литературы еще больше, чем в мирное время, роману воспитания он предпочитает детективы, научную (а еще лучше — «ненаучную») фантастику, юмор, эротику. До становления личности героя, его мучительных поисков своего места в жизни массовому читателю, тем более в военное время, не было решительно никакого дела — отсюда и довольно скромный тираж романа: и в Англии и в Америке он не превысил пяти тысяч и — в отличие от многих других книг Моэма — не допечатывался. Достаточно было бросить взгляд на заглавие толстой книги, чтобы догадаться: новый роман Уильяма Сомерсета Моэма никакой особой радости читателю не сулит, увлечет его едва ли. Роман был нужен не читателю, а автору. «...Едва я утвердился в положении популярного драматурга, — пишет Сомерсет Моэм в книге „Подводя итоги“, — как меня стали неотступно преследовать воспоминания о прошлом. Смерть матери и вызванный этим развал семьи, сплошная мука первых лет в школе... Радость спокойных, однообразных, но волнующих дней в Гейдельберге... Скучные занятия медициной и захватывающее знакомство с Лондоном. Все это вспоминалось так настойчиво... стало столь откровенным наваждением, что я решил: нужно написать об этом роман, иначе мне ни за что не успокоиться»^[51]. Старая как мир истина: вспомнить, чтобы навсегда забыть.

Увы, «наваждением» роман для англоязычной читательской аудитории не стал, а вернее, не стал на первых порах — в дальнейшем «Бремя страстей человеческих» переиздавалось многократно, нашло в конечном итоге своего читателя. В 1915 же году лондонские и заокеанские критики были строги и единодушны. «Черты героя столь искажены, что интерес к нему мы вправе проявить ничуть не больший, чем к тяжело больному человеку... В столь длинных романах повторы особенно утомительны, из-за них мы менее благодарны автору за точно выписанные портреты действующих лиц и изображение различных сторон жизни» («Атенеум», 21

августа 1915). «И Филип, и Милдред производят отталкивающее впечатление» («Панч», 25 августа). «На первое место выходят однообразие и убогость жизни» («Субботнее обозрение», 4 сентября). (Напомним здесь, что эти же «однообразие и убогость» инкриминировались и «Лизе из Ламбета»: дескать, жизнь и без того тяжела — не лучше ли сочинить что-нибудь легкое и веселое?) Разочаровал критиков и стиль романа — слишком, с точки зрения многих, простой и безыскусный, что Моэм, собственно, и сам знает и оговаривает в предисловии к английскому изданию: «Я охладел к цветистому слогу и метафорической прозе... Теперь меня влекут простота и безыскусность... Для витиеватых украшений не оставалось места... Театр научил меня ценить краткость и остерегаться пустословия...»^[52] «У меня нет таланта к пышности языка»^[53], — обронил как-то писатель в другом месте и по совсем другому поводу.

Американские зоилы высказались еще резче. «Сентиментальное рабство жалкого дурака» (нью-йоркский «Уорлд»). «Филип пустышка» (филадельфийская «Пресс»; в оригинале игра слов: «Futile Philip»). «Автор мог написать правдивую книгу, а написал тошнотворную» («Наблюдатель»), «Мрачная картина пустоты жизни» («Циферблат»). «Стиль хромает, и сильно» (детройтская «Таймс»). А подводит печальный итог «Таймс-Пикейн» из Нового Орлеана: «Эту историю при всем желании не назовешь здравомыслящей. Получить от нее удовольствие может лишь тот, кто не в ладах со вкусом».

«Не в ладах со вкусом» оказался лишь один критик, чей голос явно выделялся из неодобрительного хора, — «некий» Теодор Драйзер. Автор «Американской трагедии» в статье «С точки зрения реалиста» от 25 декабря 1915 года, напечатанной в авторитетном журнале «Нью рипаблик», назвал, не скупясь на комплименты, «Бремя страстей человеческих» «гениальной книгой», а Моэма «великим художником». «Безукоризненная вещь, которая пришлась нам по душе, но которую мы не можем до конца оценить, при этом вынуждены признать, что это произведение искусства». В своей статье, которую точнее было бы назвать «С точки зрения импрессиониста», Драйзер сравнивает роман Моэма с бетховенской симфонией, «чьи бурно расцветающие звуки... наполняли воздух неуловимым смыслом, трепещущим и умирающим». Скажем откровенно, смысл этого туманного импрессионистического пассажа менее «уловим», чем смысл рецензируемой книги.

Что же до ее смысла, то рецензенты, быть может, увидели бы в ней куда больше «позитива», чем «негатива», если бы Моэм и Хайнеманн сохранили первоначальное заглавие «Вместо пепла украшение». В этом

случае кто-то из более добросовестных критиков мог бы заглянуть в Книгу пророка Исаии, нашел бы там стих 61, 3 и прочел бы его целиком. Тогда «тошнотворные» подробности, «сентиментальное рабство», «мрачная картина пустоты жизни», «однообразие и убогость», «искаженные» черты главного героя отступили бы на задний план, а на передний выступил бы, напротив, положительный пафос этого автобиографического романа. «... Господь... послал Меня... утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дается украшение, вместо плача елей радости...»

Елея радости в «Бремени» критики и не заметили, а ведь он в романе есть. И он тоже в известном смысле парадоксален: лишь окончательно убедившись, что жизнь лишена смысла, герой начинает ценить ее по-настоящему, «гордиться ею»: «Жизнь его казалась ужасной, пока мерилом было счастье, но теперь, когда он решил, что к ней можно подойти и с другой меркой, у него словно прибавилось сил. Счастье имело так же мало значения, как и горе. И то и другое вместе с прочими мелкими событиями его жизни вплетались в ее узор. На какое-то мгновение он словно поднялся над случайностями своего существования и почувствовал, что ни счастье, ни горе уже никогда не смогут влиять на него, как прежде. Все, что с ним случится дальше, только вплетет новую нить в сложный узор его жизни, а когда наступит конец, он будет радоваться тому, что рисунок близится к завершению... Филип был счастлив»^[54].

Счастлив — в отличие от критиков, в чем мы убедились, читая рецензии на «Бремя». Книга Моэма не оправдала читательских ожиданий, зато в полной мере оправдала надежды, которые возлагал на нее сам писатель. На вопрос Малькольма Каули, одного из виднейших американских критиков и литературоведов XX века: «Почему Моэм написал всего одну книгу, отличающуюся откровенностью и человеческой теплотой?» — ответ дал сам автор в беседе с Гэрсоном Кэнином: «Приличные люди часто спрашивают меня: „Почему бы вам не написать еще одно ‘Бремя страстей человеческих’?“ Потому, — отвечаю я, — что я прожил только одну жизнь. У меня ушло тридцать лет, чтобы собрать материал только для одного этого произведения». Как у вас, *приличных* людей, все просто, словно хочет сказать Моэм. Попробуйте, по примеру моего героя, подняться над случайностями своего существования, и вы поймете, почему ни один писатель не способен написать два таких романа, как «Бремя страстей человеческих».

Редкий случай, когда сам Моэм остался, кажется, доволен своей в чем-то итоговой (хотя писать ему предстояло еще полвека) книгой.

Читательский и критический прием романа нисколько не разочаровал писателя, ибо он едва ли рассчитывал, что мир, ввергнутый в кровопролитную бойню и поглощенный собственными страданиями, заинтересуется жизнеописанием отчасти вымышленного, отчасти реального лица. Рассчитывал он совсем на другое. «...Когда роман вышел из печати, я навсегда освободился от мучительных и тягостных воспоминаний, — читаем в книге „Подводя итоги“. — Я вложил в эту книгу все, что тогда знал и, дописав ее, увидел, что можно жить дальше»^[55]. В каком-то отношении — думаю, читатель со мной согласится, — Моэм приходит к тому же выводу, что и его герой, который в конечном счете находит свое место в жизни, видит, что «можно жить дальше».

Глава 11 СЛАДКАЯ ПАРОЧКА

«Жить дальше» предстояло еще полвека. Из них пятнадцать лет — с Сайри Уэллкам.

Моэма можно понять, когда он хвалит армейскую жизнь, ведь она подчинена приказам и не создает нескончаемых проблем. «Мне, со школьных лет не слышавшему приказаний, — пишет Моэм в книге „Подводя итоги“, — приятно было, что мне велят сделать то-то и то-то, а когда все сделано — знать, что теперь я волен распоряжаться своим временем».

В мирной же, благополучной — слава, почет, богатство — жизни проблем хватало. И по большей части связаны они были с Сайри Уэллкам.

Знакомство с Хэкстоном совпадает по времени с очередной беременностью Сайри. В феврале 1915 года Моэм узнает, что Сайри ждет ребенка, берет отпуск и приезжает из Фландрии в Лондон. Уговаривает подругу не оставлять ребенка — война, мол, продлится еще долго, не до детей. Но уговоры напрасны — Сайри непреклонна.

Тогда возникает вопрос, где рожать, чтобы избежать огласки, ведь Сайри до сих пор замужем. И тогда принимается совместное решение ехать рожать в Рим. Моэм «в своем репертуаре»: перед самыми родами вызывает в Рим миссис Барнардо, мать Сайри, с которой он, кстати сказать, и знакомого не был. Сам же, воспользовавшись тем, что подруга «под присмотром», уезжает недели на две на Капри — развеяться.

В ночь на 1 сентября 1915 года Моэм отвозит Сайри в больницу, ей делают кесарево сечение, и она рождает дочь, которую называет Лиза, не Элизабет, а именно Лиза — именем героини первого романа Моэма «Лиза из Ламбета». Разрешившись от бремени, Сайри была бы вполне счастлива, если бы, спустя несколько дней после родов, врач не сообщил ей, что детей у нее больше не будет. А вот отца счастливым никак не назовешь. Моэм разочарован — он, оказывается, хотел мальчика. Когда у Поля Доттена родится сын, Моэм ему напишет: «Сочинять книги мы все мастера, а вот родить мальчика дано немногим. Мне, например, удалось родить всего лишь дочь, да и то только один раз». К «всего лишь дочери» Моэм потом относился по-разному: реже — нежно, чаще — довольно прохладно, а в конце жизни отношения между отцом и дочерью и вовсе расстроились. И не потому, конечно, что он хотел сына. Не потому, что сомневался, его ли это ребенок; Сайри клялась и божилась, что ребенок у нее от Моэма. А

потому, что, во-первых, вообще не хотел иметь детей, а во-вторых, с самого начала переносил критическое отношение к матери на дочь.

Появление на свет ребенка было, впрочем, далеко не единственной причиной волнений. Не успели Сайри, Моэм и Лиза вернуться из Италии домой, как писатель Моэм — и тоже не без посредства активной, знающей весь Лондон Сайри — временно «переквалифицировался» в Моэма — тайного агента и в конце 1915 года должен был в этом качестве отправиться в нейтральную Швейцарию, о чем мы расскажем позже.

Одновременно с этим Сайри сообщила Моэму, что Генри Уэллкам подает на развод: оказывается, он давно уже нанял частных детективов, которым удалось выяснить (большого труда это, понятно, не составило), что у Сайри все эти годы были любовники. В том числе и предприниматель Гордон Селфридж. В том числе и литератор Сомерсет Моэм.

Моэма эта новость порадовать никак не могла: выступить соотечкиком на бракоразводном процессе в его планы не входило. Еще больше расстроилась Сайри: шутка ли, при ее размахе, запросах и расходах лишиться мужа-миллионера, который на протяжении многих лет обеспечивал ей безбедную жизнь и при этом давно уже на нее не претендовал. Расстроилась настолько, что решила (а вернее, сделала вид, что решила, — это было в ее обыкновении) покончить счеты с жизнью. Ради чего, в самом деле, жить, раз муж подал на развод, Селфридж ее бросил, денег не хватает, да и друг, отец ее ребенка, тоже особой симпатии к ней не питает? Позвонила вечером Моэму, когда тот, ничего не подозревая, спокойно ужинал с приятелем, и дрожащим голосом (видно, сама перепугалась) сообщила, что приняла несколько таблеток веронала. Попытка, как сказали бы суицидологи, была, скорее всего, шантажной, но положение сложилось серьезное, и если бы не очередное вмешательство энергичной и собранной миссис Барнардо, которой Моэм тут же дал знать, еще неизвестно, чем бы дело кончилось.

Сайри без особого труда «откачали», но проблемы с разводом остались, и Моэм, незадолго до отъезда в Швейцарию, решил обратиться за советом к своему приятелю, известному юристу сэру Джорджу Льюису. От Льюиса он узнал об истинном положении дел: когда Сайри и Уэллкам решили жить отдельно, муж согласился выделить на содержание жене не пять тысяч фунтов в год, как утверждала Сайри, а всего 200 фунтов в месяц, то есть в два раза меньше. Что называется, почувствуйте разницу.

Вот какой примечательный разговор состоялся по этому поводу у Моэма с Льюисом в поместье Льюиса в Суссексе.

Льюис: Вы поведете себя как последний болван, если пойдете у нее на

поводу. Вас бессовестно подставили, и вы сделаете глупость, если на ней женитесь. Селфридж с ней порвал, она по уши в долгах. Ей никуда не деться от расплаты, вам же уготована роль ее спасителя.

Моэм (*растерянно*): А что мне еще остается? (Дело в том, что в те времена было принято, что соответчик в деле о разводе обязан жениться на женщине, с которой уличен в связи.)

Льюис: Вы смогли бы дать ей двадцать или тридцать тысяч фунтов?

Моэм: Думаю, смог бы.

Льюис (с раздражением. Начинает терять терпение): Адвокаты Уэллкама сообщили мне, что, если вы на ней не женитесь, он даст ей тысячу в год содержания, так что голодать ей не придется. Скажите, вы хотите на ней жениться?

Моэм: Нет, но если не женюсь, то буду жалеть об этом всю свою жизнь.

Льюис: Тогда говорить больше не о чем.

Моэм женился — и сожалел об этом всю свою жизнь. В отличие от счастливого Ричарда Харенгера, героя своего рассказа «Сокровище», ему не удалось «благополучно проплыть опасный и бурный пролив, именуемый женитьбой, где так много мудрых и хороших людей потерпели крушение»^[56].

Но до свадьбы было еще далеко, а вот до бракоразводного процесса — рукой подать. Уже спустя несколько месяцев, в феврале 1916 года, не успев Моэм вернуться из Швейцарии, где — напомним читателю — выполнял тайную миссию, как он предстал перед судом на процессе с названием, которое ничего хорошего ему не сулило: «Уэллкам против Уэллкама. И Моэм». С первой фразой еще можно было примириться, но вторая никуда не годилась. Спасти доброе имя не удалось: сообщение о процессе появилось во всех лондонских газетах, а в «Дейли кроникл» от 15 февраля имя Моэма склонялось в колонке криминальных новостей наравне с именами предателей родины, убийц, мошенников; рядом с сообщением о таинственном убийстве итальянского дипломата в лондонской гостинице. «Все это крайне меня огорчает и беспокоит, — пишет в это время Моэм брату Фредерику. — Утешаю себя лишь тем, что без подобного печального повода писателю не удалось бы создать что-то по-настоящему значительное...» Утешение в данном случае, прямо скажем, довольно слабое.

Уэллкам, как и предполагалось, предъявил жене обвинение в супружеской неверности; адвокаты Уэллкама представили суду убедительные доказательства того, что в июле 1915 года Сайри и Моэм

провели вместе ночь в отеле в Виндзоре, жили в одной квартире в Риме. Стало известно суду и о беременности Сайри, и о рождении ребенка. После подобных неопровержимых и изобличающих свидетельств не трудно догадаться, что Уэллкам бракоразводный процесс выиграл.

А Моэм вместе с Сайри, соответственно, его проиграл, и теперь, как честный человек, должен на ней жениться — другого выхода, да еще при наличии ребенка, у него просто не было. Моэм, однако, не торопится. Ведь он задумал роман о Гогене и собирается на Таити. Причем не один, а со своим секретарем Хэкстоном. «Мне не хотелось путешествовать в одиночку», — словно между делом напишет он в мемуарах, пытаясь сохранить лицо. Хэкстон же торчит в Чикаго без гроша за душой и только и ждет, говоря словами Бодлера, «приглашения к путешествию».

Когда Сайри с дочерью и няней приезжают к Моэму в Нью-Йорк, откуда он в августе 1916 года собирается сначала в Чикаго за Хэкстоном, потом в Сан-Франциско, а из Сан-Франциско в Гонолулу, — он ставит свою невесту в известность, что попасть на Таити ему «совершенно необходимо». Аргумент, что и говорить, веский: я писатель и еду в интересах своей профессии — что тут возразишь? Но поездка эта, успокаивает невесту Моэм, не займет у него «больше» трех-четырех месяцев, и по возвращении они «обязательно» сыграют свадьбу. Следует объяснение, Сайри закатывает сцену — не первую и не последнюю, но вынуждена подчиниться. Впоследствии фраза Моэма «Не устраивай мне сцены!» станет в их супружеской жизни дежурной. Поездка на Таити заняла у Моэма не три-четыре месяца, как он обещал (хотя вряд ли предполагал), а больше полугода: они с Хэкстоном отплыли только в ноябре, вернулись же «из дальних странствий» лишь в середине апреля уже следующего, 1917 года.

Отступить дальше меж тем некуда, все предлоги и отговорки исчерпаны, и Моэм выезжает из Сан-Франциско в Нью-Йорк, где его терпеливо ждет «без двух минут миссис Моэм». И 26 мая 1917 года в три часа пополудни в муниципалитете Джерси-Сити, в присутствии шафера, уже знакомого нам американского драматурга Неда Шелдона (Шелдон, к слову, очень уговаривал Моэма жениться на «матери своего ребенка»), мировой судья скрепил печатью брачные узы «молодых» — 43-летнего Сомерсета Моэма и 37-летней Сайри Барнардо. «Помню, как стою рядом со своей невестой, — рассказывал впоследствии Моэм Гэрсону Кэнину. — Перед тем как поженить нас, судья оштрафовал какого-то пьяницу, а после нас вынес обвинительное заключение еще одному, такому же. Моей свадьбе не хватало не только чувства, но, что важнее, — очарования». Ни

того ни другого — добавим от себя — не будет у жениха с невестой и в совместной жизни.

Зарегистрированный мировым судьей Джерси-Сити брак был, что называется, «браком взаимной выгоды» («marriage of convenience»). Моэм знал о бурном прошлом Сайри и о ее многочисленных любовниках; Сайри — о нестандартной сексуальной ориентации мужа и его сожителях, в частности о Джералде Хэкстоне. Сайри нужен был отец для ее ребенка, тем более такой, как Моэм, — человек известный и богатый; Моэму — энергичная светская дама, знавшая всё и всех. Сайри определенно любила мужа, хотя ему как гомосексуалисту могло быть и нелегко удовлетворить ее повышенные сексуальные потребности. Любила и очень высоко ставила. Рассказывают, что когда светский знакомый Сайри лорд Ловот однажды полез к ней в такси целоваться, Сайри якобы сказала ему: «Только, пожалуйста, ничего не говорите! Ничего не говорите! Тогда мне будет казаться, что вы — Уилли!»

А вот Моэм жену терпеть не мог (и не скрывал этого), боялся ее, подозревал в сплетнях и интригах против себя, жаловался, что она плохо воспитывает дочь, с трудом переносил встречи с ней, которые с каждым годом становились все реже, говорил даже, что, прежде чем увидеть Сайри, ему необходимо сильно напиться. После развода виделся с ней считанные разы, да и то по необходимости — свадьба дочери, например. Когда же Сайри умерла, горьких чувств не испытывал, себя, как в таких случаях бывает, не корил, а со всей чистосердечностью в одном из писем заявил: «С моей стороны было бы лицемерием делать вид, что я опечален смертью Сайри. С самого начала она доставляла мне сплошные неприятности». Очевидцы рассказывают, что Моэм узнал о смерти жены у себя на вилле, в это время он раскладывал пасьянс. «Моэм положил на стол колоду карт, — вспоминал один из гостей, — и принялся весело отбивать пальцами дробь по столу, напевая: „Тра-ля-ля. С алиментами покончено. Тра-ля-ля“».

Тем более странно читать его письмо из Шанхая Дилли Флеминг, датированное 3 января 1920 года, где он учит свою юную приятельницу, которая разводится с мужем, терпимости и рассудительности. «Вы что, и в самом деле решили, что Ваш брак неудачен? В замужней жизни бывает, что все настолько плохо, что, кажется, готов пойти на любые условия, лишь бы разорвать отношения. Не следует, однако, торопить события, проходит какое-то время, и вдруг замечаешь, что жизнь входит в прежнюю колею, успокаиваешься, делаешь скидку на обстоятельства...» Не по этому ли поводу сказано в Евангелии от Матфея: «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь?»?

Бревна в своем глазу Моэм и правда не чувствовал, никаких скидок на обстоятельства делать не желал. Женился он не по любви, а из страха: брак был ему нужен в качестве «фасада респектабельности», за которым он продолжал бы оставаться гомосексуалистом. Нельзя, впрочем, исключить, что Сайри шантажировала Моэма, грозила рассказать «городу и миру» про Хэкстона и не только про Хэкстона, и таким образом брак ему навязала. Задача же Моэма, ради которой он согласился на женитьбу, состояла в первую очередь в том, чтобы любой ценой скрыть связь с Хэкстоном, как и вообще свои мужеложеские наклонности. С точки зрения Моэма, Сайри условия их «социального контракта» не выполняла: откровенно ревновала мужа к его секретарю, устраивала сцены, была недовольна его постоянными отлучками — если «отлучкой» можно назвать полугодовое отсутствие. То, что Сайри и Лиза могли без него скучать, ему едва ли приходило в голову.

Сайри можно понять. Последовавший за заключением брака медовый месяц в коттедже отеля на Лонг-Айленде продолжался немногим больше трех недель, после чего супруги виделись, что называется, от случая к случаю; для Моэма находиться вдали от жены на протяжении двенадцати лет брака было в порядке вещей; для Моэма, но не для Сайри. Во время медового месяца на Лонг-Айленде Сайри и помыслить не могла, что июлем 1917 года и четырьмя месяцами 1918-го, когда Моэм, будто истинный семьянин, проживет, работая над романом «Луна и грош», с женой и дочерью «на природе» в графстве Суррей, их совместная жизнь, по существу, ограничится.

Действительно, двенадцать лет брака Моэм провел в длительных поездках. С ноября 1916 года по апрель 1917-го, как уже говорилось, Моэм с Хэкстоном путешествуют по Гавайскому архипелагу — Сайри, правда, была тогда еще невестой. С конца июля по октябрь 1917 года Моэм находится в России стайной миссией. С конца 1917 года по май 1918-го и с октября 1918-го по январь 1919-го Моэм лечится от туберкулеза в санатории в Северной Шотландии. С августа 1919 года по апрель 1920-го Моэм с Хэкстоном путешествуют по Китаю. С февраля 1921 года по январь 1922-го Моэм с Хэкстоном и своим американским другом брокером Бертрамом Алансоном вновь путешествуют по Малайскому архипелагу и Австралии. С сентября 1922 года по апрель 1923-го Моэм с Хэкстоном путешествуют по Индокитаю — Бирма, Таиланд, Камбоджа.

С сентября 1924 года по март 1925-го Моэм и Хэкстон путешествуют по Центральной и Южной Америке и Карибскому бассейну. С октября 1925 года по март 1926-го Моэм вновь путешествует вместе с Хэкстоном по

Юго-Восточной Азии.

Такая вот хронология «счастливой семейной жизни». «Счастливой семейной жизни» в кавычках — Моэма и Сайри, без кавычек — Моэма и Хэкстона. Моэм любил рассказывать историю о том, как он однажды, после многомесячного отсутствия в Англии, отправился по обыкновению в свой клуб «Бат» и в курительной встретил старого знакомого. «Привет, Моэм, — обратился к нему этот сидевший у камина седовласый джентльмен, — что-то вас последнее время не видно. Уезжали, должно быть, на уик-энд в Брайтон?»

В те редкие месяцы и недели, когда Моэм в сопровождении Хэкстона не бороздил океаны, супруги пытались жить на два дома. То в доме Сайри в Риджентс-парке, том самом, где они некогда танцевали до утра, то в доме Моэма на Честерфилд-стрит; особняк в Риджентс-парке Моэм не любил, так как в свое время он был подарен Сайри Селфриджем. Затем Сайри продала свой дом в Риджентс-парке, переехала к Моэму на Честерфилд-стрит и заняла его рабочий кабинет, превратив его в свою спальню — кабинет из-за многомесячных разъездов хозяина все равно пустовал. А в 1926 году супруги разъехались, жили врозь, так сказать, официально. Сайри — или в Нью-Йорке, или в Лондоне, на Кингз-Роуд, в Челси, или на вилле «Maison d'Elize» в Ле Туке, на морском курорте на севере Франции, неподалеку от тех мест, где бросал якорь паром Кале-Дувр. Между прочим, именно здесь, на вилле «Дом Лизы», где имелись площадки для гольфа и даже собственное казино, Хэкстон однажды проявил себя «во всем блеске»: выиграв в рулетку много денег, по обыкновению напился, всю ночь буянил, а под утро заснул в чем мать родила на полу в спальне, обсыпанный тысячефранковыми банкнотами...

Моэм же тем временем переехал с Честерфилд-стрит на Уиндэм-плейс и купил виллу «Мавританка» на Лазурном Берегу, на мысе Ферра, между Ниццей и Монте-Карло, и в августе 1927 года перебрался туда вместе с Хэкстоном на постоянное жительство — напомним, что в Англию секретарю Моэма путь был заказан, там он являлся персоной нон-грата.

«Персоной нон-грата» был Хэкстон, естественно, и для Сайри. Она его люто ненавидела, считала своим главным врагом и соперником, что следует хотя бы из ее письма журналисту, их общему с Моэмом приятелю Биверли Николзу. Письмо это представляет собой темпераментный монолог нелюбимой, ревнующей и обиженной жены. Приведем его здесь с незначительными сокращениями — в нем многолетний *ménage à trois* проявился лучше некуда.

«...И дело не только в сексе, дорогой Биверли, — пишет Сайри. — Что

касается секса... если брак разрушен, какое, в конце концов, имеет значение, кто его разрушил, женщина или мужчина?.. Что меня действительно выводит из себя, отчего моя жизнь становится совершенно невыносимой, — так это то, что Джералд — лжец, обманщик и проходимец... Никто не станет отрицать, что Джералд необычайно обаятелен... Он мил, ничего не скажешь, что не мешает ему беспробудно пить, врать по любому поводу, да и на руку он нечист: любой мало-мальски разумный человек ни за что не оставит свой кошелек в комнате, где находится Джералд. Да, он привлекателен, и не только внешне, хотя и внешне тоже: все мы знаем, такой, как он, если надо, даже с гиеной в постель ляжет. Конечно же этот человек вызывает у меня отвращение, я не могу смириться с мыслью, что Лиза вынуждена расти в такой обстановке, хотя я прекрасно понимаю: рано или поздно бедной крошке все равно придется столкнуться с правдой жизни. Будь Джералд другим человеком, я бы сумела смотреть на происходящее сквозь пальцы. С чем я никак не могу примириться, так это с жутким психологическим давлением, которое он оказывает на Уилли. В свое время я подавала бедному Уилли массу идей... он даже читал мне вслух свои рассказы, говорил, что от чтения вслух меньше заикается. Теперь же, стоит мне поделиться с ним какой-то идеей, как она гибнет на корню, в зародыше. И губит ее Джералд. Если я покупаю картину, кто говорит, что она никуда не годится? — Джералд. Если я обставляю комнату, кто утверждает, что обстановка дешева и вульгарна? — Джералд. Если я завожу новых друзей, кто настраивает против них Уилли? — Джералд, кто ж еще. Он всю жизнь посвятил тому, чтобы меня не было... не было... не было».

Супруги договариваются ездить друг к другу в гости: Моэм к Сайри — в Нью-Йорк, или в Лондон, или в Ле Туке, на виллу «Дом Лизы». Сайри к Моэму — на Лазурный Берег. Договариваются, но ездят редко, Сайри была у Моэма на Лазурном Берегу всего единожды, Моэм же у Сайри в Ле Туке — считанные разы. Моэма такая «дислокальная» жизнь вполне устраивает. «У нас с женой все отлично устроилось, — пишет он Бертраму Алансону. — У нее дом в Лондоне, у меня — на Ривьере, и мы будем, когда нас обоих это устроит, ездить друг к другу в гости. Думаю, и для нее, и для меня такой выход — наилучший. Мне же это даст возможность, в которой я так нуждаюсь, трудиться в свое удовольствие и ни на что не отвлекаться...»

Зато Моэм и Хэкстон все эти годы, да и последующие, были неразлучны: сегодня по новым законам в некоторых странах их вполне могли бы обвенчать в церкви. Моэмы же, законные муж и жена, за двенадцать лет брака прожили вместе едва ли несколько месяцев, и на

основании приведенной выше хронологии этого, выражаясь по-научному, «дислокального» брака развел бы их любой суд. Что, собственно, и произошло — правда, лишь в 1929 году.

А в 1923-м Сайри на пятом десятке находит свое дело в жизни. И вполне преуспевает. С юных лет интересуясь интерьерами и антиквариатом, отличаясь отменным вкусом, огромной энергией и распорядительностью, она открывает в самом центре Лондона, на Бейкер-стрит, небольшой магазин, торгует мебелью, обстановкой, ходит по аукционам и антикварным лавкам, где за бесценок скупает разрозненные предметы, а потом продает их с изрядной для себя выгодой. Начинает же с распродажи мебели из своего дома в Риджентс-парке. «Думаю, я должен предупредить вас, леди и джентльмены, — невесело шутит, принимая в Риджентс-парке гостей, Моэм, — чтобы вы покрепче держались за ваши стулья. Они почти наверняка уже проданы». Основания для этой невеселой шутки у Моэма были: сколько раз по возвращении из путешествий он не узнавал своего дома: мебель в его отсутствие либо продавалась, либо заменялась, либо — в лучшем случае — переставлялась.

Очень скоро Сайри становится модной художницей по интерьерам или, говоря сегодняшним языком, — дизайнером. Ее дела идут настолько успешно, что она может себе позволить, продав небольшой магазин на Бейкер-стрит, арендовать просторное помещение на престижной Гроснорсквер. Ее репутация столь высока, что заказы на оформление домов и квартир начинают поступать и из Соединенных Штатов. Она регулярно появляется на страницах журнала «Вог» как арбитр вкуса: «Было бы ошибкой считать Сайри Моэм всего лишь даровитой художницей по интерьерам. Она еще и превосходная хозяйка; вот два ее новых рецепта: „блины с морским окунем“ и „жареный в сахаре миндаль“». Ее фирменный стиль — «белое на белом» — важная примета ар-деко, он востребован по обе стороны Атлантики, магазины и салоны интерьеров Сайри Моэм открываются и в Лондоне, и в Нью-Йорке, где она бывает с каждым годом все чаще. «Белый стиль» — белые стены, белые шторы, белые ковры, белые диваны, белые кресла — считался в середине 1920-х годов последним криком моды. «С мощью сокрушительного тайфуна она сдула с лица земли все цвета, кроме белого, — писал про ее интерьеры известный кутюрье Сесил Битон. — В течение десяти лет она обесцвечивала, протравляла, скоблила всю мебель, которая только попадалась ей на глаза. Полы цвета яичной скорлупы застилались белыми коврами из овчины, а вплотную к широченным белым диванам приставлялись неприметные, низкие белые столы; белые страусиные и павлиньи перья вставлялись в

белые вазы, стоявшие на фоне белых стен».

Довольно скоро, впрочем, у Сайри началось «головокружение от успехов»: она далеко не всегда вовремя выполняет условия контрактов, за что однажды чудом избежала суда, всюду опаздывает, нередко подводит партнеров, вечно что-то забывает, постоянно все теряет — экземпляры договоров, билеты в театр или на пароход. Вместе с тем, при всей своей безалаберности, билеты в театр она потерять могла, но вот голову — никогда. Сумочку или зонтик в такси забывала, но выгоду — ни за что. Она умела уговорить и заговорить клиента — и, как правило, добивалась своего. Если же чувствовала, что ее «приперли к стенке», то вела себя в высшей степени благоразумно: получив письмо от адвоката недовольного клиента, неизменно возвращала уплаченные ей деньги, принимала обратно подделку, которую выдала было за подлинный антиквариат. Типична в этом отношении история с нефритовыми бусами, которую приводит Моэм в своих мемуарах «Вглядываясь в прошлое».

«— Что случилось? — спросил я.

Она расплакалась:

— Я потеряла свои нефритовые бусы. Они были на мне. Я рассматривала шелка в Лувре, было очень много народу, и внезапно я обнаружила, что бус нет. Могу только догадываться, что, пока я была так поглощена этими шелками, какому-то проходимцу удалось их с меня стянуть.

— Мне очень жаль, — сказал я. Мне правда было очень жаль, вещь и в самом деле была прекрасная — единственная в своем роде.

— Хорошо, что ты застрахована, — сказал я.

Страховая компания выплатила Сайри положенную сумму, а год спустя сотрудник этой страховой компании гулял по Рю де ля Пэ в Париже. Первое, что он увидел, остановившись перед витриной ювелирного магазина, были те самые нефритовые бусы. Он зашел в магазин и спросил продавца, откуда у них эти бусы, и продавец ответил, что нефритовые бусы продала им госпожа Моэм»^[57].

Сайри вполне могла попасть в тюрьму, но, к счастью, сотрудники страховой компании, привыкшие, должно быть, к бесчестным поступкам эксцентричных светских дам, согласились не давать делу ход при условии, что страховая сумма будет возвращена. И она, разумеется, была возвращена.

Отличалась Сайри и еще одним завидным для бизнесмена качеством: она знала подход к людям. Вот, например, если верить одной из ее биографий, как она вела себя на таможне.

Таможенник: Есть ли у вас вещи, подлежащие обложению, мэ́м?

Сайри (*с энтузиазмом*): О да, и очень много. Но, видите ли, мне, собственно, они не нужны. Наши друзья за границей по доброте душевной расщедрились и массу мне всего надарили. Вот только вкус у них, к несчастью, хромает. Они вечно дарят мне вещи, которыми я при всем желании воспользоваться не могу. Откройте, к примеру, вон тот сверток. Что прикажете делать с этими ужасающими вещами?! (после многозначительной паузы) Скажите, а может, эти вещигодились бы вашей жене, сэ́р? Или же кому-нибудь из ваших друзей?

О Сайри Барнардо-Уэллкам-Моэм написано много. В одних биографиях она беззаботна, безответственна, при этом хитра, дальновидна, себе на уме, а бывает, и нечиста на руку. Зато в других — Сайри теплый, благородный человек, который любит жизнь и своих друзей. «Эта женщина исключительного радушия и обаяния, ее отличали безупречный вкус и вдохновение, — вспоминает прозаик и фельетонист, друг Моэма Годфри Уинн. — Есть люди, которые дают, а есть, которые берут. Так вот, Сайри относится к дающим». «Она была исключительно талантливым, оригинальным и интересным человеком, — вторит Уинну критик и прозаик Ребекка Уэст. — Ее энергия, стремительность, подвижность сродни колибри, которая вечно куда-то рвется».

Между этими взглядами на жену Моэма нет, в сущности, никакого противоречия: беззаботность и безответственность прекрасно ведь уживаются с радушием и вдохновением, хитрость и дальновидность — с талантом и оригинальностью. Как и во всяком человеке, в Сайри «намешано» всякое, и точнее всего об этом написал тот, кто знал ее не в пример лучше Годфри Уинна или Ребекки Уэст, — Уильям Сомерсет Моэм. Верно, Моэм считал жену мегерой, обманщицей, сплетницей и — не без оснований — истеричкой. В итоговой книге «Вглядываясь в прошлое», печатавшейся в «Санди экспресс» через много лет после смерти Сайри, Моэм ухитрился не сказать о покойной жене ни одного доброго слова: снобка, интриганка, сплетница, эгоистка, лгунья, развратница. Поневоле вспоминается реплика Стрикленда из романа «Луна и грош»: «Черт бы побрал мою жену! Она достойная женщина, но я бы предпочел, чтобы она была в аду». Писатель вспоминает, какие сцены Сайри закатывала ему по ночам, и как потом, наутро, когда Моэм садился за работу, — он писал тогда свою лучшую пьесу «Круг», — перед ним извинялась; как и всякая истеричка, была отходчива: «Забавно, что „Круг“ считается твоей лучшей пьесой. Я не слишком-то хорошо с тобой вчера обошлась, когда ты ее

писал»^[58].

Он стыдился и боялся ее. Когда Сайри летом 1955 года умерла, Моэм, говорят, радовался, что не должен впредь ее содержать, писал своей близкой приятельнице Барбаре Бэк: «С моей стороны было бы лицемерием делать вид, что я опечален смертью Сайри. Она с самого начала и всю жизнь мучила меня. Мне говорили, что она надеялась меня пережить. Интересно, приходило ли ей в голову, когда она оглядывалась назад, во что она превратила свою жизнь». Верно, Моэм не любил жену, стыдился ее и обвинял во всех смертных грехах, однако в чем-то, надо признать, отдавал ей должное.

«Но возьмем, к примеру, Х. (то бишь, Сайри), — читаем в его „Записных книжках“ за 1922 год. — Она ведь не просто лгунья, она дня прожить не может, не сочинив очередных злобных, ни на чем не основанных небылиц, и рассказывает их так убедительно, в таких подробностях, что невольно думаешь: а ведь она сама в них верит. У нее железная хватка, она не задумываясь пойдет на любую уловку, лишь бы добиться своего. Стремясь пробиться в общество, она нагло навязывает свое знакомство людям, которые наверняка предпочли бы этим знакомством пренебречь. Х. страшно честолюбива, но в силу своей ограниченности довольствуется второразрядной добычей: обыкновенно ей достаются секретари влиятельных людей, а не сами великие мира сего. Она мстительна, ревнива и завистлива. Вздорна и неуживчива. Тщеславна, вульгарна и хвастлива. В этой женщине много по-настоящему дурного. При этом она умна. Обаятельна. Обладает изысканным вкусом. Она великодушна и способна потратить все свои деньги до последнего гроша с тою же легкостью, с какой тратит чужие. Хлебосольная хозяйка, она радуется, доставляя удовольствие гостям. Ее глубоко трогает любая любовная история, она не пожалеет сил, пытаясь облегчить бедственное положение людей, до которых ей в общем-то нет никакого дела. Если кто заболит, она будет самой образцовой и преданной сиделкой. Она веселый и приятный собеседник. Ее самый большой дар — способность сочувствовать другим. Она с искренним состраданием выслушает ваши жалобы на превратности судьбы и с непритворным добросердечием постарается их облегчить или поможет нести их бремя. Она проявит подлинный интерес ко всем вашим делам, вместе с вами порадуетесь вашему успеху и разделит горечь неудачи. Есть в ней, стало быть, и истинная доброта. Она отвратительна и мила, алчна и щедра, жестока и добра, злобна и великодушна, эгоистична и бескорыстна. Каким же образом может писатель свести эти несовместимые черты в единое гармоничное

целое, создавая достоверный образ?»^[59]

Сам Моэм, к слову, любил, создавая достоверный образ, «свести несовместимые черты в единое гармоничное целое». Иногда получалось, иногда — нет.

Про отношения между супругами рассказать осталось немного. С середины 1920-х годов они, как уже говорилось, живут не только в разных домах, но и в разных странах. Моэм, главным образом, — на Лазурном Берегу, Сайри — в Лондоне или в Нью-Йорке, где ее интерьеры пользуются повышенным спросом. Каждый живет своей жизнью. Моэм не расстается с Хэкстоном, который перебирается из Америки в Европу, живет если не на вилле Моэма, то либо в Париже, либо в Италии, на мыс Ферра готов выехать в любой момент. Сайри заводит не только собственное дело, но и любовника, и не одного, а сразу двоих; Моэм знает обоих и об обоих мнения весьма невысокого. Когда один из ее любовников, француз из Канн, с ней порывает, она вновь, уже во второй раз, пытается покончить с собой — выбрасывается из окна мезонина, но, по счастью, отделяется лишь сломанными запястьями.

Супруги не слишком считаются друг с другом: по возвращении в Англию из очередной поездки по Юго-Восточной Азии Моэм получает письмо от секретаря Сайри, в котором тот сообщает, что Сайри сдала их общий дом на Брайенстон-сквер и жильцы съедут только через две недели, никак не раньше. Моэм возмущен, еще бы: в Лондоне ему негде остановиться, но ведь и Сайри можно понять: в доме месяцами никто не живет — не пропадать же «добру»...

Летом 1928 года Сайри пишет мужу письмо, в котором, как всегда, выясняет с ним отношения, хотя выяснять давно уже нечего, и грозит — точнее было бы сказать, шантажирует — разводом. Письмо это не сохранилось — нам оно, во всяком случае, неизвестно, но судя по ответу на него Моэма, письмо Сайри полно жалоб, увещаний и стандартных упреков типа: «Я тебя люблю, а вот ты меня нет». Жалобы — это то, что раздражает Моэма больше всего. «Надеюсь, в мое отсутствие она (Сайри. — А. Л.) перестанет жаловаться на меня всем своим друзьям, которые, надо полагать, уже сильно притомились от ее жалоб, — едва скрывая раздражение, пишет Моэм своему приятелю, драматургу Эдварду Ноблоку. — Буду Вам признателен, если Вы напомните ей, что достаточно одного ее слова, и я готов буду незамедлительно дать ей развод. Перемениться я не могу, и ей придется либо жить со мной таким, какой я есть, либо собраться с силами и наши отношения разорвать».

На письмо жены Моэм отвечает многостраничным и

небезынтересным ответом. В этом довольно резком (несмотря на обилие ласковых слов) письме отношения супругов предстают как на ладони. Вот это письмо в весьма красноречивых отрывках:

«Совершенно очевидно, что с тех пор, как мы поженились, ни один из нас не был счастливым...»

«Не хочу поминать прошлое, но ты, конечно, не забыла обстоятельства, при которых мы поженились. Я полагаю, при таких обстоятельствах ты должна быть более чем признательна, если муж внимателен, заботлив, добр и расположен к тебе; но, право же, ждать от него страстной любви не стоит».

«Я знал, что ты любишь меня, но чувствовал, что любишь скорее ради себя, чем ради меня. Тебя мало заботили мои интересы, мое благо и счастье».

«Я женился на тебе потому, что считал, что так будет лучше для тебя, но вовсе не потому, что любил тебя, и ты это прекрасно знала».

«Почему же сейчас ты мучаешь меня упреками, что я тебя не люблю?.. У меня просто нет больше сил вести несчастную жизнь, полную сцен и жалоб. Когда ты выходила за меня замуж, ты же это ясно видела и принимала».

«Когда я вспоминаю все эти годы, мне видится женщина, которая постоянно требует и никогда, никогда не бывает довольна тем, что есть».

«Никто никогда не жаловался на меня, не придирался ко мне и не преследовал меня так, как ты».

«Эта твоя поглощенность собственной персоной, дорогая моя, — какое же это мученье и для тебя самой и для всех, кто тебя окружает».

«Я путешествую в поисках идей, а когда мы ездим вместе, никакие идеи мне в голову не приходят... К сожалению, твое присутствие мешает мне впитывать впечатления».

«Тебе не хватало самого главного — интереса к интеллектуальным и духовным материям, и твое притворство было всем заметно».

«Понимаешь, у тебя нет душевной опоры внутри себя... Поскольку у тебя нет собственных душевных запасов, ты стремишься использовать мои...»

«Почему бы тебе не вести привычную тебе жизнь и дать мне возможность жить моей жизнью?»

«По сути дела, тебя только на то и хватает, чтобы красоваться в живописных нарядах. Не маловато ли?»

«Да, ты даришь мне привязанность, но всегда ожидаешь чего-то взамен; это для тебя товар, за который ты намерена получить подобающее

вознаграждение».

«Теперь для нас есть только два пути. Либо ты принимаешь — мирно и без сцен — мое желание быть от тебя свободным, то есть приходиться и уходить, когда захочу, на столько, на сколько захочу, и так часто, как захочу. Либо мы расходимся»^[60].

Письмо это, даже притом что привели мы его в отрывках, едва ли нуждается в комментариях. Число минусов в брачном союзе мистера и миссис Сомерсет Моэм намного превышает число плюсов, это совершенно очевидно. Жена видится Моэму истеричной, требовательной, неблагодарной, бездуховной, надежд на то, что их отношения переменятся в лучшую сторону, у него нет никаких. С Сайри, кстати сказать, он пишет немало женских образов — в основном резко отрицательных, в «Записных книжках» он нередко набрасывает сюжеты, в основе которых лежит его неудачная супружеская жизнь. Например такой: «Супружеская чета. Она обожала его себялюбиво, пламенно, преданно. Их жизнь была борьбой. Он защищал свою душу, она стремилась завладеть ею. Потом у него обнаружили туберкулез. Оба понимали, что теперь победа за ней, отныне ему от нее не спастись. Он покончил жизнь самоубийством»^[61]. Самоубийством Моэм жизнь не покончил, от жены, в конце концов, спасся, да и туберкулез у него обнаружили много раньше женитьбы. Любопытнее другое: эта запись сделана Моэмом в 1919 году, всего через два года после свадьбы, когда отношения супругов еще не зашли в тупик.

Отозваться хочется, пожалуй, лишь на последний пассаж послания Моэма жене — оно не только ультимативно, но и абсолютно парадоксально. Ведь, в сущности, Моэм готов продолжать *совместную* жизнь с женой при условии, что она, эта жизнь, *не будет совместной*: «Мое требование свободы приходиться и уходить, когда я хочу...» Ничего удивительного, что ответ на такое письмо мог быть только один — развод.

И годом позже, 11 мая 1929-го, спустя двенадцать лет без двух недель после свадьбы, во Дворце правосудия Ниццы подводится черта под «совместной» жизнью Сомерсета и Сайри Моэм. Разводу по причине «семейной несовместимости» предшествовала забавная история, очень точно характеризующая отношения между супругами. В июле 1927 года Моэм находится в недавно купленном особняке «Вилла Мореск» («Мавританка») на мысе Ферра. Дом в это время перестраивается, но Моэм уже в нем живет и руководит работами. Совершенно случайно он узнает, что Сайри, оказывается, в Антибах — гостит у своей давней подруги Элси Мендл. Моэм пишет жене записку, приглашает пообедать и заодно

осмотреть дом — в свое время покупка «Мавританки» не вызвала у Сайри большого энтузиазма. Сайри отвечает, что приедет, назначает день, Моэм высылает за ней машину, супруги обедают, Моэм устраивает Сайри (она первая посетительница дома) экскурсию, показывает свою превосходную коллекцию картин. Ей все нравится, она возвращается в Антибы, а через час от нее приходит записка, в которой говорится, что она хочет с Моэмом развестись и надеется, что он не станет этому препятствовать. Записка явилась для Моэма полнейшей неожиданностью, причем неожиданностью малоприятной (ведь Моэма «треугольник», в отличие от Сайри, вполне устраивал), однако препятствовать предложению развестись он, как читатель догадывается, не стал. Кстати, о «треугольнике». И после развода Сайри не упускала случая рассказывать всем и каждому про гомосексуальные пристрастия бывшего мужа, Лизе же, тогда еще подростку, в «Мавританке» бывать строго-настрога запретила, и Лиза материнским запретом пренебрегла лишь в 1930-е годы, перед свадьбой.

Арифметическая составляющая бракоразводного контракта для такого зажиточного человека, как Моэм, не катастрофична, хотя конечно же прискорбна. По решению суда Моэм обязуется выплатить экс-миссис Моэм одновременно 12 тысяч фунтов, плюс выплачивать 2400 фунтов ежегодно, если Сайри не вступит в новый брак, плюс отдает ей полностью обставленный дом в Челси на Кингз-Роуд и «роллс-ройс» в придачу, плюс выплачивает 600 фунтов ежегодно — на обеспечение дочери Лизы.

О Лизе. В письме Моэма к Сайри, отрывки из которого мы приводим, упоминается и дочь Лиза, которой в год развода родителей исполнилось четырнадцать лет. «Я почти ничего не сказал о нашей дочери Элизабет, — пишет Моэм, — но ты ведь знаешь, я постоянно о ней думаю, знаешь, как много я сделал в последние годы ради ее блага. Ради ее блага, но и ради нас обоих я желал бы продолжать нашу совместную жизнь, если только ты захочешь пойти мне навстречу». Моэм дает понять, что ради блага дочери готов и дальше мучиться? Так что же сделал отец «ради блага» дочери, находясь большую часть года от нее и от ее матери на расстоянии десятков тысяч миль? Известно, однако, что те немногие недели и месяцы, которые Моэм жил в Лондоне «домашним кругом», он регулярно уделял дочери полчаса времени между бриджем в клубе «Дэвид Гаррик» и очередной театральной премьерой и «ради ее блага» читал ей на ночь сказку или играл с ней «в поезд».

Когда дочь выросла, ситуация не претерпела существенных изменений. Лиза вспоминает, что между 1927 годом (ей — двенадцать) и 1936-м (ей — двадцать один, и она собирается замуж) с отцом она

встречалась не чаще раза в год — либо на Лазурном Берегу, либо в «Клариджес», на ленче. «Я его толком не знаю, — как-то призналась она. И уточнила: — Совсем не знаю». Моэм, со своей стороны, тоже плохо знал собственную дочь, зато хорошо знал: все, что в ней есть плохого, — от матери. «Лиза никогда не проявляла интереса к тому, чтобы себя содержать, — сокрушается он. — И виновата в этом ее мать. Эту глупую женщину всегда занимало только одно — социальное положение. Она всегда была снобкой. Это она научила Лизу интересоваться только одним — как бы повыгоднее выскочить замуж. Сайри я обвиняю не только в том, чего из-за нее в жизни лишился я, но и в том, чего по ее вине лишена Лиза». Как и ее мать, Лиза, с точки зрения Моэма, слишком легко тратила деньги. Как-то писатель задал дочери вопрос, как бы она поступила, если бы пригласила к ужину много гостей, а повар куда-то подевался. «Очень просто, — последовал ответ. — Я бы всех повела в ресторан». Во время войны, когда отец и дочь одно лето жили вместе в Лос-Анджелесе, в Беверли-Хиллз, Лиза в шутку попросила отца, чтобы тот написал про нее рассказ. «Сомневаюсь, чтобы он тебе понравился», — отозвался Моэм.

На вопрос Гэрсона Кэнина, был ли Моэм хорошим отцом, тот, против обыкновения, ответил довольно откровенно: «Клянусь, я делал все возможное, чтобы быть ей хорошим отцом. Вернее так: я был хорош настолько, насколько мне позволяли обстоятельства и она сама. Я всегда помогал ей и ее детям, когда это было необходимо. Я никогда не требовал от нее ни послушания, ни лояльности. И все же я люблю ее. Но учтите, она всегда жила сама по себе, и я всегда считал, что ее мать оказывает на нее дурное влияние». То есть любил бы, если б не жила сама по себе и если б ее мать не оказывала на нее дурное влияние. Смысл моэмовского ответа: дочь и мать — одна сатана, а потому не ждите от меня слишком многого. При этом кое-что из сказанного Кэнину соответствует действительности. Лиза, как и ее мать, в самом деле жила «сама по себе» и в отце особенно не нуждалась. Ни обстоятельства, ни сама Лиза — сначала жена состоятельного дипломата, затем лорда, — как правило, не требовали от Моэма ни нежных отцовских чувств, ни существенной финансовой помощи, что часто одно и то же.

Под конец жизни Моэм, находясь, правда, не в себе, попытался лишить дочь наследства, о чем мы еще расскажем. Под свое в целом довольно равнодушное отношение к Лизе («И все же я люблю ее») он даже подвел «теоретическую базу». «Считаю, — не раз повторял Моэм, — что детям только лучше, если они не обременены избытком родительской любви». Если в сказанном есть хотя бы доля здравого смысла, то Лиза Моэм была

счастливейшей из дочерей.

Глава 12 **ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ «МОМ»^[62], ИЛИ КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ**

Прежде чем приступить к рассказу о Моэме — тайном агенте и путешественнике, нарушим хронологическую последовательность нашего повествования, забежим вперед и присоединимся к экскурсии по вилле «Мавританка», которую летом 1927 года совершили мистер и миссис Уильям Сомерсет Моэм.

На Лазурном Берегу, по пути из Вильфранш в Больё-сюр-Мер, на полпути между Ниццей и Монте-Карло, находится живописный мыс Сен-Жан Ферра, который за шестьдесят лет до Моэма приобрел бельгийский король Леопольд II, проживший на Сен-Жан Ферра больше сорока лет, с 1865 по 1909 год. Любвеобильный монарх окружил дворец тремя виллами, построенными для трех своих любовниц — по размаху и роскоши виллы строго соответствовали статусу любовниц и силе монаршей страсти. А затем, ощутив к старости, что приближается расплата за грехи, в 1906 году возвел еще одну, четвертую виллу, предназначавшуюся для своего личного духовника монсеньора Шарметона. Находилась вилла епископа в непосредственной близости от апартаментов одряхлевшего Леопольда: в отпущении грехов не только любвеобильный, но и богобоязненный монарх нуждался теперь куда больше, чем в любовных уладах. А поскольку епископ многие годы верой и правдой служил Господу в Алжире, построена была четвертая вилла в мавританском стиле, с башенками, куполом, колоннами и минаретом, отчего и стала называться «Вилла Мореск», то есть вилла «Мавританка».

На «Мавританку» и пал выбор Моэма, когда он после истории со сдачей в аренду дома на Брайенстон-сквер оказался без крыши — лондонской, по крайней мере, — над головой и принял решение приобрести дом на юге Франции. Весной 1927 года Моэм и Хэкстон, остановившись в отеле «Резерв де Больё», в течение марта и апреля в поисках дома разъезжали по Французской Ривьере, пока писатель не присмотрел «Виллу Мореск». Не торгуясь, он выложил за нее 48 500 долларов (сегодня — сумму смехотворную; после войны вилла уже оценивалась в два миллиона) и нанял архитектора Анри Делмотта перестроить мавританскую виллу «под себя». Должно быть, Моэм так

любил «Мавританку» именно потому, что перестраивал ее, сообразуясь со своими вкусами и привычками, все придумал сам и сумел, уничтожив прихотливый барочный дизайн («барочные ужасы»), сделать здание простым, удобным для жизни и функциональным. «Этот дом, — сказал как-то Гэрсону Кэнину Моэм, — мой второй ребенок. Когда я купил его, он был не менее уродлив, чем всякий новорожденный, но сейчас, видите, он подрос и смотрится молодцом». К этому следовало бы добавить, что сказано это было уже после войны, когда вилле сильно досталось — и не только от «своих», но и от «чужих», о чем еще будет сказано.

Сайри, побывавшая — первый и последний раз — в «Мавританке» в июле, была первой посетительницей, по достоинству оценившей совместный творческий вклад архитектора и нового хозяина «Виллы Мореск». Мы уже говорили, что, вернувшись в Антибы после экскурсии по «Мавританке», она незамедлительно отправила мужу с шофером записку с предложением развестись — и ее можно понять: в перестроенной вилле ее присутствие не предусматривалось, и это было первое, что бросалось в глаза.

В глаза, впрочем, бросалось и многое другое. Дом и сад поражали воображение даже тех, кого поразить было непросто. С вившейся среди скал подъездной аллеи открывался вид на ослепительно белый особняк с зелеными ставнями, выходившими на просторную террасу над лежавшим внизу Средиземным морем, и высокой входной дверью с начертанным на ней знаком от сглаза. Точно таким же знаком, некогда привезенным отцом Моэма из Марракеша, помечены и ворота при въезде на территорию виллы, и все книги в библиотеке писателя. Присутствует этот знак и на обложках пятитомника полного собрания рассказов Моэма, выпущенного в России в самом конце прошлого века московским издательством «Захаров».

К морю сбегал уступами сад с пальмами, апельсиновыми деревьями, деревьями авокадо и африканскими лилиями, который обслуживали семь (!) садовников и посреди которого на возвышении сверкал в лучах солнца вырезанный в скале, выложенный мраморной плиткой бассейн с головой фавна работы Бернини в основании. К бассейну поднималась довольно крутая каменная лестница, по которой Моэм до старости взбегал по меньшей мере дважды в день — как и большинство гостей, он предпочитал бассейн морю. Неподалеку от бассейна, на морском берегу — какова предусмотрительность рачительного хозяина! — раскачивался под кактусами массивный, старинный бронзовый гонг, привезенный Моэмом из Индокитая: купавшиеся в бассейне звонили в гонг, когда хотели подкрепиться или выпить коктейль. Однажды, не заметив, что вода в

бассейне спущена, в очередной раз напившийся до потери сознания Хэкстон нырнул в «сухой» водоем, сломал себе несколько шейных позвонков и больше полугода ходил в корсете (что, впрочем, не мешало ему продолжать пить). Моэм же, стремясь по обыкновению замаять связанный с другом и секретарем скандал, с упорством, достойным лучшего применения, разъяснял гостям и соседям, что в действительности Джералд нырнул вовсе не в бассейн, а в море и ударился головой о скалу...

Из выложенного плиткой и облицованного черно-белым мрамором холла, мимо статуи китайской богини милосердия Куан-Йин, на второй и третий этажи виллы вела мраморная лестница, украшенная сиамскими бронзовыми головами, а также чучелами птиц с Борнео. На третьем этаже находились пять гостевых комнат, куда заглядывали апельсиновые, лимонные и мандариновые деревья, за окнами целыми днями пели щеглы, и круглый год цвела мимоза; еще две гостевые комнаты и, соответственно, две ванны с устрашающего вида африканскими масками по стенам располагались этажом ниже.

Спальня хозяина — небольшая комната с видом на море, мраморным камином, на котором стояло несколько фотографий матери писателя Эдит Снелл, и сицилийской кроватью XVIII века — также находилась на втором этаже. «Лежа на расписанной цветами кровати, я иногда складываю руки на груди и закрываю глаза — пытаюсь вообразить, как я буду смотреться, когда помру», — признался однажды Моэм. За кроватью стояла испанская барочная скульптура, а перед ней — встроенный книжный шкаф с томами любимых авторов — Уильяма Хэзлитта, Сэмюэля Батлера, Генри Джеймса, Стерна, а также со сказками братьев Гримм, дневниками Андре Жида, рассказами Киплинга.

Кабинет Моэма находился на самом верху, на плоской крыше виллы, от которой он был отделен узкой зеленой лестницей. Говорят, дом англичанина — его крепость; у Моэма неприступной крепостью служил кабинет, куда доступ гостям, даже самым близким, был строго-настрого запрещен в любое время суток. Из-за ведущей на террасу балконной двери, расписанной Гогеном и приобретенной Моэмом на Таити, открывался изумительный вид на Вильфранш, на море и скалы, и, чтобы вид этот не отвлекал хозяина дома от работы, широкий восьмифутовый орехового дерева массивный испанский обеденный стол XVII века, служивший Моэму столом письменным, развернут был от окна к книжным шкафам, камину и крытому синим батиком дивану. «Я закрылся от вида на море книжными шкафами, — говорил Моэм, — потому что эта комната предназначена для работы, а не для того, чтобы любоваться красотами».

Над письменным столом висел портрет уже известной нам Сью Джонс — «женщины, которую я любил». А на самом краю стола, рядом с расписанной Гогеном балконной дверью, лежала рукопись романа «Луна и грош» с авторской — красными чернилами — правкой. Здесь, за этим массивным столом, Моэм на протяжении без малого сорока лет ежеутренне исписывал перьевой ручкой белую нелинованную бумагу. Писал очень быстро — это видно по «летающему» почерку, и редко переписывал написанное; обычно ему хватало одной, хоть и «густой», правки. Писал синими чернилами, правил красными; когда же себя редактировал, то текст обычно упрощал и сокращал. Однако редко что-то переделывал или менял: и сюжет, и герои, и даже композиция рассказа или романа уже были у него в голове и/или в записной книжке.

В огромной гостиной, за окнами которой прятался заросший лилиями пруд, где по ночам громко квакали лягушки, на стенах, точно в картинной галерее, висели картины Тулуз-Лотрека, Сислея, Писсарро, Утрилло, Ренуара, Руо, Гогена, Матисса, Пикассо, Боннара. Обращали также на себя внимание позолоченный деревянный орел, простерший свои крылья над камином из арльского камня, позолоченные же деревянные люстры, заваленный книгами круглый стол посередине, книжные полки до потолка и — главная барочная достопримечательность — стоящий в алькове испанский алтарь с увлажнителем воздуха; Моэм, как мы знаем, любил все испанское. Именно здесь, в гостиной, гостеприимный хозяин, «Могам», как его называли французы, облаченный в шелковую японскую пижаму и в кимоно, широко раскинув на французский манер в приветственном жесте руки, встречал с широкой, сердечной улыбкой своих многочисленных гостей. Но Моэм был лишь последним «звеном» в торжественном церемониале, который, как и всё в «Мавританке», расписан был до мелочей. Приезжали гости в Больё, городок под Ниццей, где их на «роллс-ройсе» хозяина встречал вместе с шофером Жаном Джералд Хэкстон. Хэкстон привозил гостей на виллу, где в дверях их приветствовал дворецкий Эрнест, и только потом, в гостиной или, в особых случаях, в холле, — хозяин дома.

Гостей, как правило, было меньше, чем домочадцев. На вилле постоянно жили пятнадцать человек. Сам Моэм — на Лазурном Берегу он жил, за вычетом пяти лет Второй мировой, до конца жизни не меньше шести месяцев в году, отлучаясь по делам в Нью-Йорк и в Лондон, где останавливался или в отеле «Дорчестер», или в купленной им небольшой квартирке на Хаф-Мун-стрит неподалеку от Пикадилли. А также Джералд Хэкстон, повариха, две горничных, дворецкий, лакей, шофер и, как уже

говорилось, семь садовников. «Иногда, — говорил Моэм, — мне становится неловко оттого, что одного старика обслуживают тринадцать человек». К этим тринадцати следовало бы по справедливости прибавить еще четырех такс, названных именами героев вагнеровских опер; фавориткой хозяина была Эльза, названная в честь героини «Лоэнгрин».

Моэма никак не назовешь негостеприимным хозяином — его гости наслаждались отменным сервисом, уютом и роскошью: ели много, вкусно, разнообразно и исключительно с серебра, завтрак подавался лакеем в ливрее прямо гостю в постель, в распоряжении гостей были оранжерея, бассейн, два автомобиля, яхта, площадка для гольфа и теннисный корт. Вместе с тем распорядок дня хозяина дома от гостей, в том числе и самых именитых, не зависел ни в коей мере и разнообразием не отличался: Моэм был предельно пунктуален и требовал неукоснительной пунктуальности от своих гостей: весь день был у него расписан буквально по минутам. Бывали, правда, и исключения, когда Моэм, отложив перо, присоединялся к гостям на весь день, жил бездельной, рассеянной жизнью приглашенных на виллу.

Вот как, в несвойственном ему лирическом тоне, описывает Моэм летний день 1939 года в одной из поздних своих автобиографических книг «Строго по секрету»: «Жизнь мы вели простую и каждый день делали примерно одно и то же. Я встаю рано и завтракаю в восемь, что же до остальных гостей, то они в пижамах и халатах спускались вниз в самое разное время. Когда, наконец, все были готовы, мы рассаживались по машинам и ехали в Вильфранш, загружались в стоящую у причала яхту и плыли в маленькую бухту на другой стороне Кап-Ферра, где купались и загорали до тех пор, пока, снедаемые волчьим аппетитом, не набрасывались на огромную миску макарон, сваренных нам итальянским матросом Пино. Мы поглощали макароны и запивали их легким красным вином „Вен Розе“, бочку которого я закупил в горах. Потом мы бездельничали и спали и снова купались, а после чая возвращались домой поиграть в теннис. Ужинали мы на террасе под апельсиновыми деревьями, по раскинувшемуся внизу морю протянулась ослепительно белая дорожка от полной луны. Было так красиво, что захватывало дух. В те мгновения, когда легкая застольная беседа и смех затихали, на нас обрушивалось многоголосое кваканье сотен маленьких зеленых лягушек из пруда в конце сада. После ужина Лиза, Винсент (Лизин первый муж. — А. Л.) и их друзья брали машину и отправлялись в Монте-Карло на танцы».

Этот отрывок может создать у читателя впечатление, что Моэм проводил так все летние дни. В действительности же, повторимся, это — то

самое исключение, которое лишь подтверждает правило: день в Сен-Жан Ферра по большей части был расписан по минутам и подчинен строжайшему рабочему распорядку хозяина дома. В восемь завтрак: овсянка, чай со сливками и газеты. Затем — ванна, бритье и обсуждение меню со своим поваром итальянкой Аннетт Кьярамелло. Моэм надевал очки и диктовал по-французски: «Alors, pour commencer, une vichyssoise. Et ensuite, des escalopes de veau au madère. Et pour terminer, une crème brûlée»^[63]. Аннетт была искусницей, особенно же ей удавались brie en gelée^[64] и мороженое с авокадо.

Сразу после гастрономических консультаций Моэм удалялся к себе в кабинет, где трудился, не отвлекаясь ни на минуту, до 12.45. Это было его любимое время дня: уединиться в кабинете и писать. Моэм шутил, что похож на француза из анекдота, который каждый вечер проводил с любовницей и на вопрос, почему он на ней не женится, резонно отвечал: «Где бы я тогда проводил вечера?»

И трудился строго по установленному плану: он всегда заранее знал, что напишет, когда и в какой последовательности. В 1927 году Моэм поделился своим «плановым хозяйством» с Полем Доттенем: «После окончания работы над сборником путевых очерков „Джентльмен в гостинной“ возьмусь за „Шесть рассказов, написанных от первого лица“. Потом — за роман „Малый уголок“, действие которого происходит в Малайзии. Ну а дальше „Дон Фернандо“ — книга об Испании, роман „Пирог и пиво“, сборник эссе „Подводя итоги“».

Вместе с тем Моэм считал, что в «Мавританке» пишется ему неважно, в путешествиях — куда лучше. «Моя вилла — место красивое, здесь прекрасно живет, но плохо пишется, — пожаловался он однажды, причем без тени кокетства, Гэрсону Кэнину. — Она — за пределами потока жизни, она — вне людей и событий. Ведь даже самое богатое и развитое воображение требует постоянной стимуляции. Требует зрелищ и звуков». Может, потому Моэм и приглашал к себе столько гостей — чтобы в наличии имелись «люди и события», «зрелища и звуки»?..

В 12.45 Моэм выходил к гостям; перед обедом — мясо (хозяин любил резать его сам), салат, фрукты и сыр — подавался коктейль, причем Моэм предпочитал очень холодный сухой мартини. В 14.30 хозяин дома ложился отдохнуть, после чего отправлялся на прогулку, либо читал детектив (любимое занятие), либо разбирал вместе с Хэкстоном почту, отвечал на письма, либо шел играть в гольф или в теннис.

Ужин (обычно на свежем воздухе, в саду, среди олеандров, камелий и

тубероз), к которому Моэм неизменно выходил в черном галстуке и бархатном пиджаке и требовал, чтобы и гости соблюдали «дресс-код», подавался ровно в восемь. Согласно французскому этикету хозяина дома обслуживали первым, к тому же Моэм имел обыкновение есть очень быстро, поэтому, когда обслуживался последний гость (гостей обносили против часовой стрелки), тарелка хозяина дома была уже пуста, сам же Моэм, насытившись, затягивался вечерней сигаретой. Обыкновенно Моэм сидел во главе стола и, если был в хорошем настроении, «оркестрировал» застольную беседу, подавал реплики сам и не давал отмалчиваться гостям.

После ужина садились играть в бридж, а случалось, и в покер. Вот как описывает играющего в покер Моэма американский журналист Джек Хайнз: «Стиснутая в зубах трубка из верескового дерева плохо сочетается со строгим пиджаком и белоснежной сорочкой; карты сжимает в длинных расплюснутых пальцах; прожигает пристальным взглядом мозги каждого из шести соперников...»

Ровно в 23.00 хозяин откланивался и удалялся на покой. Гости же, особенно те, что помоложе, пускались в загул: ведомые заводилой Хэкстоном, плыли на яхте в казино, или шли в рестораны, или на танцы, или на балет.

Гости в «Мавританке» были трех категорий: родственники, близкие друзья и знаменитости — впрочем, вторая и третья категории нередко совпадали: среди близких друзей знаменитостей было немало.

Род Моэмов на «Вилле Мореск» был представлен старшим братом писателя Фредериком Моэмом с женой, их сыном Робинотом, будущим писателем, и дочерью Моэма Лизой. Лиза выросла, вышла из-под опеки матери и в «Мавританке» в 1930-е годы, да и после войны тоже, гостила часто и с удовольствием, до войны — с первым мужем, швейцарским дипломатом, после войны — со вторым, британским аристократом; приезжала и с детьми — и от первого, и от второго брака.

До конца 1950-х годов отношения отца с дочерью были, можно сказать, безоблачными, хотя, как уже говорилось, в целом довольно прохладными, а вот между братьями Моэм, старшим Фредериком и младшим Уильямом, — мягко говоря, непростыми. Уилли, как мы помним, не скрывал своего резко отрицательного отношения к Фредерику, общался с ним редко и неохотно, предпочитая иметь дело не с ним, мизантропом, скептиком и молчуном, а с его обаятельной, веселой и дружелюбной женой — кстати говоря, горячей поклонницей его таланта. Тем не менее Уилли, с его всегдашней тягой к сильным мира сего, с братом не порывал. Но и не завидовать блестящей юридической и политической карьере Фредди не мог,

гордости за родного брата никогда не испытывал. Лорд Фредерик Герберт, в свою очередь, не одобрял образа жизни Уильяма; полагал — и не без оснований, — что его нестандартная сексуальная ориентация бросает тень на безупречную профессиональную и общественную репутацию Моэмов. Был отнюдь не в восторге, что Робин дружен с Уилли и находится под его влиянием. И конечно же на дух не переносил Джералда Хэкстона; узнав от брата перед отъездом сына на континент, что в Вене Робин останавливается в том же отеле, что и Хэкстон, велел сыну заказать себе номер в другой гостинице.

Вдобавок Фредерик был не только совершенно равнодушен к весомым литературным успехам младшего брата, но относился к ним снисходительно, свысока и нисколько этого не скрывал. Изыщную словесность лорд-канцлер и пэр Англии считал делом несерьезным, легкомысленным, тем более — вклад в литературу своего знаменитого брата, и откровенно давал ему это понять. «Дорогой Уилли, — со свойственной ему язвительностью пишет Фредди в одном из редких посланий младшему брату, — возможно, ты и прав, полагая, что пишешь ничуть не хуже Шекспира. Я не мог не обратить внимания, как тебя превозносят в самых неприхотливых изданиях нашей общедоступной прессы. Позволь, однако, дать тебе братский совет: не берись, сделай одолжение, за сонеты».

Находились братья и по разные стороны «политических баррикад». Фредерик симпатизировал Невиллу Чемберлену, который, собственно, и назначил его лорд-канцлером, горячо приветствовал подписанный британским премьером «мирный» Мюнхенский договор 1938 года, считал, как и многие в те годы, что Чемберлен предотвратил войну. Уилли же дружил с оппонентом Чемберлена Черчиллем и к переговорам Чемберлена с Гитлером, естественно, относился скептически. Узнав, что Робин пил чай с лидером оппозиции Уинстоном Черчиллем, лорд-канцлер Фредерик Моэм с кривой улыбкой сквозь зубы процедил: «Что ж, о вкусах не спорят». В свою очередь, и Черчилль, уже будучи премьером, при встрече с раненым в африканской кампании 1940 года Робинотом поинтересовался: «Как там ваш отец? Любит немцев по-прежнему?»

Когда Фредерик приезжал к брату в «Мавританку» (исходя из вышеизложенного, вообще странно, что братья изъявляли желание ездить друг к другу в гости), он по большей части глухо молчал, выказывая тем самым недовольство увиденным и услышанным. Или же отпускал короткие, по обыкновению ядовитые реплики, неодобрительно глядя на окружающих сквозь монокль. На вопрос одного из знакомых, хорошо ли

кормят на вилле, он съязвил: «Простая пища вообще в моем вкусе», чем, разумеется, обидел гордившегося своим поваром брата, к чему, собственно, и стремился. И последний штрих к картине «Брат мой — враг мой». В шестисотстраничной автобиографии Фредерика «На исходе дня» младшему брату, знаменитому английскому прозаику и драматургу, места, по существу, не нашлось: Сомерсет Моэм упоминается на страницах книги лишь трижды, да и то вскользь. Впрочем, немногим больше места уделяется «великому» Фредерику и в мемуарах и записных книжках Моэма. На двух-трех сохранившихся фотографиях, где братья — очень, кстати, друг на друга похожие, особенно в старости, — сняты вместе, они демонстративно смотрят в разные стороны, чем напоминают нашего двуглавого орла.

К категории близких друзей можно отнести уже известного нам Джералда Келли, Годфри Уинна, молодого журналиста, чей репортерский дар раскрылся в основном во время Второй мировой войны, а заодно — прозаика, актера, талантливого теннисиста и бриджиста, к которому Моэм одно время питал далеко не платонические чувства. А также известных английских критиков Десмонда Маккарти, с которым Моэм дружил с войны, и Сирилла Коннолли, издателя журнала «Горизонт», где печатался Моэм, — где он только не печатался! А еще — четырех американцев: Гэрсона Кэнина, Бертрама Алансона, издателя Нелсона Даблдея, Карла Пфайффера, и двух редакторов — исполнительного директора «Хайнеманна» Александра Фрира, который говорил, что Моэм из тех писателей, которых не надо править. «Я напишу книгу и не отдам Вам ее, — писал ему Моэм, — до тех пор, пока она не будет полностью готова для публикации». И, так сказать, «личного» редактора Моэма, интеллектуала, острослова, секретаря трех премьеров — Асквита, Чемберлена и Черчилля, Эдди Марша, который, в отличие от Фрира, Моэма правил, и даже сильно, и которого Моэм за вкус, взыскательность и образованность ценил очень высоко. «Я многим обязан Эдди Маршу, — говорил Моэм в 1954 году Гэрсону Кэнину. — Совершенно уникальное существо. Эрудит. Он проштудировал гранки многих моих книг и не раз спасал мою репутацию, исправляя постыдные ошибки. Он одержим сочинениями своих друзей в том смысле, что придирается к каждому слову; угодить ему невозможно. Он признает только один уровень — безупречный...» А вот что как-то написал Моэм самому Маршу: «Я иной раз читаю в газетах, что а) я хорошо пишу и что б) я скромн. Те, кто это говорит, мало что смыслят. Хорошо пишете Вы, а не я. Что же до скромности, Ваша правка сродни железным набойкам на нацистских сапогах, что втаптывают мое лицо в

дорожную пыль — поневоле будешь скромным...» Под «железными набойками» Моэм, надо полагать, имел в виду вьедливость, придирчивость Марша, правка которого на полях моэмовских гранок больше напоминает развернутый критический комментарий.

Отдельно следует сказать еще о двух близких друзьях писателя. О прозаике и журналисте, гомосексуалисте со стажем Биверли Николзе, которому Моэм писал нежные письма, начинавшиеся весьма недвусмысленными обращениями: «мой драгоценный» и «мой ненаглядный». И о красавице блондинке Барбаре Бэк, жене известного лондонского хирурга Айвера Бэка. Светская львица, хозяйка одного из самых модных в 1930-е годы лондонских аристократических салонов, где собирались интеллектуалы гомосексуальной ориентации, Барбара была постоянным партнером Моэма по гольфу и бриджу. А еще — его постоянным корреспондентом; с Барбарой Бэк, неизменно веселой, разумной и остроумной, Моэм вел оживленную переписку на протяжении более тридцати пяти лет, регулярно узнавая от нее в подробностях последние лондонские светские новости, в том числе сплетни и интриги, касавшиеся его супруги. Для писателя, жившего на протяжении десятков лет большую часть года вдали от Лондона, где он бывал лишь наездами, такая «осведомительница» была поистине незаменима. «Более близкой и безмятежной дружбы, чем с Барбарой Бэк, — писал Биверли Николз, — у Моэма за всю его долгую жизнь, пожалуй, не было. Их отношения сложились счастливо, были гармоничными, непосредственными и абсолютно безоблачными».

Биверли Николз, кстати говоря, гостил не только у Моэма на вилле «Мавританка», но и в принадлежавшем Сайри «Доме Элизы» в Ле Туке, о чем оставил довольно любопытные воспоминания, остроумно озаглавив их «Дело о бремени страстей человеческих». Приведем, пусть и не вполне к месту, отрывки из этого мемуара, довольно живо передающего царившую в «Доме Элизы» атмосферу, а также отношения в треугольнике «Сайри — Моэм — Джералд».

«В первый же вечер гости собрались в гостиной: Ноэл Коурд читал свою новую пьесу „Парижский Пьеро“. Джералд развлекал Сайри историей о том, как во время своего недавнего путешествия в Сиам он соблазнил двенадцатилетнюю девочку, посулив ей банку сгущенного молока. Этим рассказом он конечно же хотел ущемить Сайри, говорившую, что от Джералда „веет продажностью“.

В тот вечер они все пошли в казино, которое находилось всего в

нескольких минутах ходьбы от виллы. Когда я вошел, меня окликнул Джералд, перед ним на игорном столе возвышалась горка фишек.

— Иди-ка сюда, красавчик, — подозвал он меня, — принеси мне удачу...

В три утра я услышал шум в комнате Джералда, открыл к нему дверь и обнаружил, что Хэкстон лежит на полу в чем мать родила и блюет, а вокруг рассыпаны тысячефранковые купюры. Сзади ко мне подошел Моэм, он был в ярости.

— Что это вы делаете в комнате Джералда? — поинтересовался он свистящим от бешенства шепотом.

Я ответил, что вошел, потому что услышал стоны.

— Он что, звал вас к себе? — не унимался Моэм.

Намек показался мне обидным, и я ответил, что Джералд был не в том состоянии, чтобы кого-то звать или о чем-то просить. Моэм встряхнул меня за плечи и буркнул:

— Убирайтесь... <...>

Отношения между Сайри и ее мужем были напряженными, это чувствовалось. На следующее утро Сайри, войдя в гостиную, перецеловала всех присутствующих со словами: „Дорогой! Дорогая!“ — а затем подошла, в ожидании поцелуя, к мужу. Тот отвернулся. Сайри, однако, не растерялась и сказала:

— Я всегда считала, что Джералд, как никто, умеет смешивать крепкие коктейли. <...>

В воскресенье утром гости сидели за завтраком и читали парижское издание нью-йоркской „Геральд“. Моэм в китайском халате присел к столу, он ждал, когда Сайри, которая в это время завтракала в постели в своей нижней спальне, его к себе позовет. Я тоже сидел за столом и машинально перебирал лежавшие в вазе груши и яблоки.

— Вас что, в детстве не учили, что фрукты в вазе руками не трогают? — недовольным голосом обронил Моэм.

В столовую вошла служанка.

— Мадам кончила завтракать, — сказала она, и Моэм пошел в спальню жены, откуда вскоре послышались громкие, раздраженные голоса.

— Не кричи, пожалуйста! — то и дело доносился до нас голос Моэма. — И не устраивай мне сцен! — Эти слова он повторял очень часто.

Моэм был в бешенстве: сегодня утром он обнаружил на своем туалетном столике счет за выстиранное белье. Прачку Сайри не держала, постельное белье гостей она отдавала стирать в город, а счета за стирку предъявляла гостям. Моэм счел это оскорбительным. Одевшись, Сайри

вошла в гостиную и обратила внимание, что одно кресло стоит не на месте.

— Кто передвинул кресло? — поинтересовалась она.

— Я, — ответил Джералд.

— В таком случае поставьте его на место.

Джералд встал.

— Садись, Джералд, — вмешался Моэм. — Кресло мы передвинули потому, что в комнате так уютнее.

— Ничего подобного, — возразила Сайри. — От этого у комнаты сделался провинциальный и вульгарный вид. Поставьте кресло на место, Джералд. И сделайте это прямо сейчас, очень прошу вас.

— По-моему, тебе должно было понравиться, что у комнаты такой провинциальный и вульгарный вид, — сказал Моэм дрожащим от гнева голосом. — Ты же сама сделала из дома дешевый пансион. И у тебя не гости, а постояльцы, ведь иначе ты не раздавала бы им счета за выстиранное белье. Скоро, надо полагать, будешь брать деньги за стол и за постой. Постыдилась бы!

Сайри повернулась и вышла из комнаты».

Справедливости ради, нужно сказать, что Моэму никогда не пришлось бы в голову брать с гостей «Мавританки» деньги за выстиранное белье...

Вернемся, однако, из «Дома Элизы» на «Виллу Мореск». К приезжавшим туда знаменитостям следует в первую очередь отнести Уинстона Черчилля, лорда Бивербрука, а также герцога и герцогиню Виндзорских — то бишь отрекшегося от английского престола Эдуарда VIII с женой-американкой Уоллис Симпсон. Однажды, играя с ней в паре в бридж, Моэм пожаловался своей партнерше, что, за вычетом двух королей, он ничем ей в этом роббере помочь не сможет. «Какой прок в наше время от королей, раз они отрекаются от престола?» — пошутила герцогиня. Отрекшийся же от престола был, судя по всему, абсолютно счастлив — во всяком случае, он постоянно всем говорил: «Я каждый день благодарю судьбу за то, что герцогиня *согласилась* выйти за меня замуж».

Бывали на вилле и знаменитости из мира искусств: частыми гостями «Мавританки» были также жившие на Ривьере Жан Кокто и Марк Шагал. И, естественно, — из мира литературы. К «близким» литературным знаменитостям принадлежали Ребекка Уэст, Арнолд Беннетт, Редьярд Киплинг, Ноэл Коуорд. А также обосновавшиеся, как и Моэм, на Лазурном Берегу автор «Питера Пена» Джеймс Барри, редактор авторитетного «Субботнего обозрения», журналист и скандальный прозаик Фрэнк Харрис, Герберт Уэллс, который зимой 1934/35 года жил на «Вилле Мореск» с «железной женщиной» Мурой Будберг, и романист Майкл

Арлен. Это у него Моэм, натренированный Годфри Уинном, летом 1929 года выиграл на корте «Мавританки» «исторический» теннисный поединок. А еще — Ивлин Во и переехавший из Англии в Италию Макс Бирбом. С Ивлином Во, который, к слову сказать, высоко ценил профессионализм Моэма, говорил, что он — «единственный среди нас профессионал, у которого можно учиться с выгодой для себя», Моэма познакомил Годфри Уинн. Как-то раз на вопрос старшего брата Ивлина, тоже писателя, Алека Во, знаком ли Моэм с его братом, Моэм ответил: «И да, и нет. Годфри Уинн представил его мне, но не меня ему, сделав мне тем самым комплимент. Во, дескать, должен был знать, кто я такой. Но ваш брат, подозреваю, этого не знал».

С Ивлином Во и Бирбомом связаны две забавные истории. В одной Моэм продемонстрировал столь свойственные ему респектабельность, сдержанность и исключительную невозмутимость, в другой — отменное чувство юмора.

Однажды, отвечая на вопрос хозяина дома, что собой представляет один общий знакомый, Ивлин Во, не подумав, ляпнул: «Педик и заика в придачу». Впоследствии, вспоминая этот случай и чудовищную неловкость, которую он испытал, Во заметил: «Все висевшие в комнате картины Пикассо побелели у меня на глазах — Моэм же остался совершенно невозмутим».

В другой раз Макс Бирбом, всегда много о себе понимавший, отклонил приглашение Моэма приехать из Италии на виллу «Мавританка» на том основании, что вызван был не письмом, а телеграммой. И вот что ответил ему Моэм:

«Cher Monsieur de Max,

с моей стороны было весьма самонадеянно приглашать

1) несравненного стилиста,

2) выдающегося отшельника,

3) единственного карикатуриста на свете, коему не удалось нарисовать на меня карикатуру, — посредством вульгарной телеграммы. Каждый из вышеупомянутых персон, посмей я вновь обратиться к ним с подобным предложением, должен был бы удостоиться официального послания. Мне следовало бы отправить к ним Шевалье де ля Роз в белом атласе, который пропел бы мое приглашение чистейшим контральто. Неужто Вы думаете, что я воспользовался бы вульгарным куском проволоки, привязанной к телеграфному столбу, если бы отдавал себе отчет в том, что эти трое, по сути, — один человек. И этот один (Господи, разве не вбивали газеты сию избитую истину в мои завистливые уши на протяжении сорока пяти лет?!)

является не кем иным, как НЕСРАВНЕННЫМ МАКСОМ?..»

Хозяин «Мавританки» был не только сдержан, остроумен и обходителен. Он с удовольствием вел — в рамках своего жесткого расписания, разумеется, — литературные беседы, охотно делился опытом, давал советы и рекомендации молодым, оказывал им помощь, в том числе и практического свойства. «Он много говорил о литературе, — вспоминает не раз бывавший на вилле у Моэма лорд Кларк, — иногда рассказывал о том, что в этот момент пишет. И даже, что я считаю для себя огромной честью, давал мне прочесть только что им написанное, спрашивал, надо ли изменить ту или иную фразу, строку или слово. Моэм был очень добросовестный профессионал, который отшлифовывал свой текст до немеркнущего блеска».

«Самое приятное было сидеть с ним на террасе перед вторым завтраком или после ужина, беседуя о книгах, — вторит лорду Кларку актер и драматург Джордж Райлендз. — Моэм считал, что в театре я разбираюсь неплохо... Он знал, что я интересуюсь театром, что пишу пьесы и даже успешно играю на сцене. И мы говорили с ним о театре, а еще о Хэзлитте и Драйдене».

«Нет такой вещи, как вдохновение, — поучает Моэм своего юного друга Годфри Уинна, человека, безусловно одаренного, но ленивого и легкомысленного, что видно хотя бы из названий его статей в женских журналах: „Дочь, которую мне хотелось бы воспитать“, „Девушка, на которой я рассчитываю жениться“, „Следует ли женам делать карьеру?“, „Почему я люблю работать с женщинами?“. — Во всяком случае, для меня вдохновения не существует. Зато есть преданность делу, погруженность в ремесло. Я — писатель, который сделал себя сам. Сочинительство такая же профессия, как медицина или правоведение... Ваша же беда в том, что вы пишете сердцем».

Сходным образом поучает Моэм и еще одного начинающего сочинителя, своего племянника Робина, который посылает дяде рассказы, издает в Итоне, где его за употребление длинных, малопонятных слов называли «ходячим словарем», журнал «Шестипенсовик». «Запомни, — пишет Моэм Робину, которого он, довольно равнодушный к родственникам, любил, жалел и всю жизнь опекал, — тебе еще только семнадцать, и ты не отдаешь себе отчет в том, что литературный труд — дело очень кропотливое. Поэтому не рассчитывай, что ты чего-то добьешься, если не будешь прикладывать огромных усилий. Увидеть себя в печати очень полезно: сразу понимаешь, чего ты стоишь...»

Слова «кропотливый», «добросовестный», «добиваться»,

«прикладывать усилия», «заставлять себя» встречаются в моэмовских беседах о литературном труде, в его эссе и очерках очень часто — их можно было бы опубликовать под шаблонной рубрикой «Сделай себя сам». «Сделай себя сам» — это в известном смысле литературный девиз писателя, все его рекомендации молодым — и не молодым — авторам, по существу, сводятся к этому; *ремесло* Моэм всегда ставил выше *творческого поиска*. «Я всегда считал необходимым заставлять себя писать, — говорил Моэм Гэрсону Кэнину. — Идеальному писателю приходится заставлять себя не писать. Я же, за неимением ничего более увлекательного в жизни, всегда подбивал себя писать, развивать свои способности... Я постоянно себя удивляю. Удивлять себя очень важно. Общих правил для сочинения книг, как и для занятия любовью, не существует; то, что подходит одному, не подходит другому. Каждый должен искать свой путь...»

Моэм наставляет на путь истинный юных Годфри Уинна и Робина, Кэнина. Своим же именитым гостям он, разумеется, нотаций не читает, однако недоволен многими. Одни раздражают его, трудоголика, бездельем, другие — беспробудным пьянством, третьи — бесцеремонностью. Главная же беда гостей «Мавританки» состоит в том, что их, увы, слишком много; каждый по отдельности хорош, а вот вместе взятые... «Бывают гости, которые никогда не закрывают за собой дверь и никогда не выключают свет, когда выходят из комнаты, — пишет Моэм в очерке, посвященном гостям. — Бывают гости, которые после обеда ложатся вздремнуть, не удосужившись снять грязные ботинки, и после их отъезда приходится отмывать спинку кровати. Бывают гости, которые курят в постели и прожигают дыры в простынях. Бывают гости, которые сидят на диете, и им приходится готовить специальную пищу, а бывают и такие, которые ждут, пока их бокал будет наполнен выдержанным бордо, а потом говорят: „Спасибо, что-то сегодня вина не хочется“. Бывают гости, которые никогда не ставят книгу на место, некоторые же снимают с полки том из собрания сочинений и его благополучно зачитывают. Бывают гости, которые перед отъездом берут у вас в долг и деньги не возвращают». Однако главный недостаток гостей (без которых, впрочем, Моэм обойтись не мог) состоит в том, что они — вольно или невольно — мешают хозяину виллы работать. «Они приезжают отдохнуть и сменить обстановку, — жалуется уже сильно постаревший писатель одному знакомому, — и, естественно, хотят, чтобы их развлекали. Они не понимают, что вилла — мое рабочее место и что они нарушают мой образ жизни. Им невдомек, что писатель пишет не только когда сидит за своим письменным столом, он пишет весь день, даже если не водит пером по бумаге. От этих гостей одна суета».

Иными словами, гости, даже близкие друзья и родственники, мешают если не жить, то уж точно творить. Вот и судите после этих двух монологов, гостеприимный Моэм хозяин или нет. Тот самый Моэм, который выговаривал Сайри зато, что та берет с гостей деньги за выстиранное постельное белье.

Случалось, что гостеприимный хозяин, разобидевшись, даже позволял себе избавляться от нежелательных гостей. Когда писатель Патрик Ли-Фермер, который в свое время учился с Моэмом в Кентербери, в Королевской школе, заявил однажды за ужином, что в школе заикались «не только ученики, но и герольды», Моэм промолчал, однако, дождавшись конца трапезы, протянул незадачливому Ли-Фермеру руку и как ни в чем не бывало сказал: «Должен с вами проститься, так как за завтраком вас уже не увижу». Когда американский приятель Моэма Патрик О'Хиггинз отправился вечером в близлежащий бордель и заявился на виллу лишь под утро, Моэм объясняться с ним не стал, но перед обедом подозвал секретаря и распорядился (дело было уже после войны): «Сегодня приезжают Сазерленды и комната Патрика мне понадобится». Вообще, надо сказать, что насчет многих своих гостей Моэм, отлично разбиравшийся в людях и иллюзиях по поводу большей части человечества не питавший, никогда особо не обольщался. «Очень многим моим гостям „Мавританка“ на самом деле не нравится, — с грустью признался он как-то Гэрсону Кэнину. — Подолгу живут у меня, расхваливают мой дом, а потом возвращаются в Лондон и его поносят...»

Больше же всего из живущих на вилле он, пожалуй, недоволен, хотя старается это не демонстрировать — на людях, во всяком случае, — самым близким ему человеком — Джералдом Хэкстоном. После стольких лет самых тесных отношений Моэм словно прозревает: Хэкстон ему по-прежнему нужен, а вот он Хэкстону — нет. Не об этом ли щемящие поэтические строки из «Записных книжек» Моэма?

Я не могу смириться, что тебя теряю,
Что жизни нашей наступил конец.
Я чувствую: в твоём распутном сердце
Нет больше нежности и нет любви ко мне.

Поэзия, прямо скажем, не самого высокого полета, но то, что Моэм тяжело переживает черствость, равнодушие друга, нельзя не заметить.

Взаимных претензий у «хозяина и работника» с каждым днем

становится все больше. Хэкстон идет вразнос. Буянит, развратничает, беспробудно пьет, иногда пропадает в сомнительных притонах и игорных домах целыми неделями, проигрывает тысячи. А когда выигрывает — безудержно веселится, поит и «гуляет», не считая денег, гостей «Мавританки». Он недоволен, что Моэм не оплачивает его долги, и своего недовольства не скрывает: злится, поносит, порой прилюдно, своего работодателя и любовника. Вообще, ведет себя с ним вызывающе, развязно, позволяет себе малоприличные шутки, намекая на интимность их отношений. Кто-то из гостей вспоминал, как однажды Моэм, выйдя к столу, сказал, как всегда заикаясь: «Я только что п-п-принял оч-ч-чень горяч-ч-чую ванну». — «И не мастурбировал?» — поинтересовался Хэкстон.

Поведение Хэкстона понять можно. Он пьет и куражится во многом потому, что ему надоело мириться с ролью прислужника и секретаря, находиться в тени знаменитости: Моэм стареет (не молодеет и Хэкстон), совместные путешествия становятся редкими, любовные чувства остывают.

Моэм же по-прежнему Хэкстона любит, жалеет его, привязан к нему и вместе с тем как человек предельно собранный и сдержанный не переносит неуправляемости и развязности своего многолетнего любовника. «Я не могу позволить себе тратить оставшиеся мне годы, — пишет он Барбаре Бэк, — на то, чтобы быть сиделкой у дряхлеющего пьянчуги». В середине 1930-х Моэм подумывает даже разъехаться с Хэкстоном и продать «Мавританку» и наверняка продал бы, да покупателя не нашлось. Моэм жалеет друга, старается, как может, скрывать его «фокусы» — не в обыкновении Моэма выносить сор из избы. Но в конце концов не выдерживает. «Джералд больше любит бутылку, чем меня», — жалуется он одному своему знакомому. «Вы даже себе не представляете, Годфри, — сказал он однажды в сердцах Уинну, — что значит быть женатым на человеке, который женат на выпивке!» В такие моменты вид у писателя делается затравленный, озлобленный. «Он был похож на мертвеца, у которого после кончины отросла щетина, — писала о Моэме в 1930-е годы Вирджиния Вулф. — И крепко сжатые губы, растянутые в застывшей улыбке, тоже напоминали покойника. Глазки маленькие, как у хорька. А на лице страдание, злоба и подозрительность... Сидит, забившись в угол, точно зверек в западне». Примерно то же и в это же время писала о Моэме жена Дэвида Герберта Лоуренса Фрида (Лоуренсы Моэма недолго любили): «Несчастный и язвительный человек — от жизни он не получает абсолютно никакой радости...»

Радоваться Моэму было особенно нечему, а меж тем его «браку» с

Хэкстоном ничего не угрожает, они по-прежнему неразлучны, их отношения неровны, но пылки, они часто ссорятся, но быстро мирятся, они по-прежнему живут и путешествуют вместе. А вот отношения деловые под угрозой: свои секретарские обязанности вечно пьяный Хэкстон выполняет из рук вон плохо. А поскольку, как известно, свято место пусто не бывает, на моэмовском горизонте появляется Хэкстон «номер два» — Алан Фрэнк Серл.

С Аланом Серлом Моэм встретился летом 1938 года, когда в очередной раз приехал в Лондон и задумал написать вторую «Лизу из Ламбета». Правда, теперь писатель черпал «трущобный материал» не в Ламбете, а в другом бедном лондонском квартале — Бермондси, где и встретился со страдающим псориазом 24-летним сыном местного портного, тихим, улыбчивым, симпатичным молодым человеком с правильными, мелкими чертами лица и курчавой шевелюрой. Несмотря на юный возраст, Алан уже состоял в гомосексуальной связи с маститым литератором, театралом, интеллектуалом-блумсберийцем, автором известных художественных биографий Литтоном Стрэчи, который, к слову, Моэма как писателя ценил не слишком высоко, говорил про него: «Второй класс, отделение первое»; Моэм в долгу не остался, это таких, как Стрэчи, он называл «спесью культуры».

У Стрэчи Моэм молодого Серла и «одолжил»; предполагал, что ненадолго, а оказалось — на много лет. Узнав, что Серл работает в благотворительной организации по оказанию помощи вышедшим на свободу заключенным, Моэм поинтересовался, собирается ли он заниматься этим всю жизнь. Когда же выяснилось, что молодой человек больше всего на свете хочет путешествовать, Моэм тут же, невзирая на протесты родителей Серла, увез его с собой сначала во Францию, а оттуда в сентябре 1938 года в Швейцарию, куда отправился «омолодиться» в клинике модного в то время изобретателя клеточной терапии Пауля Ниханса. На обратном пути из Женевы в Париж Моэм и Серл попали в автомобильную аварию, и у Алана появился хороший шанс продемонстрировать своему сожителю и благодетелю «сыновнюю» заботу: в парижской больнице он две недели трогательно за Моэмом ухаживал, чем к себе писателя, ясное дело, очень расположил.

Как и Хэкстону, Серлу были свойственны авантюризм и азарт, но, в отличие от Джералда, он был не агрессивен и не навязчив и, главное, покорен: Моэма и тогда, и много лет спустя он слушался беспрекословно, ни в чем ему не перечил. Решение Моэм принял, как всегда, разумное, взвешенное: чтобы «не дразнить зверя», он не стал раньше времени

приглашать Серла в «Мавританку»: встреча Хэкстона и Серла не сулила последнему ничего хорошего. С 1929 по 1945 год Серл был «заочным», лондонским секретарем Моэма, выполнял роль «дублера» Хэкстона, своего рода «запасного игрока», с конца же войны, после смерти Джералда, стал секретарем «полноценным» и прожил с Моэмом на «Вилле Мореск» до конца его дней.

Серл и в самом деле оказался сушей находкой. Преданность, исполнительность, надежность, добросовестность в сочетании с отличным, покладистым нравом, мягкостью, вежливостью, обходительностью да еще отменным чувством юмора встретишь не часто. Серл неустанно перепечатывал на машинке рукописи Моэма, разбирал поступавшие к нему бесконечным потоком (особенно в дни юбилеев) письма и телеграммы, проверял и оплачивал счета (не обсчитывая при этом, в отличие от Хэкстона, хозяина). А также заказывал билеты на поезда и пароходы, осуществлял постоянный и кропотливый надзор за садом и виллой — одним словом, был совершенно незаменим, стоял, точно образцовая жена, между Моэмом и жизнью. И при этом вынужден был терпеть с каждым годом ухудшавшийся нрав хозяина, который в старости нередко впадал в бешенство, оскорблял своего покорного и незлобивого секретаря, мог — бывало и такое — даже дать волю рукам. Беззаветное служение Серла оплачивалось Моэмом более чем скромно. Тем не менее, когда однажды Серл обратился к хозяину с просьбой об отпуске, тот искренне удивился: «Отпуск?! Да ваша жизнь и без того сплошной отпуск, вам не кажется?» Верному и преданному Серлу, особенно в последние годы жизни Моэма, когда к его дурному нраву прибавились физическая немощь, приступы паранойи и почти полная потеря памяти, так не казалось.

Справедливости ради, скажем: жалованье Моэм действительно платил Серлу весьма незначительное, отпуска не давал, да что там отпуск, в последние годы жизни не позволял от себя отойти ни на минуту, — но доброе к себе отношение помнил. «Я хочу, — не раз повторял писатель, — чтобы после моей смерти он ни в чем не нуждался, ведь он, что ни говори, пожертвовал мне лучшие годы своей жизни». И словами Моэм не ограничился: в завещании преданный Серл забыт не был.

Не будем, однако, рисовать Серла только белой краской, а Хэкстона — черной. Хэкстон был, при всех своих многочисленных минусах, человеком не только азартным и авантюрным, но и исключительно обаятельным, разносторонне одаренным. Он легко, как уже говорилось, сходился с людьми. Он был человеком живого ума, превосходно знал французский (которым Серл, проживший десятилетия во Франции, так и не овладел). Он

отлично играл в бридж (а Серл не мог отличить червей от бубен), был на все руки мастер — и в прямом и в переносном смысле; однажды он даже спас Моэма от верной смерти... И, главное, для Моэма он значил много больше, чем Серл: когда Хэкстон умер, Моэм долгое время был совершенно безутешен. Что же до Серла, то он при всей своей покладистости, преданности и даже жертвенности про себя «любимого» не забывал никогда и, преследуя собственные, нередко корыстные интересы, методично расшатывал отношения между состарившимся Моэмом и его дочерью.

Мы так много места и внимания уделили дому «Мома», его архитектуре, расположению и обстановке комнат, его гостям и домочадцам, «правилам общежития», что пришло время сказать несколько слов и о самом хозяине. О «Старикане» (*Old Party*), как, с легкой руки Джералда Хэкстона, звали Моэма задолго до того, как он состарился, его друзья и знакомые.

Глава 13 «СТАРИКАН», СОТКАННЫЙ ИЗ ПРОТИВОРЕЧИЙ

Кое-что нам о Моэме-человеке из предыдущих глав уже известно. А кое-что — для полноты картины — следовало бы добавить. Моэм — джентльмен до мозга костей, он превосходно воспитан, отлично держится, пунктуален, не бросается ни деньгами, ни друзьями. Любит мать — и всю жизнь ощущает горечь утраты; любит работать; работает исключительно по утрам. Любит деньги, бридж, крепкие сигареты, Францию, ледяной сухой мартини, живопись (в которой знает толк). А также — послеобеденный сон, детективы, Севилью, Хусепе Риберу, путешествия, своего племянника Робина Моэма и — особенно — Джералда Хэкстона. Когда его друг, многолетний сожитель, литературный секретарь, постоянный спутник и антипод в 1944 году умер, Моэм горько рыдал, лежа на диване лицом вниз, и всем говорил, какое тяжкое горе его постигло. «Ведь с ним, — объяснял он Робину Моэму, — связаны лучшие годы моей жизни, годы наших странствий по свету. Да и то, что я написал за последние двадцать лет, имеет к нему самое непосредственное отношение — в конце концов, он же перепечатывал мои рукописи». Вместе с тем Моэм совершенно равнодушен к родственникам, не расположен «рыться в хронологической пыли»: «По-моему, нам не следует распространяться о том, что наш род происходит от этих Эдуардов. Король Эдуард II, как известно, был извращенцем, и мне бы не хотелось, чтобы из-за него страдала моя безупречная репутация». И терпеть не может церковь: «Не могу заставить себя верить в Бога, у которого нет ни чувства юмора, ни здравого смысла». На дух не переносит фотографий — своих собственных в первую очередь, безделья, нерадивых гостей и свою экс-супругу Сайри Барнардо — впрочем, когда приставки «экс» не было, он относился к ней ничуть не лучше. Он осторожен, очень расчетлив, умеет, в отличие от большинства творческих личностей, считать деньги, и при этом азартен — и не только в картах. Решения он принимает порой довольно неожиданные: мы помним, как он бросил, недоучившись, Кингз-скул, поступил в медицинскую школу при больнице Святого Фомы, потом оставил медицину, чтобы жить литературным трудом... И решения эти, что случается далеко не часто, воплощает в жизнь, доводит задуманное до конца, действует последовательно, продуманно. В его решениях, вроде бы на первый взгляд абсурдных (хочет писать книги, сам же вместо этого

«почему-то» идет учиться на врача), прослеживается своя логика. Это свидетельство того, что в личности Моэма много парадоксального, противоречивого, казалось бы, несочетаемого.

К своему огромному, стойкому, растянувшемуся на полстолетия литературному успеху Моэм относится спокойно, оценивает себя как писателя трезво, считает себя если и *первым*, то во *втором*, так сказать, ряду, солидаризируясь в этом с Литтоном Стрэчи. Помните: «Второй класс, отделение первое»? И — скажем от себя — имеет на это определенные основания, о чем мы еще подробно поговорим. Свои записные книжки, например, называет «почеркушками» («jottings»), уверяет, нисколько не рисуясь, Карла Пфайффера, что «читать их предпочтительнее всего в уборной». Рекомендует, когда дарит ему «Записные книжки», не читать все подряд, а «листать, как придется, не слишком вникая в суть».

Да и вообще склонен себя недооценивать, хотя порой этой «недооценкой» и бравирует: унижение паче гордости. Считает себя некрасивым, невезучим, не умеющим делать дела, — и это притом что в издательском бизнесе способен за себя постоять как мало кто из собратьев по перу. В переговорах с издателями (даже если это близкие друзья, как американец Нелсон Даблдей или англичанин Александр Фрир) демонстрирует чудеса несговорчивости: жестко, последовательно отстаивает свои права, торгуется (при многотысячных гонорарах) за каждый доллар, неукоснительно требует выплаты авансов, скрупулезно — через агентов и сам — следит за выпуском дополнительных тиражей — как бы не обсчитали.

У него вообще сложные отношения с денежными знаками. Однажды на обеде у Арнолда Беннетта он похвастался, что рассчитывает заработать на пьесе «Дождь» по одноименному рассказу не меньше 40 тысяч фунтов, а на следующий день пишет владельцу книжного магазина на Оксфорд-стрит: «Я не подозревал, что собрание сочинений Хэзлитта стоит так дорого; за цену, которую Вы за него просите, я его куплю вряд ли». И в то же время, тайно, не рекламируя себя, дает деньги нуждающимся писателям, например Ричарду Олдингтону, после войны учреждает литературную премию своего имени, которая обходится ему недешево.

Строго себя судит, а между тем обижается на критику, даже самую мягкую, дружескую, расстраивается, после «разноса» в прессе не в состоянии потом целую неделю взяться за перо, самая незначительная неточность, допущенная взявшим у него интервью журналистом, надолго выводит его из себя. Очень любит, чтобы его хвалили, из суеверия не читает рецензий на свои книги — а вдруг отрицательная? — и часто

повторяет слова Гертруды Стайн. Когда знаменитую американскую писательницу спросили, ради чего она пишет, та не задумываясь ответила: «Ради чего? Ради похвалы, похвалы, похвалы!» Да, любит, чтобы его хвалили, и обижается, когда про него забывают, обходят, обносят, не награждают, не приглашают в богатые и знатные дома. (Как правило — приглашают.)

Бывает, доходит до смешного: при его-то славе и деньгах — суетен. Тянется к именитым, знатым, богатым — себя, по сравнению с соседями по Лазурному Берегу, без тени юмора называет «очень бедным миллионером». Сам себя недооценивает, однако постоянно боится, что его недооценят другие, не отдадут должное его гостеприимству, кулинарному искусству, красоте и оригинальности его дома и сада, коллекции картин, литературному дарованию, кругу его близких знакомых. Может за столом сказать — это при его-то уме, такте и сдержанности — своему очень состоятельному молодому знакомому: «Вы вот думаете, что едите жидкую овсянку, а ведь это *zabaglione* — приготовить этот заварной крем непросто и совсем, знаете ли, не дешево». Однажды всерьез расстроился, когда его знакомая, тоже, прямо скажем, не из бедных, не оценила его коллекцию картин. «Не всели вам равно?» — удивился болезненной реакции счастливого обладателя ренуаров, матиссов и деренов кто-то из гостей. «Разумеется, нет, — отозвался Моэм. — Мои картины стоят немало». Зато был совершенно счастлив, когда кто-то из богатых коллекционеров, сосед по мысу Ферра, сказал, что «в наши дни частному лицу не по плечу составить коллекцию, собранную Моэмом».

Как писателя судит себя — мы об этом не раз писали — строго, даже излишне строго, а при этом в 1950-е годы пишет директору Кингз-скул канонику Шерли, причем без тени улыбки (куда только подевались присущие ему самоирония, чувство юмора?): «По-моему, я заслужил Орден за заслуги; больше мне ничего не нужно, в том числе и рыцарства. Но ведь Гарди дали Орден за заслуги, — вот и мне, крупнейшему на сегодняшний день писателю на английском языке, тоже по справедливости должны дать». Дали Орден за заслуги не только Гарди, но и Голсуорси, Пристли, Эдварду Моргану Форстеру — а вот Моэму не дали — не исключено, что «обошли» по причине мужеложества: при дворе к сексуальным отклонениям относились не самым лучшим образом.

И вместе с тем «громкие права» «крупнейший на сегодняшний день писатель на английском языке» ценит недорого. Бывает — под настроение — общителен, разговорчив, находчив, но по большей части, в отличие от любимца общества Хэкстона, замкнут, молчалив, погружен в себя. На его

«лазурной» вилле не переводятся гости, сам же хозяин нелюдим, с гостями общается нечасто — в строгом соответствии со своим распорядком. Мы уже писали: гостей и любит, и не любит: мешают работать. Хотя с его-то дисциплинированностью помешать работать Моэму при всем желании нелегко.

И вообще сторонится людей, словно брезгует ими. «Не люблю, когда до меня дотрагиваются, — сказал он однажды. — Я всегда должен делать над собой усилие, чтобы пожать протянутую мне руку». Делает он над собой усилие, и когда заговаривает с незнакомым человеком, — и не только потому, что заикается. «Я всегда предпочитал больше слушать, чем говорить»^[65]. «Моэм — странный человек, — писал о нем Роберт Брюс Локарт, „работавший“ в России с Временным правительством тогда же, когда и Моэм. — У него ужасный комплекс неполноценности, он ненавидит людей, при этом ни за что не откажется пойти на званый обед, где ему предстоит встреча с графиней».

Моэм не только сдержан сам, но и боится проявления сильных чувств в отношении себя; держит людей, в том числе и близких (особенно — близких), на расстоянии. Очень точно как-то раз про себя заметил: «Я всегда любил людей, которые были ко мне равнодушны; те же, кто проявлял ко мне чувство, не вызывали у меня ничего, кроме смущения, замешательства». Наглядный пример — экс-супруга Сайри Барнардо.

Пребывание в Королевской школе, как мы знаем, давалось Уилли Моэму очень нелегко, «встроиться» в состав лояльных и прилежных учеников — и это при собственной всегдашней лояльности и прилежании — ему так и не удалось. Юному Моэму, мы помним, Кингз-скул, ее учителя и ученики были столь ненавистны, что школу он так и не закончил. Не говоря уже о том, что Моэм был принципиальным противником традиционных английских public schools — закрытых школ. «Не понимаю, зачем они нужны Англии, — не раз говорил он. — Обходятся же без них Франция, Италия и США!» Что не помешало писателю, когда он прославился и разбогател, постоянно оказывать своей alma mater немалую финансовую и моральную помощь, поддерживать дружеские связи с ее директорами, дарить школе мебель, книги, картины. В 1930-е годы, когда Кингз-скул находилась в крайне сложном финансовом положении, тогдашний директор направил Моэму письмо с просьбой о помощи, не очень рассчитывая на положительный ответ. Но он ошибся. В 1936 году Моэм дает школе деньги на строительство теннисных кортов, в 1953-м — три тысячи фунтов на элинг, в конце 1950-х — десять тысяч фунтов на научные лаборатории, которые, специально приехав из Франции,

торжественно открывает в июне 1958 года. А еще через три года, восьмидесяти семи лет от роду, открывает здание школьной библиотеки, которой преподносит 1390 своих книг и которая получает имя «Библиотеки Моэма», по поводу чего школьный журнал «Кентербериец» раздражается громким панегириком в адрес престарелого писателя-филантропа: «несравненное великодушие», «невиданное благодеяние для школы». Когда, уже в 1970-е годы, после смерти Моэма, одного из учеников Королевской школы спросили, знает ли он писателя Сомерсета Моэма, тот с несвойственной подростку рассудительностью ответил: «Еще бы. Он же один из самых известных наших учеников. Мне его романы нравятся. Но, согласитесь, странно, что он так много сделал для школы, в которой был так несчастлив».

В английской школе был, это правда, несчастлив, а во Франции, где прожил большую часть жизни, счастлив, и очень. Любит с самого детства Францию, во Франции у него много друзей, он прекрасно знает язык этой страны, ее литературу, историю и особенно живопись. Тяжело переживает ее крах во Второй мировой войне — при этом не прощает французам высокомерия, заносчивости, любования собой, считает, что «взглядом на мир свысока» объясняются многие беды французов, в том числе и их унижительное военное поражение весной 1940 года. «С французами так трудно оттого, — пишет Моэм в книге „Строго по секрету“, — что они убеждены: им нет в мире равных, они всё делают гораздо лучше остальных. Лучше готовят, лучше пишут картины, лучше возделывают землю, лучше занимаются любовью и управляют страной. По большей части, впрочем, так оно и есть... Потому-то они войну и проиграли...»

Читательские и писательские пристрастия Моэма тоже совпадают редко. У Моэма-читателя и Моэма-писателя вкусы абсолютно разные. Моэм-читатель предпочитает литературу серьезную, сложную, многозначную, с удовольствием читает Хэзлитта, Андре Жида, Паскаля, Чехова, древних, философов. Сам же, как автор, присягает увлекательности и простоте, ориентируется на не слишком искушенные читательские вкусы и пристрастия. Когда правит рукопись — обычно сокращает и упрощает написанное. Однажды Моэм сказал Гэрсону Кэнину, что лучший комплимент сделал ему воевавший с японцами на Тихоокеанских островах американский солдат, в письме которого говорится: «Вы — мой любимый писатель. Я прочел три ваших книги и ни разу не заглянул в словарь». Еще одной подобного рода похвалы Моэм удостоился от знаменитого боксера Джина Танни, едва ли большого интеллектуала: «Когда я тренировался перед боем с Джеком Демси, то читал только „Время страстей

человеческих“. И одержал победу». Моэм любил цитировать Даниеля Дефо, который говорил, что идеальная литература — это когда двести человек из различных слоев общества в равной мере любят и понимают твои книги. За исключением, добавляет Дефо, сумасшедших и слабоумных. «А я бы, — откорректировал своего знаменитого соотечественника Моэм, — и слабоумных сюда включил тоже». Словно услышав эти слова, известный американский критик и писатель, друг Набокова Эдмунд Уилсон, который Моэма на дух не переносил, считал его не только автором второстепенным, но и мошенником, которого интересуют одни только деньги, заявил однажды, что читать Моэма только слабоумные и в состоянии. Уилсон, который, кстати, если что и ценил в прозе Моэма, так это «простоту, бесхитрость изложения», не учел, что слабоумных, судя по тиражам книг Моэма, насчитывается в мире много миллионов, и число их растет...

Моэм любит уют, сладкую, приятную, устроенную, размеренную, надолго вперед распланированную жизнь, в которой строго определено время и для работы, и для развлечений. И при этом не проходит и нескольких месяцев, как «Старикан», человек азартный, непоседливый, бросает друзей и знакомых, уютную виллу на Средиземном море. Он изменяет стилю жизни, который любит и которым тяготится одновременно, и, как и многие его герои, испытал чувство свободы, освобождения от ответственности, пускается в далекое, нередко опасное, сопряженное с тяготами и волнениями путешествие. В путешествие, где интересуется не столько достопримечательностями, сколько новыми людьми, где не раз подвергается смертельному риску и где, позабыв на время свои любимые сухой мартини, бридж и муки творчества, вынужден иметь дело с туземцами, бурным морем, коварными реками, непроходимыми джунглями, малосъедобной пищей, приступами малярии и бесконечно длящимся карантинном.

Более того, он теперь не раз повторяет, что писателю негоже сидеть на одном месте. «Почему бы вам не поехать, скажем, в... — любит посоветовать он собрату по перу. — Почему бы не пожить другой жизнью? И почему вы, писатели, никуда не ездите?! Вы же ограничиваете себя, обедняете свою жизнь...» И в качестве убедительного примера из собственной практики, будто в подтверждение своих слов, добавляет: «Если бы мы с Хэкстоном в 1916 году не попали на несколько дней в карантин на Паго-Паго, по пути из Гонолулу, я никогда бы не встретился с людьми, подсказавшими мне сюжет „Дождя“, моего, быть может, лучшего рассказа». О самом красноречивом примере такой непоседливости,

стремления любой ценой, говоря словами Томаса Манна, «освободиться от привычных связей с повседневностью»^[66], когда даже медовый месяц не явился препятствием для сопряженного с немалыми опасностями многомесячного путешествия в предреволюционную Россию, мы уже вкратце говорили и вскоре поговорим подробнее.

Верно, Моэм образцово терпелив, выдержан, тактичен. Когда Карл Пфайффер, въезжая на моэмовском «олдсмобиле» в гараж дома в Беверли-Хиллз, машину поцарапал, Моэм промолчал и только спустя некоторое время, словно невзначай, заметил: «Так я мог бы и сам въехать». Вместе с тем, при всей выдержанности, писатель, особенно в старости, далеко не всегда считает своим долгом скрыть раздражение, бывает резок, даже груб. Ему ничего не стоит, например, за игрой в бридж «вызвериться» на чересчур разговорчивую партнершу. При этом лексику он использует, прямо скажем, «неджентльменскую»: «Хотите играть в карты — заткните пасть!» Однажды, когда, опять же за бриджем, партнерша, обратив внимание, что Моэм закуривает, заявила, что не выносит табачного дыма, — досталось — правда, не в столь грубой форме — и ей. «Придется вынести, — выпуская дым, отрезал Моэм. — Курить я буду в любом случае». Неизменно корректный, вежливый Моэм нет-нет, а допускает досадные *faux pas*. В своей биографии Моэма Пфайффер рассказывает, как писатель, услышав в гостях грустную историю про женщину, которая, потеряв дочь, за сутки поседела, изрек: «Чаще надо было в салон красоты ходить!» Такие «остроумные» эскапады для Моэма, особенно в преклонные годы, как ни странно, довольно характерны. Под маской цинизма, бессердечия скрываются, скорее всего, так за всю жизнь и не изжитые комплексы нервного, чувствительного, обидчивого, обделенного судьбой ребенка-заики — такие дети в английской психологической терминологии именуются *deprived child* — обделенный ребенок. Ранняя смерть родителей, и прежде всего горячо любимой матери, а также жизнь «в людях» не могли не сказаться.

Цинизм сочетается у Моэма — и тоже в старости — со страстью к эпатажу, вызывавшему у собеседника недоумение, а то и откровенный испуг. Ему ничего не стоило, например, во всеуслышание заявить своей старинной приятельнице, пригласившей его на ленч: «Для полненьких женщин вроде вас, Миллисент, может быть только одно оправдание — ходить нагишом. Я не шучу. Немедленно раздевайтесь». Этому сдержанному, корректному *comme il faut* ничего не стоило заявить встретившейся ему в холле отеля совершенно не знакомой даме: «Я очень сожалею, сударыня, но до меня дошли слухи, что вы разорены». Когда его

тогдашний секретарь Алан Серл поинтересовался у патрона, зачем он это сказал, Моэм без промедления ответил: «У нее был слишком самоуверенный вид».

Моэм — и это отмечают едва ли не все биографы — был одновременно и прижимист (что, как известно, нередко случается и с очень богатыми людьми), и щедр, великодушен. Мог с легкостью безвозмездно дать малознакомому молодому писателю крупную сумму, а мог во всех подробностях рассказывать своим гостям, вгоняя их в краску, как много он заплатил на рынке за рыбу к ужину.

Он отличался отменным здоровьем, хотя за свою долгую жизнь ему пришлось переболеть и туберкулезом, и дизентерией, и ущемлением грыжи, и — не один раз — малярией. При этом до девяноста лет он ежедневно часами плавал в бассейне, взбегал, точно мальчишка, по крутой лестнице, ходил на яхте, во время путешествий проделывал огромные расстояния пешком. И при этом был необычайно мнителен, заботился о своем здоровье, лечился грязевыми ваннами, занимался омоложением организма, почти каждый год проводил по месяцу в лечебницах разных стран «в целях профилактики». «Стоит мне простыть, — писал Моэм в 1952 году в сборнике „Переменчивое настроение“, — и я незамедлительно ложусь в постель. Аспирин, грелка, ромовый пунш на ночь... и я готов побороться с болезнью»^[67]. Силы, скажем прямо, были явно не равны, и болезнь быстро отступала.

Моэм вел огромную переписку — в основном сам, а не через секретаря, — подробно и обстоятельно отвечал на все без исключения письма (а их приходило несколько десятков каждый день), в том числе и на письма недоброжелателей. Что не помешало ему в 1957 году обратиться через «Дейли мейл» ко всем своим адресатам, у кого сохранились его письма, с просьбой их вернуть или же уничтожить. Сам же Моэм в старости чуть ли не каждый вечер забавлялся тем, что устраивал, как он называл, «всесожжение»: сжигал в камине письма и прочие бумаги из семейного и литературного архива. Одной из навязчивых идей старика было любой ценой лишить его будущих «жизнеописателей» материалов для биографии, о чем уже шла речь в предисловии и будет сказано в последней главе.

Писал он, как уже говорилось, не больше трех-четырёх часов в день; когда путешествовал, по большей части вообще ничего не писал, кроме писем и коротких набросков. И при этом ухитрился только с 1931 по 1939 год опубликовать девятнадцать (!) книг: три романа, и два сборника рассказов, не печатавшихся прежде в журналах, и два сборника пьес, и

путевые очерки, и эссеистику. И заработать миллионы долларов. При этом Моэм никогда не стремился работать весь день, тем более ночь напролет. «Если Чарлз Дарвин, — шутил он, — работал ежедневно не больше трех часов и сумел изменить весь ход человеческой мысли, то с какой стати я, который никогда не имел в виду ничего менять, должен трудиться дольше?..» Но и за три часа Моэм успевал чрезвычайно много. Вот что значит жесточайшая самодисциплина, ему во все времена столь свойственная. Вместе с тем — еще один парадокс моэмовского характера — самодисциплина сочеталась у него с тягой к развлечениям (карты, застолье, яхта, увеселительные поездки) — но в умеренных дозах: делу время — потехе час.

Число подобных парадоксов, несоответствий, несочетаемостей в характере и поступках Сомерсета Моэма можно было бы, как говорится, «умножить и множить». Но мы уже и без того слишком забежали вперед и пора возвращаться на пятнадцать лет назад, когда в жизни Моэма еще и намека не было ни на «Мавританку», ни на развод с Сайри (еще не было, собственно, даже свадьбы), ни на шпионскую деятельность...

Глава 14 БОЕЦ НЕВИДИМОГО ФРОНТА

Своему успеху в литературе и театре Моэм обязан исключительно самому себе. Говорил же он Годфри Уинну: «Я писатель, который сделал себя сам». А вот своей карьере (впрочем, незадавшейся) разведчика — Сайри Уэллкам. Вскоре после приезда Моэма из Фландрии в отпуск в июле 1915 года Сайри знакомит писателя с любовником своей подруги, сэром Джоном Уоллинджером, сотрудником внешней разведки, ответственным за разведывательную деятельность во Франции и Швейцарии.

Уоллинджер (секретная кличка — «Р»), человек с виду простоватый, а на самом деле — весьма ушлый и проницательный, предлагает Моэму, узнав, что тот в совершенстве владеет французским, да и немецким тоже, переквалифицироваться из санитара-водителя авточасти Красного Креста в тайного агента. «Поживете, — вербует Моэма Р., — несколько месяцев в нейтральной Швейцарии, сочините там очередную пьесу, а заодно, в свободное, так сказать, от творчества время, поработаете резидентом британской разведки. Замените нашего постоянного агента, а то у него нервы сдали».

Информация про агента, у которого «сдали нервы», не может не настораживать, но предложение заманчиво, и Моэм без лишних раздумий его принимает. Во-первых, как мы знаем, он азартен, любит все новое, неизведанное. Во-вторых, и это нам тоже известно, он любит путешествовать, терпеть не может сидеть на месте. В-третьих, он по-прежнему преисполнен патриотических чувств, при этом работа в Красном Кресте ему уже порядком наскучила и он бы с удовольствием послужил родине в ином качестве. И, наконец, в-четвертых, он уже тогда, в 1915 году, на заре отношений со своей будущей женой, предпочитает держаться от Сайри, тем более Сайри беременной, подальше.

Моэм и Р. ударяют по рукам, и в октябре 1915 года английский прозаик и драматург, он же агент британской разведки Уильям Сомерсет Моэм с легким сердцем отбывает в Женеву. Отбывает Моэмом, а прибывает в женевский отель, на место своей новой службы, Эшенденом.

Под этим именем Моэм выступает в качестве рассказчика от первого лица в одноименном сборнике рассказов «Эшенден, или Британский агент», в которых описывается его жизнь в Швейцарии в роли тайного агента британской разведки. А также — в романе «Пироги и пиво», где тоже присутствует повествователь от первого лица и его тоже зовут

Эшенден. А также в рассказе «Санаторий» из сборника «Игрушки судьбы», где описывается быт туберкулезного санатория на севере Шотландии, известного Моэму не понаслышке. Эшенденом звали одного из соучеников Моэма в Кингз-скул; кто был этот соученик, что он собой представлял, как Уилли к нему относился, — «история умалчивает». Известно лишь, что в 1954 году на вопрос невестки другого своего школьного приятеля, почему в книгах Моэма так часто встречается это имя, писатель ответил: «Фамилию Эшенден я выбрал потому, что, подобно Дрифилду и Ганну, фамилия эта часто встречается в окрестностях Кентербери, где я провел свою юность. Первый слог этой фамилии (*ash* — пепел, зола) показались мне весьма значимыми».

Рассказчик Эшенден и в самом деле неуловимый, зыбкий, как пепел, предельно объективен и абсолютно не эмоционален, на описываемые события смотрит бесстрастно и со стороны. Неуловима, зыбка, туманна и его деятельность в роли тайного агента английской разведки в нейтральной Швейцарии: Эшенден, как правило, сам не знает причин, которыми руководствуется, целиком полагаясь на всемогущего и неуловимого Р. Об этой его (соответственно, и Моэма) прямо-таки кафкианской деятельности нам известно — в том числе и из сборника «Эшенден, или Британский агент» — немногое.

Эшенден-Моэм живет в женевском отеле, сочиняет комедию «Кэролайн», в которой угадываются их с Сайри непростые отношения, читает «Исповедь» Руссо, гуляет по старому городу, катается на лодке по Женевскому озеру. А в свободное от творческо-бездельной жизни время, строго следуя рекомендациям Р., поддерживает связь с другими агентами Антанты, строчит длинные (и едва ли кому нужные) отчеты, либо ездит в Берн, либо, переплывая на пароходке Женевское озеро, направляется во Францию, в Тонон, для получения дальнейших инструкций из Лондона. По приезде в Швейцарию первым делом отправляется в Люцерн, где устанавливает слежку за подозрительным англичанином, который хорош всем (обходителен, отзывчив, образован, сдержан), кроме одного — женат на немке. Этот эпизод своей славной и на удивление, как сказали бы теперь, «комфортной» разведдеятельности, в которой нет места ни выстрелам, ни преследованиям, ни допросам, ни отравлениям, описан Моэмом в рассказе «Предатель».

На «невидимом фронте» Моэм «провоевал» недолго — в общей сложности не больше года, с осени 1915-го по июль 1916-го. За это время съездил в феврале 1916 года в Лондон на премьеру «Кэролайн», принимал у себя в Женеве Сайри — слишком спокойная, размеренная жизнь в

Швейцарии ей быстро наскучила. А весной 1916-го обратился к Р. с просьбой освободить его от «занимаемой должности» — очень возможно, азартный Моэм, когда принимал предложение сэра Джона Уоллинджера, рассчитывал на что-то более увлекательное, интригующее. И рассчитывал зря: Р ведь предупреждал его, что никакой романтики и героики в его работе не будет. И не было. «Работа сотрудника внешней разведки, — напишет Моэм, исходя из собственного опыта и уже не питая никаких иллюзий, в предисловии „От автора“ к сборнику „Эшенден, или Британский агент“, — в целом крайне однообразна и нередко совершенно бесполезна».

Насколько эта работа была полезной, сказать трудно, но вот в том, что вся вышеприведенная информация о секретной деятельности Моэма в Швейцарии ненадежна, сомневаться не приходится; пишет же он в предисловии «От автора», что «факт — плохой рассказчик». Нельзя полностью исключить поэтому, что описанные в рассказах события выдуманы от начала до конца, хотя «выдумщик» из Моэма плохой — обычно в своей художественной практике он придерживается того, что принято называть «правдой жизни»; в его устах «факт — плохой рассказчик» — не более чем фигура речи.

Выдуманы эти рассказы или нет, но первоначально их вошло в сборник не пятнадцать, а вдвое больше, однако четырнадцать из них Моэм впоследствии уничтожил — и, скорее всего, не потому, что они не устраивали его с художественной точки зрения, а оттого, что не хотел (боялся) выдать «военную тайну». Настолько не хотел, что не устает повторять: «Жизненный материал, который эта работа дает писателю, — бессвязен и невыразителен; автор сам должен сделать его связным, волнующим и правдоподобным». Не верьте, дескать, ни одному моему слову.

О правдоподобию, как уже было сказано, мы можем только догадываться, но ни связным, ни волнующим автор, следует признать, этот жизненный материал не сделал. Рассказы — под стать шпионской деятельности самого Моэма — монотонны, скучноваты, однообразны и, главное, почти бессюжетны. В них — хотя «шпионский жанр», казалось бы, обязывает — напрочь отсутствует то, что по-английски называется трудно-переводимым словом *suspense*. Исключением является разве что «Джулия Лаццари». Как же мало похожи они на увлекательные, читающиеся на одном дыхании шпионские романы Джона Ле Карре или нашего Юлиана Семенова. Забавно, кстати, что Ле Карре, в чьих книгах деятельность разведчика — не грязная и скучная работа (а часто и

отсутствие таковой), как у Моэма, а увлекательный, динамично написанный триллер, пишет о воздействии сборника «Эшенден» на свои романы: «Рассказы из цикла „Эшенден“, безусловно, на меня повлияли. Моэм был первым человеком, который писал о работе разведчика без вдохновения, руководствуясь исключительно прозой жизни и не скрывая при этом своего разочарования». Еще более высоко оценивает написанные «без вдохновения» шпионские рассказы Моэма классик американского «крутого» детектива Реймонд Чандлер. «За исключением Ваших, значительных шпионских книг нет — я проверял и знаю, — писал Моэму в 1950-е годы Чандлер. — Есть приключенческие истории с, так сказать, шпионским элементом, но очень уж они искусственны. Слишком много бравады, тенор поет слишком уж громко и надрывно. К Вашему Эшендену они имеют такое же отношение, как опера „Кармен“ — к устрашающей маленькой новелле Проспера Мериме».

А вот Дэвид Герберт Лоуренс «Эшенденом» — как, впрочем, и его автором — не вдохновился. В рецензии на «Эшендена» для лондонского журнала «Вог» Лоуренс, который Моэма как писателя ставил невысоко, к тому же завидовал его успеху и процветанию, ругает автора «Эшендена» как раз за то, за что хвалят его Ле Карре и Чандлер. «Эти якобы серьезные истории — сплошная фальшивка, — не без известной предвзятости пишет автор „Любовника леди Чаттерлей“. — Мистер Моэм — великолепный наблюдатель. Люди, место действия его рассказов выходят у него лучше некуда. Но стоит его столь метко схваченным персонажам начать действовать, как начинается фальшивка».

Если у Лоуренса претензии к Моэму носят характер главным образом эстетический, то у рецензента «Литературного приложения к „Таймс“» — претензии иного — морального свойства. «Никогда еще не было и, наверно, не будет с такой убедительностью продемонстрировано, что в контрразведке нет места людям щепетильным, с чистой совестью», — автор рецензии явно обижен за «рыцарей плаща и шпаги». Рассказы из цикла «Эшенден» могут не понравиться — Лоуренс прав — своим бездействием и какой-то, я бы сказал, отрешенностью от реальности — не самое лучшее качество для агента контрразведки. Странно, однако, читать, что образцовый шпион должен, оказывается, отличаться щепетильностью и чистой совестью. У Эшендена, «бойца невидимого фронта», даже когда он бестрепетно отправляет на верную смерть героя рассказа «Предатель» или хладнокровно планирует взорвать военный завод, что чревато многочисленными жертвами, с чистой совестью все в порядке — в конце концов он выполняет свой долг; сказано ведь: «на войне как на войне».

Когда биографы обвиняют Моэма в отсутствии щепетильности, а порой и просто элементарной порядочности по отношению к жене Сайри, к своим многочисленным любовникам и любовницам, их еще можно понять. Но может ли идти речь о щепетильности и чистой совести, когда ты завербован агентом разведки, да еще во время мировой войны?

Кстати о биографах. Вот для кого эти рассказы, вне всяких сомнений, представляют немалую ценность. Куда большую, чем для любителя триллеров, который, раскрыв «Эшендена», будет почти наверняка разочарован: жизнь британского агента в Швейцарии ничего общего, как уже говорилось, с героикой и романтикой не имеет. Зато по Эшендену можно судить о сорокалетнем Моэме; автопортрет набросан, по всей вероятности, довольно точный. Моэм в обличье Эшендена узнаваем: сдержан, наблюдателен, предупредителен, собран, супернадежен. Отличается завидным здравомыслием, а также выдержкой, скромностью, дальновидностью, самоиронией. В известном смысле, если угодно, и щепетильностью. Любит бридж и коньяк и, в общем, равнодушен к людям, за которыми, в силу профессиональной привычки литератора и возложенных на него обязательств, тем не менее, зорко присматривает, словно доказывая: хороший писатель должен обладать задатками хорошего разведчика. И равнодушен — еще мягко сказано. Прочитируем еще раз Лоуренса: «Он (Моэм. — А. Л.) из кожи вон лезет, чтобы доказать, что все окружающие его мужчины и женщины либо подонки, либо круглые дураки... Они — не более чем куклы, прямое следствие авторских предрассудков...»

Любитель детективов и триллеров, таким образом, вряд ли получит удовольствие от рассказов Эшендена-Моэма; сложнее сказать, осталось ли довольно работой агента британских спецслужб Сомерсета Моэма лондонское начальство. Скорее да, чем нет, ибо спустя всего год, летом 1917-го, Моэм получил еще одно задание — куда более серьезное и ответственное.

Не успели Моэм и Сайри весной 1917 года сыграть свадьбу, как «труба вновь позвала в дорогу»: едва начавшаяся семейная жизнь подверглась первому — и далеко не последнему — испытанию.

На этот раз предложение Моэму поступило куда более заманчивое, да и от персонажа куда более колоритного. Старый знакомый братьев Моэм, располневший, круглолицый 32-летний баронет сэр Уильям Уайзмен, выпускник Кембриджа и чемпион своего колледжа по боксу, в 1917 году глава британского торгового представительства в Америке и «по

совместительству» руководитель британской разведки в США, задумал отправить в Петроград секретную миссию с целью помешать выходу России из войны. Что до Америки, то здесь задача перед Уайзменом стояла прямо противоположная — уговорить Штаты вступить в войну на стороне союзников. Эта же задача, кстати говоря, встанет спустя четверть века и перед Моэмом.

Моэму, а выбор (то ли по рекомендации Р., то ли по какой другой причине, то ли просто потому, что в этот момент никого лучше не нашлось) пал на него, поручалось незамедлительно отправиться в Петроград, оказывать поддержку, в основном финансовую, меньшевикам и регулярно слать Уайзмену шифровки о положении дел в стране. Положение же дел в России не могло не внушать серьезных опасений: было очевидно, что если к власти в конечном счете придут большевики, будет тотчас же подписан сепаратный мир с Германией и Россия из войны выйдет.

На этот раз положительный ответ на предложение Уайзмана дался Моэму не так легко, как два года назад, когда Р. вербовал его поработать секретным агентом в нейтральной Швейцарии. Верно, и в этот раз его азартная натура жаждала приключений. И в этот раз он всей душой готов был послужить королю и отечеству. И в этот раз расставание (возможно, долгое) с женой огорчало его не слишком. Вдобавок давно уже хотелось воочию увидеть страну Достоевского и Чехова, которых Моэм боготворил. Достоевского особенно: «„Братья Карамазовы“ — одна из самых выдающихся книг всех времен и народов... писатель вложил в нее все свои мучительные сомнения... все свои яростные поиски смысла жизни...»^[68] — писал Моэм в составленной им антологии «Десять романов и их создатели».

А еще — выяснить, сможет ли он изъясняться по-русски. Дело в том, что Моэм, находясь на Капри, уже начинал изучать наш нелегкий язык, точно так же, как брался в разное время за греческий, турецкий или арабский. Его первым (и последним) учителем русского языка был волосатый одессит карликового роста — какими судьбами его занесло на Капри, неизвестно. Зато известно (из моэмовских «Записных книжек»), что уроки одессит давал Моэму каждый день, учил же не особенно хорошо — был слишком робок и рассеян, да и «методикой преподавания иностранных языков» владел, подозреваем, не в совершенстве. «Он ходил в порыжевшем черном костюме и большой невообразимого фасона шляпе, — читаем в „Записных книжках“. — С него лил градом пот. Однажды он не пришел на урок, не пришел он и на второй, и на третий день; на четвертый я отправился его искать. Зная, что он очень нуждается, я опрометчиво

заплатил ему вперед. Не без труда отыскал я узкий проулок с белыми домами; мне показали, как пройти в его комнату на верхотуре. Это была даже не комната, а душный чердак под самой крышей, вся мебель состояла из раскладушки, стула и стола. Мой русский сидел на стуле, совершенно голый и очень пьяный, на столе перед ним стояла бутылка с вином. Едва я переступил порог, как он сказал: „Я написал стихи“. И без долгих слов, забыв о своей прикрытой лишь волосяным покровом наготы, с выражением, бурно жестикулируя, прочитал стихи. Стихи были очень длинные, и я не понял в них ни слова»^[69]. Не понял Моэм ни единого слова и когда оказался во Владивостоке.

Имелись в этом проекте не только плюсы, но и минусы. Главный минус — материнское «наследство»: слабые с детства легкие, которым русский климат никак показан не был. И еще один, не менее, пожалуй, существенный — ответственность поручения. «Он возражал, когда ему поручали эту миссию, говорил, что она ему не по плечу, но его протесты отменили»^[70], — говорится в автобиографическом рассказе «Любовь и русская литература» из цикла «Эшенден, или Британский агент», где есть рассказы не только из швейцарской жизни, но и из русской.

Моэм первым делом обращается к врачу, и тот ехать ему не советует. И все же, — вопреки советам эскулапа, слабому здоровью, ответственности поставленной задачи и реальной опасности, которая в мирной Швейцарии ему, по существу, не угрожала, а в воюющей, стоящей на пороге революции и хаоса России он, безусловно, подвергался, — Моэм предложение сэра Уильяма Уайзмана принимает и начинает собираться в дорогу. На скорое возвращение писатель не рассчитывает. «Я еду в Россию, — пишет он своему британскому театральному агенту Голдингу Брайту, тому самому, который лет десять назад вызвал его с Сицилии телеграммой, где говорилось, что „Леди Фредерик“ принята к постановке. — И, скорее всего, вернусь не раньше, чем кончится война».

Ниже — краткая хронология двух с половиной месячного пребывания Моэма в нашем славном отечестве накануне большевистского переворота. Место действия — Россия, Петроград. Время действия: июнь — октябрь 1917 года. Вот уж действительно: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые...»

20 июня 1917 года. Моэм, хоть и не без колебаний, принимает предложение сэра Уильяма Уайзмана отправиться в Россию с секретной миссией.

30 июня. В Нью-Йорке Моэм встречается с чешским эмигрантом

Эмануэлем В. Воска, который с еще тремя чешскими беженцами едет в Россию вместе с Моэмом для установления связи с Томашем Масариком, будущим президентом Чехословакии, под началом которого в России находится чешский экспедиционный корпус численностью 70 тысяч штыков. «Моя работа, — отметит Моэм впоследствии в „Записных книжках“, — близко свела меня с чехами — вот чей патриотизм не устает меня удивлять. Эта страсть, столь цельная и всепоглощающая, что вытесняет все другие. Эти люди, пожертвовавшие всем ради дела, должны вызывать скорее страх, чем восхищение. Порядок у них, как в универсальном магазине, дисциплина — как в прусском полку...»^[71]

18 июля. Моэм получает транзитную японскую и русскую визы, а также 21 тысячу долларов наличные расходы и на поддержку меньшевистской партии. В эту сумму заложена и зарплата Моэма, которую он, к слову, в Швейцарии не получал.

19 июля. Моэм выезжает из Нью-Йорка на Западное побережье. Его провожает молодая жена — на этот раз расставание, как ни странно, обходится без сцен.

28 июля. Моэм отплывает из Сан-Франциско в Токио, откуда должен прибыть во Владивосток.

Август. На транссибирском поезде, вместе с четырьмя чехами (Моэм делает вид, что с ними незнаком), писатель приезжает в Петроград и останавливается в гостинице «Европейская». Его приезду предшествует зашифрованная телеграмма в британское посольство следующего содержания: «Мистер Уильям Сомерсет Моэм (кодовое имя „Сомервилл“) находится в России с тайной миссией, цель которой — знакомить американскую общественность с положением дел в этой стране. Просьба предоставить ему возможность посылать зашифрованные каблограммы через британского генерального консула в Нью-Йорке. Сообщите телеграммой, когда Моэм явится в посольство». Посол его величества сэр Джордж Бьюкенен, разумеется, недоволен: мало того что ему навязали этого Моэма, вдобавок он еще должен пересылать его зашифрованные телеграммы, не зная к тому же их содержания.

Конец августа — сентябрь. В Петрограде Моэм встречается со своей давней, еще по Лондону, приятельницей, дочерью анархиста князя Кропоткина Сашей Кропоткиной. «В ее темных печальных глазах Эшенден увидел бескрайние просторы России». Саша — дама в высшей степени энергичная и целеустремленная, даром что с печальными глазами, — вхожа в правительство Керенского и сводит Моэма с членами Кабинета министров. Во время этих встреч — как правило, в «Медведе», одном из

лучших ресторанов города, — она подвизается в качестве переводчицы писателя. Моэм встречается с Керенским в «Медведе», на Сашиной квартире и в его кабинете, а также — с Томашем Масариком и с лидером меньшевиков, военным министром в правительстве Керенского Борисом Савинковым, который произвел на писателя очень сильное впечатление. «Мне рассказывали, — читаем мы у Моэма в „Записных книжках“, — что своими зажигательными речами он распропагандировал тюремщиков, и они дали ему убежать... „Чтобы организовать и совершить убийства, — сказал я, — несомненно, нужна невероятная смелость“. Он пожал плечами: „Отнюдь нет, можете мне поверить. Дело как дело, ко всему привыкаешь...“ Ничто в наружности Савенкова не говорит о его бешеном нраве».

Сентябрь. Моэм присутствует на Демократическом совещании в Александринском театре, «...среди собравшихся, — отмечает он в „Записных книжках“, — немало проходимцев, но в целом они произвели на меня впечатление людей не аморальных, а неразвитых и грубых; у них лица людей невежественных, на них написаны отсутствие мысли, ограниченность, упрямство, мужицкая неотесанность... Удивляет, что такие посредственности правят огромной империей... В Керенском не чувствуется силы... рукопожатие у него быстрое, порывистое, с лица у него при этом не сходит выражение тревоги. Вид у него... загнанный... Он взывает к чувствам, не к разуму... Люди, похоже, почувствовали, что перед ними искренний, прямодушный человек, и если он и допускал ошибки, это были ошибки честного человека... В нем постепенно проступило нечто жалкое; он пробудил во мне сострадание... он произвел на меня впечатление человека на пределе сил...» Портрет нарисован, согласитесь, отличный, узнаваемый.

По утрам Моэм берет уроки русского языка, по ночам шифрует свои донесения, а вечерами развлекается — ходит в театры, однажды попадает на собственную комедию «Джек Стро» в русском переводе, не сразу понимает, почему эта пьеса так хорошо ему знакома. На трагические события в России смотрит словно со стороны, как смотрят из партера увлекательную пьесу с непредсказуемым финалом, — «фирменное» моэмовское качество. «Он следил за Россией, как мы следим за действием пьесы, искренне восхищаясь тем, как мастеровито она выстроена», — писал о Моэме его друг, одно время популярный писатель, автор фантастических триллеров и любовных романов Хью Уолпол, хорошо знавший Россию и долго в ней живший. Происходящее в России, да и во всей Европе, не дает Моэму особых оснований для оптимизма.

«Маловероятно, чтобы мы в ближайшее время начали вновь жить нормальной жизнью, — пишет он Эдварду Ноблоку. — Чтобы, как встарь, каждое утро листали пухлую, солидную „Таймс“, ели на завтрак овсянку и джем. Очень скоро, мой дорогой, мы будем пылиться на полках в качестве реликтов рухнувшей цивилизации, и младшее поколение будет бросать на нас рассеянные взгляды...» По счастью, Моэм ошибается: уж он-то — «непотопляемый» — очень скоро, не пройдет и двух месяцев, вновь начнет жить нормальной, привычной жизнью с «Таймс» и овсянкой по утрам...

16 октября. Моэм посылает Уайзмену зашифрованную телеграмму, где сообщает, что Керенский теряет популярность и, скорее всего, долго не продержится. Моэм также высказывается в поддержку меньшевиков и предлагает разработанную им пропагандистскую программу этой поддержки, которую оценивает примерно в 50 тысяч долларов.

18 октября. Керенский вызывает к себе Моэма и передает ему письмо для британского премьер-министра — письмо чрезвычайной важности, по почте оно отправлено быть не может, передать его следует из рук в руки. Суть письма в следующем. Первое: Керенский вряд ли долго продержится. Второе: ему совершенно необходима военная помощь Антанты. Третье: он просит сменить посла Великобритании в России. В тот же день Моэм выезжает в Норвегию.

20 октября. Английский миноносец доставляет Моэма из Осло на север Шотландии.

23 октября. Моэм в Лондоне. Ему назначена аудиенция с премьер-министром на Даунинг-стрит, 10.

24 октября. Встреча Моэма с Дэвидом Ллойд Джорджем. Вслух Моэм письмо Керенского не читает — боится, что будет заикаться, молча передает послание премьер-министру.

Ллойд Джордж (*пробегает письмо глазами*): Сделать это я не могу.

Моэм: Что же мне сказать Керенскому?

Ллойд Джордж: Что я не могу выполнить его просьбу.

Моэм (*заикается*): Но п-п-почем-м-м-му?

Ллойд Джордж: К сожалению, я не могу продолжать наш разговор. У меня назначено заседание кабинета; я должен идти.

Ноябрь. Моэм собирается вернуться в Россию, однако 7 ноября происходит большевистский переворот, правительство Керенского низложено. Власть захватывают большевики и, как и предполагалось, сразу же начинают мирные переговоры с Германией. Возвращение Моэма в Россию лишено теперь всякого смысла.

18 ноября. На докладной записке Моэма Ллойд Джорджу помощник

военного министра сэр Эрик Драммонд помечает: «Боюсь, что сейчас этот отчет имеет лишь исторический интерес».

Конец ноября. Сопещение в кабинете главного редактора «Таймс» Эдварда Карсона, где рассматривается предложение вернуть Моэма обратно в Россию для поддержки Каледина и его казачьих частей.

Декабрь. Моэм вызывается на заседание кабинета министров. Уильям Уайзмен зачитывает вслух докладную записку Моэма о результатах его деятельности в России. Моэму предлагается выполнить очередную засекреченную миссию: выехать в Румынию с той же целью, с какой он был заслан в Россию, — приостановить мирные инициативы. Моэм отказывается: у него в очередной раз открылся туберкулез, и он вынужден срочно отправиться на лечение в санаторий.

Хотя Моэм, если смотреть на вещи формально, с возложенным на него заданием не справился, да и сам считал свою миссию провалом, — Россия ведь из войны вышла, проявил он себя в качестве «тайного миссионера», судя по всему, неплохо — в конце концов, кадровым разведчиком, в отличие, скажем, от Грэма Грина, Моэм никогда не был. Разобрался в хитросплетениях политической борьбы, установил связь с ведущими русскими политиками, дал некоторым из них точную характеристику, осуществил финансовую поддержку меньшевистской партии, и не его вина, что меньшевики уступили большевикам. Кроме того, он на удивление точно спрогнозировал развитие событий в Петрограде, не раз писал в «ставку» о слабости Керенского и растущей силе и популярности большевиков, не уставал повторять, что опереться Керенскому не на кого, долго он не продержится, и что необходимо помогать России оружием и деньгами, а не закулисными интригами. Информация, которой он регулярно снабжал Уайзмена, была, по мнению многих, более внятной и взвешенной, чем сведения, поступающие от других секретных агентов.

В русской политике и политиках, в русской общественной и культурной жизни, даже в русском быте и нравах, претерпевших за военные годы кардинальные изменения, Моэм, никогда прежде в России не бывавший, русского языка, по существу, не знавший, проживший в Петрограде всего-то два с половиной месяца, тем не менее, разобрался. И разобрался, надо признать, совсем неплохо. Прочитайте в его «Записных книжках» за 1917 год рассуждения о русском патриотизме, о пропасти, разделяющей англичан и русских, о русском национальном характере — чувство вины, несобранность, словоохотливость, самоуничтожение, — и вы сами в этом убедитесь. А вот в русской литературе, которую он любил, из-

за которой отчасти и отправился за тридевять земель с тайной миссией, разобраться писателю, хорошо знавшему и понимавшему литературу, не удалось.

В «Записных книжках», откуда мы уже привели по другому поводу несколько пространных цитат, русской литературе уделено немало места. С первых же записей, относящихся к 1917 году, Моэм дает понять, что «русская точка зрения» (если воспользоваться названием программной статьи Вирджинии Вулф, где писательница противопоставляет русскую литературу рубежа веков английской, и не в пользу последней) для него — основная побудительная причина поездки в Россию. «Причины, подвигнувшие меня заинтересоваться Россией, были в основном те же, что и у огромного большинства моих современников, — русская литература».

И тут, думается, самое время в очередной раз отступить от нашего повествования и сказать несколько слов об отношениях между Моэмом и русским читателем. Моэм высоко (в чем, впрочем, он не слишком оригинален) ставил Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова; «Войну и мир» и «Братьев Карамазовых» включил в свою антологию десяти лучших романов всех времен и народов «Великие романисты и их романы», о Достоевском и Чехове много и в разное время писал. Вот и русский читатель, в свою очередь, очень любил и продолжает любить Моэма — и романиста, и новеллиста. Правда, в конце сороковых годов прошлого века шедшая в Москве пьеса Моэма была снята с репертуара. Репертуарный комитет счел слишком легкомысленной для строящегося социализм советского зрителя комедию популярного английского драматурга, цель которого состояла в том, чтобы «духовно разоружить массы». Это мы процитировали конец антимоэмовской заметки в августовском номере «Литературной газеты» за достопамятный 1949 год. А полностью цитата звучит так: «Незадачливый английский шпион, который находится в услужении своих новых хозяев с Уоллстрит с целью духовно разоружить массы». Английским шпионом Моэм — что правда, то правда — оказался и впрямь не слишком «задачливым», но на своих «старых хозяев» — британскую разведку он работал, когда Советского Союза еще не было. В 1950-е годы, с приходом «оттепели», «массы духовно разоружились», и с этого времени Моэм в России — едва ли не самый известный и читаемый зарубежный автор, его книги регулярно и огромными тиражами издаются и переиздаются. Популярностью пользуются на русском языке не только романы и рассказы писателя, но и его эссе, путевые очерки, пьесы — переводились, правда, всего две; как драматург Моэм в нашем отечестве до сих пор незаслуженно мало известен. На русский язык (что видно хотя бы

из сносок в этой книге) Моэма переводила «вся королевская рать» российской англистики: К. Атарова, И. Бернштейн, Л. Беспалова, Н. Васильева, Н. Галь, Е. Гольшева, И. Гурова, Ю. Жукова, М. Загот, М. Зинде, Б. Изаков, Т. Казавчинская, А. Ливергант, М. Лорие, Н. Ман, Р. Облонская, В. Скороденко, И. Стам, О. Холмская. На русский язык Моэм переведен практически весь, остались незначительные лакуны, в основном это пьесы и путевые очерки, два из которых вошли в Приложение к этой книге. Выходит Моэм в России и по-английски. Моэм — и это общеизвестно — превосходный стилист. Пишет он просто, ясно, каждое слово на своем месте, — и на его легкой, изящной, ироничной, типично британской прозе учатся английскому языку многие поколения русских филологов, лингвистов, журналистов (начинают, как правило, с таких классических рассказов писателя, как «Легкий ленч» или «Человек со шрамом»).

Завершающий же аккорд этой главы будет, увы, не в пользу нашего героя. Да, Моэм любил русскую литературу, но как же банальны, невыразительны, а нередко излишне «выразительны» рассуждения Моэма о русской литературе в «Записных книжках» за 1917 год! Русская культура для Моэма хоть и привлекательна, но далека, и он — вопреки наказу едва ли известного ему Тютчева — упрямо и крайне самонадеянно пытается измерить ее «общим аршином». А бывает, что еще хуже, — и не общим.

В Тургеневе, к примеру, Моэм видит в первую очередь «сентиментальный идеализм». Основное, по Моэму, достоинство Тургенева — «любовь к природе» — трюизм, который в школе вбивали и в нас. Ивану Сергеевичу вообще не повезло: «...характеры у него шаблонные, галерея созданных им героев небогата». Всем бы писателям, в том числе и Моэму, такую «небогатую» галерею героев! И обидно тут не столько «за державу», то бишь за автора «Муму» и «Вешних вод», сколько за самого Моэма, — ведь он многократно доказывал, что в литературе разбирается тонко и глубоко.

Еще больше, чем Ивану Сергеевичу, не повезло Николаю Васильевичу. «Ревизор», убежден Моэм, — это «до крайности ничтожный фарс», «банальная пьеска», которую почему-то так высоко оценили критики, «имеющие понятие о литературе Западной Европы». То есть надо понимать, что знающие европейскую литературу на такую «пьеску», как «Ревизор», ни за что не польстятся. Тут, правда, литературная близорукость Моэма отчасти простительна — он наверняка читал (смотрел?) «Ревизора» в слабом переводе, — да и есть ли, за исключением набоковского, сильные?

Достоевский, по не вполне ясной причине, напоминает Моэму Эль

Греко. «Оба владели даром видеть скрытое видимым, — довольно невнятно поясняет Моэм. — Обоих обуревали сильные чувства, яростные страсти»^[72]. Все талантливые художники, отнюдь не только Достоевский и Эль Греко, «владели даром видеть скрытое видимым» — иначе они не были бы талантливыми, да и «сильные чувства и яростные страсти обуревали» конечно же не только русского и испанца. Впрочем, это довольно натянутое сравнение понять — во всяком случае психологически, — пожалуй, можно. Моэм ведь любил испанцев и все испанское, от Эль Греко и Игнатия Лойолы до барочных деревянных алтарей, от Веласкеса до боя быков, и любил Достоевского — отчего бы не сравнить то, что любишь?

Принадлежат Моэму на ниве русской литературы и настоящие «открытия»: в толстовском Нехлюдове из «Воскресения» он разглядел то, чего до него не видел никто и вряд ли увидит: мистицизм, бестолковость, бесхребетность, упрямство. Комментарии, как говорится, излишни.

Встречаются в «Записных книжках» за 1917 год и истинные перлы. «У Чехова речь всегда идет о том, что его взволновало». Как будто другие писатели, и Моэм в том числе, пишут о том, что их «не взволновало». Моэм, впрочем, как мы уже убедились, писатель по большей части «не взволнованный». Или: «Свойственный русской литературе культ страдания... сужает кругозор». У главных «служителей этого культа», Толстого и Достоевского, кругозор как будто бы не сужен. Или: «В русской литературе поразительная скудость типов». Поясним: с точки зрения Моэма, все без исключения герои русской литературы вмещаются в диапазон между Ставрогиным и Алешей Карамазовым. Неужели Моэм не чувствует, что дистанция между этими персонажами огромного размера? Или: «В русской словесности... ирония груба и прямолинейна». Или: «Юмор Достоевского — это юмор трактирного завсегдатая, привязывающего чайник к собачьему хвосту». Подобное «открытие», еще более смелое, чем в случае с Нехлюдовым, пришлось бы по душе разве что Владимиру Набокову, который, как известно, Достоевского жаловал не очень...

Итог, прямо скажем, неутешителен. Русскую литературу Моэм, вполне может быть, и любит, но оригинальничает, судит о ней поверхностно, к тому же свысока, словно до нее снисходит, и, честно сказать, не больно-то хорошо ее знает...

Рассказы Моэма, в которых описывается предреволюционная, уже погруженная в хаос Россия и которые вошли в сборник 1928 года «Эшенден, или Британский агент», также не удались. В рассказах «Белье

мистера Харрингтона» и «Любовь и русская литература» ощущаются заданность представлений о России, унылое однообразие мотивов, сюжетов и персонажей, просчитываемость концовок. Например, смерть бедного, упрямого, трогательного, чистосердечного американца Харрингтона, на свою беду и не очень-то понятно зачем приехавшего в Россию и в недобрый час отправившегося за выстиранным бельем. Над петроградскими рассказами, включенными Моэмом в цикл Эшендена, веют шаблонные, не лишённые, впрочем, некоторых оснований представления преуспевающего западного интеллектуала, привыкшего есть по утрам «свою» овсянку и просматривать пухлую, солидную «Таймс», о диких, неизлечимых нравах этой далекой неведомой страны Толстого — Достоевского — Чехова. Присущие Моэму наблюдательность, острый, ироничный ум, умение увидеть главное с документальной прозы на художественную на этот раз, к сожалению, не «перекинулись».

Но это — досадное исключение из правила. Обычно же путевые зарисовки Моэма, неутомимого путешественника, становились отличным «полигоном» для Моэма романиста и, прежде всего, новеллиста. Как это было, к примеру, в сборнике путевых очерков «Джентльмен в гостинной», откуда мы перевели в Приложении несколько глав. В этом сборнике нон-фикшн «плавно» перетекает в фикшн и обратно: из путевого очерка нередко рождается рассказ, а затем рассказ может вновь превратиться в путевой очерк — и тот и другой вполне увлекательные.

Не зря же Моэм многократно объяснял жене, когда та устраивала ему скандалы из-за его постоянной охоты к перемене мест, что главный трофей, который он привозит из путешествий, — это его книги. «По натуре я бродяга, — с такого признания повествователя начинается рассказ „В чужом краю“ из сборника „Космополиты: очень короткие рассказы“, — однако путешествую не для того, чтобы любоваться внушительными монументами, вызывающими у меня, без всякого преувеличения, самую настоящую скуку, или красивыми пейзажами, от которых быстро устают глаза. Нет, я разъезжаю по миру, чтобы знакомиться с людьми»^[73]. А знакомится с людьми Моэм — закончим мы за повествователя его мысль, — чтобы, вызвав рассказчика на откровенность, пересказать его историю читателю. Историю по возможности увлекательную, ибо, как говорится в предисловии все к тем же «Космополитам»: «Увлекательное происшествие — основа литературы».

Глава 15 ОХОТА К ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ

Для Моэма охота к перемене мест не только не была, как для Онегина, «весьма мучительным свойством» и «добровольным крестом», но помогала жить и — что для литератора немаловажно — писать. Больше того — была, по существу, образом жизни. Про Моэма можно было бы повторить то, что говорил про себя классический герой английской литературы, такой же, как и Моэм, неустанный путешественник: «Я обречен самой природой и судьбой вести деятельную и беспокойную жизнь»^[74].

Впрочем, сравнение Моэма с Лэмюэлем Гулливером натянуто. Верно, Моэм, как и Гулливер, «оставался с женой и детьми не больше двух месяцев, потому что мое ненасытное желание видеть чужие страны не давало мне покою». Однако, неутомимо и рискованно путешествуя, Моэм ухитрялся, где бы он ни находился — на палубе или в джунглях, — вести жизнь, пусть и деятельную, но никак не беспокойную, в высшей степени продуманную и размеренную. Кроме того, в отличие от героя Свифта, ему «не давало покою» не «желание видеть чужие страны», любоваться «внушительными монументами и красивыми пейзажами», а желание знакомиться с жизнью *других* людей, чтобы потом пересказать ее читателю.

Его путешествия, которых в общей сложности набралось не меньше десятка — и это только далекие, экзотические странствия, ежемесячные поездки по Европе (Италия и Испания прежде всего), ежегодные плавания по делам в США, путешествия по Египту, Греции, Турции, по казенной надобности в Швейцарию и Россию в расчет не идут, — были, как мы сказали бы сегодня, «творческими командировками», планомерными поисками сюжетов и героев.

По большей части Моэм путешествует с определенной, хорошо продуманной целью. Задумал, к примеру, написать роман из жизни художника, похожего на Гогена, — отправляется на Таити. Задумал героя, увлекшегося Ведантой, — устремляется в Индию. Решил, что действие любовного романа будет происходить в Гонконге, — отправляется в сентябре 1919 года в Индокитай. Задумал создать психологический портрет француза, которого за убийство ссылают в заморскую исправительную колонию, — плывет из Нью-Йорка в административный центр каторжных поселений во Французской Гвиане Сен-Лоран де Марони, откуда привозит наброски романа «Рождественские каникулы» и два рассказа: «Человек, у которого была совесть» и «На государственной службе».

В главе «Сладкая парочка» мы очертили хронологию странствий Моэма, совпавших с его двенадцатилетним браком. За эти двенадцать лет, с 1917-го по 1929-й, Моэм почти каждый год покидал Англию и семью на полгода и больше; как правило, уезжал поздней осенью и возвращался весной следующего года. К этим семи путешествиям писатель после расторжения брака приплюсует еще три: во Французскую Гвиану и на Гаити с ноября 1935-го по март 1936-го; в Индию с декабря 1937-го по конец марта 1938-го; и в Японию с октября 1959-го по март 1960-го. Лишь дважды из десяти раз — если не считать, конечно, многочисленных поездок в Северную Америку — писатель устремлялся на Запад. Восток (Таити, Самоа, Новая Зеландия, Австралия, Индокитай, Малайская Федерация, Борнео, Индия, Япония) притягивает и его, и его героев куда больше, чем Запад или Юг, — в Африке писатель бывал лишь в Египте и Марокко.

Когда Моэм вместе с Хэкстоном, поднявшись на корабль в Сан-Франциско, отправился на Таити, ему было сорок два; когда вернулся из Японии, — восемьдесят шесть. В два раза больше. Но — по порядку.

«Я путешествую, — писал Моэм в „Джентльмене в гостинной“, — потому что люблю переезжать с места на место. Путешествие дает мне чувство свободы, освобождает от ответственности, обязанностей. Меня влечет все неведомое; я встречаю непривычных людей, которые какое-то время представляются забавными, иногда они к тому же подбрасывают мне сюжет для рассказа. Я часто от себя устаю, и мне начинает казаться, что, путешествуя, я способен добавить кое-что к своей личности, а значит, немного измениться. Из путешествия я возвращаюсь не совсем тем человеком, каким был, когда в путешествие пустился...»

Итак, путешествие для Моэма, с одной стороны, — «творческая командировка», погоня за «литературными трофеями», с другой — попытка обрести чувство свободы, уйти от ответственности и повседневных обязанностей. В частности, как мы уже заметили, — от обязанностей главы семьи, супруга и отца.

Объездил Моэм, по существу, весь мир. Проще сказать, где его не было, чем где он побывал, и при этом его странствия, при всем многообразии перипетий и впечатлений, имеют немало общего — они проходят в строгом соответствии с намеченным планом, комфорт и уют, где бы путешественники ни находились, ценятся превыше всего.

Путешествует он, как мы знаем, вдвоем с Джералдом Хэкстоном, а после войны, соответственно, — с Аланом Серлом. Моэм и Хэкстон, как и на Ривьере, неразлучны. Когда в 1938 году в Индии вице-король лорд

Линлитгоу пригласил Моэма на ленч без его секретаря, персоны нон-грата в Великобритании и странах Содружества, писатель это заманчивое приглашение из солидарности с другом не принял.

К услугам путешественников имелись все виды «водного транспорта», от фелюг, прау, джонок, лихтеров и катеров до многопалубного пассажирского парохода, рассчитанного на несколько сот человек и отплывающего в далекие края либо из Марселя, либо из Нью-Йорка, либо, если плыть предстоит к тихоокеанским островам, — из Сан-Франциско. Пассажиры такого парохода варьируются от сезонных рабочих на нижней палубе и путешествующих по казенной надобности до весьма состоятельных джентльменов вроде самого Моэма. От молодоженов, отправившихся в теплые края провести медовый месяц, до почтенных старцев, которым кругосветное путешествие прописано врачами.

Большую часть времени на пароходе Моэм обычно проводит у себя в каюте — по обыкновению много читает, заранее запасшись целым чемоданом тщательно отобранных книг, пишет письма, ведет дневник, делает, словно художник, зарисовки пассажиров. «Я плыл из Гонолулу в Паго-Паго, — пишет Моэм в предисловии к двухтомнику полного собрания своих рассказов, — и по привычке делал мимоходом зарисовки своих попутчиков, чем-нибудь обративших на меня свое внимание — а вдруг в будущем пригодятся»^[75]. Пригодились. К обществу присоединяется лишь изредка — выпить мартини или сыграть в карты, главным образом в покер или бридж. И, как всегда, неукоснительно следует своему давно и навсегда установленному в путешествиях распорядку: утро — работа, в 12.00 — коктейль в курительной, до 12.45 прогулка по палубе — тут-то зорким писательским глазом зарисовки и делаются; в 13.00 — второй завтрак, после же завтрака писатель, как правило, не выходит из каюты до самого вечера.

За «внешние сношения» отвечает общительный и обаятельный Хэкстон, в его задачу входит поиск потенциальных литературных персонажей, и с задачей этой секретарь и компаньон справляется превосходно, куда лучше — скажем сразу, — чем сменивший его «на этом посту» Алан Серл. Чутье Хэкстона, как правило, не подводит, да и маящимся от безделья пассажирам обычно есть что рассказать, чем поделиться; людям незнакомым, которых мы, скорее всего, видим в первый и последний раз, нам ничего не стоит с готовностью выложить то, чего мы никогда не рискнем поведать друзьям или родственникам.

Самым удачным из литературных трофеев Хэкстона можно, без сомнения, считать аппетитную, смазливую блондинку Сейди Томпсон,

которая на всем протяжении пути из Гонолулу до Апии на Западном Самоа, где собиралась устроиться барменшей, демонстрировала недвусмысленный интерес к противоположному полу, нарядам «невинного» белого цвета (перекличка с Сайри?) и нескончаемым танцам под патефон. Всю ночь красotka в белом платье, белой шляпе и высоких белых сапогах ставила одну пластинку за другой, чем выводила из себя многих пассажиров, больше же всего — благонравную чету миссионеров из Новой Англии. Что впоследствии легло в основу сюжета, безусловно, лучшего и самого известного рассказа (а также спектакля и фильма) Моэма «Дождь». Когда Моэм с Хэкстоном, миссионерская чета и Сейди Томпсон вынуждены были задержаться из-за карантина на Паго-Паго, идея рассказа, пусть и в общих чертах, уже у Моэма сложилась, о чем свидетельствует соответствующая запись в его записной книжке: «После полицейской облавы проститутка бежит из Гонолулу, сходит в Паго-Паго. С ней вместе сходят миссионер с женой. И рассказчик. Все они вынуждены некоторое время оставаться на острове из-за эпидемии кори. Выяснив, чем она занимается, миссионер ее преследует. Унижает, стыдит, требует покаяния... Убеждает губернатора вернуть ее в Гонолулу. Однажды утром миссионера находят с перерезанным горлом — дело его собственных рук, девица же вновь весела и уверена в себе. На мужчин смотрит с пренебрежением и восклицает: „Грязные свиньи!“».

Иногда и сам Моэм, преодолевая природную стеснительность, заводит с пассажирами знакомство, и эти мимолетные отношения, про которые Чехов говорил, что «летние знакомства не годятся зимой», перерастают порой в дружбу — бывает даже на всю жизнь. Так, по пути в Гонолулу Моэм знакомится и сходитя с брокером из Сан-Франциско, немецким евреем родом из Гватемалы Бертраном Алансоном, который неплохо разбирается в литературе, любит Сервантеса, а также итальянскую оперу, но еще больше испанского классика и оперы — современных знаменитостей вроде Сомерсета Моэма или Артура Рубинштейна. А еще больше и тех и других любит презренный металл; умеет, как мало кто, вложить капитал в надежное и выгодное дело и извлечь из него немалую прибыль. Перед войной Моэм поместил в инвестиционный фонд Алансона 15 тысяч долларов, которые после 1945 года нежданно-негаданно обернулись миллионом. За 35 лет дружбы (приезжая в Сан-Франциско, Моэм неизменно останавливался в гостеприимном доме Алансонов), с 1922 по 1958 год, Алансон во много раз приумножил литературные гонорары писателя. «Колдун», как называл Моэм Алансона, обогатил не только друга, но и его секретарей Джералда Хэкстона и Алана Серла, а заодно и

племянника Робина Моэма.

По приезде в «пункт назначения» Моэм с Хэкстоном поселяются — если это не совсем уж глухое место — в приличном (по тамошним, естественно, меркам) отеле или же в домах местных европейцев. Случается, как это было в Турции в 1952 году, когда Хэкстона сменил Алан Серл, прямо в гавани писателя встречается полицейский, которому приказано повсюду сопровождать заезжую знаменитость, быть его личным телохранителем, отвечать за его безопасность головой.

Любуются достопримечательностями. От дворцов до вулканов — извержение вулкана Килауэла на Хило, одном из островов Гавайского архипелага, произвело на Моэма неизгладимое впечатление. От пагод и буддийских храмов, подобно рангунскому Шве-Дагону, описанному в бирманских путевых очерках, до Луксора и руин Ангкор-Вата в Пномпене. От помпезного, вычурного здания оперы в Сайгоне и Асуанской плотины до храма XVII века богини Сивы в индийской Мадуре, где Моэм ощутил «что-то таинственное и ужасное» и где прихожане, раздевшись до пояса, натирали кожу белым пеплом сожженного коровьего помета и ложились на пол лицом вниз. От Марузена, самого большого книжного магазина в Токио, где в 1959 году при огромном стечении читающей публики проходила транслировавшаяся по телевидению презентация книг престарелого Моэма, до Тадж-Махала, от которого писатель, по его собственным словам, «потерял дар речи». От переливающихся в лучах заходящего солнца минаретов на берегах Ганга до кварталов «красных фонарей» в Сингапуре или Гонолулу.

Моэму было интересно всё. В «Записных книжках» подробно и красочно описываются и дом даяков на сваях, с крытой тростником кровлей. И базар в Кичунге с лавками, где толкуются китайцы и бурлит не стихающая ни днем ни ночью типичная для китайских городов жизнь. И буйные заросли джунглей с возносящимися до небес деревьями-великанами с пышными кронами.

Любуются Моэм с Хэкстоном отнюдь не только видами. На острове Деливранс они участвуют в ловле акул. На Яве, на вокзале, не без удивления наблюдают за несколькими «удрученного вида» мужчинами и женщинами в наручниках; оказывается, это туземцы-христиане — восьмером они ничтоже сумняшеся отправились обращать в христианство местных жителей. На мусульманском кладбище в Индии становятся свидетелями сцены еще более диковинной: факиры пронзают себе щеки и язык кинжалами и вырезают глаза, после чего как ни в чем не бывало разгуливают по кладбищу. Во Французской Гвиане около месяца Моэм

изучает жизнь осужденных в исправительной колонии. Бывшие убийцы, приговоренные из-за смягчающих вину обстоятельств не к гильотине, а к длительному тюремному заключению, ходят в легкомысленного вида розово-белых пижамах, круглых соломенных шляпах и деревянных башмаках и в общем-то не тужат. «Я целыми днями расспрашивал заключенных, которые охотно со мной разговаривали, — вспоминает Моэм, — о причинах, приведших их к преступлению. И выяснил, что истинная подоплека не страсть, не ревность, не зависть, не обида, не страх, не месть, а деньги»^[76]. В «Записных книжках» Моэм называет нравы, царящие в Сен-Лоран де Марони, «зверством, которое почти всех доводит до апатии и отчаяния», описывает, как он разговорился с одним таким осужденным, который перерезал горло собственной жене. На вопрос Моэма, зачем он это сделал, последовал лапидарный ответ: «Manque d'entente»^[77]. «Если бы все мужья расправлялись со своими женами на том же основании, — прокомментировал этот ответ Моэм, — не хватило бы никакой, даже самой поместительной колонии». В Киото 85-летний писатель несколько часов подряд просиживает на татами и с любопытством смотрит, как местные гейши танцуют в его честь танец «Четыре времени года», а потом показывают, как следует разложить на ночь подушки, чтобы не испортить свои сверхсложные, многоярусные прически. В Бомбее его осаждают сотни индийских студентов, желавших поговорить с живым классиком английской литературы о смысле жизни. В Гонолулу, в 1916 году, местный судья, подружившись с Хэкстоном, приглашает Моэма и его спутника на заседание суда, где судят местных проституток и сутенеров, и тех и других в общей сложности больше сотни. Моэм имеет возможность не только разглядывать «ночных бабочек» в зале суда, но и общаться с ними. Биограф писателя Вильмон Менар рассказывает, что как-то раз хозяйка борделя, поинтересовавшись у Моэма, кого он предпочитает, мальчика или девственницу, и получив ответ «Ни того, ни другую», заявила: «Раз пришел болтать языком, а не делом заниматься, придется тебе заплатить мне не один доллар, а два. На постель, видишь ли, времени уходит мало, на болтовню вдвое больше!»

Общаются Моэм и Хэкстон с местным туземным населением. Общаются охотно, однако особых иллюзий на его счет не питают: ленивы, хитры, себе на уме, вороваты. Немногим лучше, впрочем, и представители местной администрации, одного из которых, новозеландца из Алии, Моэм вывел в замечательном рассказе «Макинтош» и про которого записал: «На туземцев он смотрит как на своенравных, несговорчивых детей,

неразумных существ, с которыми надо вести себя по-свойски и им не спускать. Хвастает, что остров у него блестит, как начищенный медный грош». «Своенравные и несговорчивые дети» доставляют немало хлопот губернаторам и резидентам — но только не Моэму с Хэкстоном: им с ними делить нечего.

«Культурная программа» Моэма и Хэкстона древними дворцами, пагодами и руинами не ограничивается. Перед отъездом с Самоа, в самом начале 1917 года, писатель посещает могилу Стивенсона, а по приезде в Новую Зеландию в январе того же года осматривает Веллингтон и даже испытывает не свойственную ему ностальгию по родине. «Новая Зеландия забавна, — записывает Моэм, — но в основном из-за их чудного английского языка. Я-то думал, что Веллингтон похож на американский город где-нибудь в западных штатах, а он, скорее, смахивает на наш Бристоль или Плимут... Признаться, даже домой вдруг захотелось».

Примерно такие же — иронически-трогательные — нотки звучат и в изображении Австралии, и здесь самое ходкое слово в описании местных нравов — «забавный». «В Австралии я проводил время самым забавным и удивительным образом, — пишет Моэм своему другу Ноблоку. — Вы знаете, конечно же, что Каир — это рай для людей пожилых и никому не нужных. Так вот, Сидней — это Мекка для дряхлого, немощного автора. Последнего писателя, которого они видели, был Роберт Луис Стивенсон, и говорят они о нем по сей день. Когда я приехал, приняли меня с исключительным радушием и энтузиазмом, хотя в их распоряжении не было ничего, кроме духового оркестра и парового катка».

Сочетается культурная программа Моэма и с программой творческой. С февраля по март 1917 года Моэм, задумавший роман про художника, живет вместе с Хэкстоном на Таити в отеле «Тиаре», где писатель и его секретарь прилежно изучают таитянские жизнь и творчество Поля Гогена, приехавшего сюда четверть века назад, в 1890 году, в возрасте тридцати девяти лет. Изучает, собственно, не столько Моэм, сколько Хэкстон — своего спутника и секретаря писатель, точно ищейку, посылает «по следу» художника. Джералд бродит по барам, кафе и частным домам, заводит беседы с местными жителями, общавшимися с Гогеном, после чего сводит их с Моэмом. Местный торговец жемчугом Эмиль Леви, хорошо знавший Гогена, рассказывает Моэму, что художник не ладил с местным населением, вел себя вызывающе, делал долги и вводил себе морфий. Капитан Брандер по кличке «Везунчик» был на борту шхуны, на которой Гоген в 1901 году уплыл с Таити на Маркизские острова, — он и рассказал писателю, как художник умер. Вдова местного царька, награжденного за заслуги перед

французским протекторатом орденом Почетного легиона, толстая, седовласая матрона, любившая сидеть на полу и курить одну за другой крепчайшие местные сигареты, по секрету сообщила Моэму, что в доме по соседству есть росписи Гогена. Вот откуда в кабинете писателя в «Мавританке» появилась расписанная Гогеном балконная дверь. Расписал ее Гоген в благодарность местным жителям, приютившим художника, когда тот тяжело заболел. Купил Моэм эту дверь всего за 200 франков (хозяин, собственно, просил вдвое меньше, да и то, чтобы было на что купить и навесить новую дверь), а в 1962 году на аукционе «Сотби» продал ее почти за 40 тысяч долларов.

И все же главный трофей, вывозимый Моэмом из своих многочисленных «заграничных турне», — это человеческий материал, соотечественники, живущие за границей, будь то, как новозеландец из Апии, представители местной администрации или же предприниматели, плантаторы, констебли, полицейские, судьи, моряки, искатели приключений; они-то и становятся главными героями романов и рассказов писателя.

Во время многомесячных странствий по Индокитаю, Малайе, Борнео, Таити, Карибам Моэму удастся создать обширную галерею англичан (а также французов, американцев, немцев, скандинавов, голландцев) за границей. Их словесные и психологические портреты Моэм сначала, по горячим следам, набрасывает в записных книжках, а затем выводит в путевых очерках («На китайской ширме», «Джентльмен в гостиной»), в романах («Узорный покров», «Малый уголок»), в пьесе «К востоку от Суэца», «Записка» и, естественно, во многих рассказах. Описанный в «Записных книжках» «восемнадцатилетний юноша... весьма хорош собою: синие глаза и кудрявые каштановые волосы густой гривой падающие на плечи... прелестная улыбка... бесхитростен и наивен, в нем сочетаются энтузиазм молодости и повадки кавалерийского офицера», мог вполне стать прототипом чистосердечного, простого и непосредственного, сторонящегося женщин Нейла Макадама из одноименного рассказа. «Миниатюрненькая, полненькая женщина с остренькими, хитренькими глазками», которая ходит в ажурных блузках и обожает анекдоты, и ее муж «с длинными жидкими, волнистыми волосами» и «странно болтающимися руками и ногами» очень напоминают чету Саффари из рассказа «Край света». Пятидесятилетний высокий худощавый школьный учитель «с изборожденным морщинами лицом... густой гривой седых волос, седой щетиной и щербатыми, тусклыми зубами» — анахорета с Капри Томаса Уилсона из рассказа «Вкусивший нирваны». Гай Хейг, бывший

американский моряк с Лонг-Бич, а ныне ученик и последователь индийского мудреца и святого, — Ларри Даррелла, героя романа «Острие бритвы». А высокий, худой мужчина средних лет, «руки и ноги длинные, словно развинченные, впалые щеки, большие, глубоко посаженные, темные глаза, полный, чувственный рот... слегка похож на мертвеца, но внутри — скрытое пламя»^[78] — это конечно же прототип миссионера из «Дождя». Того самого, который не устоял перед чарами обаятельной шлюшки Сейди Томпсон.

Среди героев этой многолюдной и многокрасочной «человеческой комедии» (чаще, впрочем, — трагедии) — и английский колониальный чиновник, проживший в Китае двадцать лет, считающий себя — и не без оснований — «специалистом по местному населению» и пользующийся старым, многократно испытанным методом кнута и пряника. И местные плантаторы и сотрудники крупных, преуспевающих торговых фирм, которые держатся от «местных» подальше и, находясь от родины в десятке тысяч миль, пытаются воссоздать старую добрую Англию в тропиках. Они упрямо ведут английский образ жизни, общаются исключительно с соотечественниками, «лечатся» от ностальгии и жары стаканчиком-другим виски, на ужинах у губернатора носят фраки или белоснежные пиджаки, ежегодно вышагивают на парадах в день рождения короля. Регулярно ходят в местные охотничьи клубы — даже если охотиться не на кого и не с кем: охотничьи собаки жаркий климат переносят еще хуже, чем люди. Играют в гольф и теннис и читают английские газеты — не беда, что «Таймс» приходит с полуторамесячным опозданием...

И их антиподы — эти экс-англичане полностью «китаизировались» и «малаизировались», женятся на туземках, заводят от них детей-полукровок, иной жизни себе не представляют, и если и ездят в отпуск в Англию, то ненадолго и без особой охоты. На родину они не стремятся не только потому, что связь с ней за многие годы утеряна, но еще и потому, что жизнь в колониях более благоустроена и дешева, чем в метрополии. В Китае или в Малайзии — не то что в Англии — почти каждая семья может себе позволить боя, повара, садовника, а то и шофера. Если же жизнь брачной четы становится слишком уж пресной и хочется «глотка цивилизации», то куда удобнее, а главное дешевле съездить не за тридевять земель в Лондон, а в Гонконг, в крайнем случае, — в Сидней. Одного такого «экс-англичанина» Моэм очень красочно и убедительно изобразил в «Записных книжках»: «Ему чуть за сорок, росту он среднего, худой, очень смуглый, с черными, начинающими плешиветь волосами и большими глазами навывкате. С виду похож не на англичанина, а скорее, на левантинца.

Говорит монотонно, без модуляций. Столько лет прожил в глуши, что теперь на людях смущается и молчит. У него туземка-жена, которую он не любит, и четверо детей-полукровок, которых он отправил учиться в Сингапур, чтобы потом они поступили в Сараваке на службу в правительственные учреждения. Не имеет ни малейшего желания уехать в Англию, где чувствует себя чужаком. По-даякски и по-малайски говорит как коренной житель; он здесь родился, и склад ума туземцев ему ближе и понятнее английского»^[79]. Таких «чужаков» можно встретить почти во всех «восточных» рассказах писателя.

Своим странствиям Моэм обязан многими любопытными, запоминающимися встречами.

По пути из Рангуна в Бангкок в ноябре 1922 года, который Моэм с Хэкстоном проделали через джунгли на пони и мулах, в деревеньке на берегу реки Салвеен писатель повстречал итальянского священника в старенькой рясе и выдавшем виды тропическом шлеме. Оказалось, этот итальянский Робинзон безвыездно прожил в джунглях двенадцать лет, за последние полтора года видел белого человека впервые и уже два года не пил кофе. Привыкшего к комфорту Моэма жизненная философия этого опрошенца поразила до глубины души: «Люди должны почаще обходиться без привычных вещей — вот только тогда мы узнаем их истинную цену». В Гоа Моэм знакомится с еще одним священником, чьи предки-брахмины были обращены иезуитами в католичество. «Кастовая система соблюдается и нами, — просветил Моэма католик-брахмин. — Да, мы христиане, но ведь прежде всего — индийцы».

Учили Моэма жизни отнюдь не только эти священнослужители. В Индии Моэма прилежно обучали искусству медитации. Сначала — бывший подрядчик, а ныне целитель в грязном белом тюрбане, рубахе без воротничка и с серебряными серьгами в ушах. Потом — высокий, статный старик в алом плаще, которого Моэму порекомендовал в Хайдарабаде министр финансов сэр Акбар Хайдари. «Святой», как называли старика, велел писателю сесть в темной комнате на пол, скрестить ноги и, не отрываясь, смотреть на пламя свечи четверть часа каждый день. Насколько нам известно, советам целителя с серьгами и «Святого» в алом плаще Моэм так и не последовал — уроки впрок не пошли.

В Хайфоне Моэм встречает своего старинного знакомого, с которым он в свое время работал вместе в больнице Святого Фомы. И этот бывший врач относился к категории, которую мы называли «экс-англичанами»: жил с восточной женщиной, имел от нее детей, нисколько не стремился на родину и вдобавок увлекался опиумом. И не только увлекался сам, но и попытался

приохотить к нему Моэма. Моэм, однако, к опиуму остался так же равнодушен, как и к медитации. «Ничего особенного, по правде сказать, — поделился со своим бывшим коллегой писатель. — Я-то думал, что меня охватят самые диковинные эмоции. Думал, что меня, как Де Квинси, посетят видения. Я же испытал всего-навсего ощущение отменного физического здоровья. Зато наутро голова у меня разламывалась, меня рвало весь следующий день, и я сказал себе: „Есть же люди, которые получают от этого удовольствие!“».

Оставила Моэма равнодушным и встреча с индийским мудрецом и святым Рамана Махарши по кличке «Бхагаван» (Бог), полным, смуглым человеком в набедренной повязке, с короткими белыми волосами и такого же цвета бородой. Жил Бхагаван в своем ашраме у подножия священной горы Арунахала, где принимал учеников, сидя у жаровни на низком возвышении, на тигровой шкуре, в состоянии самадхи — глубокой медитации. Равнодушие Моэма к медитированию объясняется, пожалуй, тем, что его встреча с «Богом» продолжалась не меньше получаса и прошла в полном молчании, после чего Бхагаван изрек: «Молчание — это тоже разговор».

Моэм, о чем уже подробно говорилось, соткан из парадоксов; противоречивы, эксцентричны и живущие «к востоку от Суэца» его соотечественники — какой же англичанин без эксцентрики. В книге «На китайской ширме» описан британский либерал, который проповедует социалистические идеи, читает Бертрانا Расселла, что вовсе не мешает ему поколачивать рикш. Британские миссионеры всей душой ненавидят «туземный люд», при этом делают все от себя зависящее, чтобы обратить «нехристей» в истинную веру; чем это может кончиться, видно из рассказа «Дождь». В 1920 году в Китае Моэм знакомится с англичанкой, которая — пусть читатель не удивляется — купила... маленький городской храм и превратила его в собственный жилой дом — бывает, оказывается, и такое. «В глубине была ниша, где некогда стоял лакированный стол, а за ним статуя Будды, вечно предающегося медитации, — читаем в путевых очерках Моэма „На китайской ширме“». — Здесь поколения верующих жгли свои свечи и возносили молитвы — кто о преходящих благах, кто об освобождении от постоянно возвращающегося бремени земных жизней, — ей же эта ниша показалась просто созданной для американской печки»^[80]. «И завершив свои труды, — со свойственной ему сдержанной иронией пишет Моэм в конце главы „Гостиная миледи“, — она с удовлетворением обзрела их результаты. „Разумеется, на лондонскую гостиную это не очень похоже, — заявила она. — Но такая гостиная вполне может быть в каком-

нибудь милым английским городке, Челтнеме, например, или в Танбридж-Уэллсе“». Рекордсменом же заморской эксцентрики стал сын лондонского ветеринара, в прошлом судебный репортер, стюард на торговом судне, сотрудник Англо-американской табачной компании, который, в конце концов, заскучав, переодевается бедняком китайцем и отправляется из Пекина путешествовать по стране, не взяв с собой ничего, кроме спальной циновки, обкуренной китайской трубки и зубной щетки. А по возвращении пишет путевые заметки, которые производят сенсацию — ведь побывал он в таких местах, куда до него не ступала нога не только человека, но и журналиста. «Цивилизованный мир, — пишет Моэм, — его раздражал, у него была страсть ходить нехоженными путями. Диковинки, припасенные жизнью, его развлекали. Его постоянно снесало неутомимое любопытство».

Пишет словно про самого себя. Моэма ведь тоже «снесает неутомимое любопытство», он тоже подвержен «страсти ходить нехоженными путями». В Китае они с Хэкстоном проплыли полторы тысячи миль по Янцзы, а потом еще четыреста проделали пешком. А на Сараваке, «мертвенно-бледной желтой реке» на Северном Борнео, весной 1921 года «страсть ходить (а точнее — плыть) нехоженными путями» едва их не погубила. Но лучше всего об этом рассказывает в своих «Записных книжках» сам Моэм:

«Бор — приливный вал в устье реки. Мы заметили его издали — две или три высокие волны, шедшие одна за другой, но не казавшиеся очень уж опасными. С ревом, похожим на рев бушующего моря, они катили все быстрее и ближе, и я увидел, что волны эти гораздо больше, чем казалось сначала. Вид их мне не понравился, и я потуже затянул пояс, чтобы не соскользнули брюки, если придется спасаться вплавь. И тут приливный вал настиг нас. Это была водяная громада высотой в восемь, десять, а то и двенадцать футов; стало совершенно ясно, что никакой корабль не выдержит ее натиска. Вот на палубу обрушилась первая волна, до нитки вымочив всех и наполовину затопив наше суденышко, следом нас накрыло второй волной. Закричали матросы; команду составляли одетые в арестантские робы заключенные из тюрьмы, находившейся в глубинных районах страны. Судно не слушалось руля; его несло на гребне вала бортом к волнам. Налетела очередная волна, и наш кораблик начал тонуть. Джералд, Р. и я поспешно выбрались из-под тента, но палуба вдруг ушла из-под ног, и мы очутились в воде. Вокруг бушевала и редела река. Я решил было плыть к берегу, но Р. крикнул нам с Джералдом, чтобы мы ухватились за обшивку. Вцепившись во что попало, мы продержались минуты две-три. Я надеялся, что, когда приливный вал пройдет выше по течению, волнение

уляжется и река вскоре снова успокоится. Но я забыл, что бор тащит нас с собою. Волны продолжали захлестывать. Мы висели, уцепившись за планшир и за крепления ротанговых циновок под палубным тентом. Тут мощный вал подхватил судно, оно, перевернувшись, накрыло нас, и мы разжали руки. Ухватиться было не за что, разве что за илистое речное дно, и когда поблизости всплыл киль, мы из последних сил рванулись к нему. Кораблик по-прежнему крутило колесом. Мы с облегчением вновь уцепились было за планшир, но судно опять перевернулось, утащив нас под воду, и все началось сначала.

Не знаю, сколько это продолжалось. Наше несчастье, как мне казалось, было в том, что все висели с одной и той же стороны судна. Я попытался убедить нескольких матросов перейти к другому борту — если часть останется с одного борта, а остальные переберутся к противоположному, думал я, нам удастся удержать лодку днищем вниз, и тогда всем станет легче, но я не мог им это втолковать. Волны перекачивались через наши головы, и всякий раз, когда планшир выскользнул из рук, меня швыряло в глубину. Цепляясь за киль, я выныривал снова.

Вдруг я почувствовал, что с трудом перевожу дух и силы оставляют меня. Я понял, что долго мне не продержаться. Самое лучшее, решил я, это попытаться доплыть до берега, но Джералд уговорил меня потерпеть еще. А ведь до берега, казалось, было не более сорока или пятидесяти ярдов. Нас все еще носило в бурлящих, бушующих волнах. Судно непрерывно переворачивалось, и мы, как белки в клетке, кувыркались вокруг него. Я наглотался воды. Всё, мне конец, понял я. Джералд держался рядом и раза два или три приходил на выручку. Но и он мало что мог сделать, ведь когда лодка накрывала нас, все мы были равно в отчаянном положении. Потом, уж не знаю почему, минуты за три-четыре судно стало килем вниз, и, уцепившись за него, мы смогли немного передохнуть. Я решил, что опасность миновала. Какое счастье было наконец отдышаться! Но внезапно судно опять перевернулось, и все началось сначала. Недолгий отдых помог мне, я какое-то время продолжал бороться за жизнь. Затем снова задохнулся и страшно ослабел. Обессиленный, я не был уверен, что у меня теперь хватит пороха доплыть до берега. К этому времени Джералд был измочален не меньше моего. Я сказал ему, что для меня единственный шанс спастись — это попытаться добраться до суши. Наверное, мы тогда оказались на более глубоком месте, потому что волны здесь были не такие бурные. По другую руку от Джералда бултыхались два матроса, они каким-то образом поняли, что мы совсем выдохлись, и знаками показали нам, что теперь можно рискнуть добраться до берега. Я совсем выбился из сил.

Матросы подхватили пльвший мимо тонкий матрасик, один из тех, на которых мы лежали на палубе, и скатали его в некое подобие спасательного пояса. Ожидать от него большого толку не приходилось, тем не менее, я одной рукой вцепился в него, а другой стал изо всех сил грести к берегу. Те двое плыли вместе со мною и Джералдом, один — с моей стороны. Не знаю, как нам удалось доплыть. Но вдруг Джералд крикнул, что у него под ногами дно. Я опустил ноги, но ничего не нащупал. Проплыв еще несколько ярдов, я попытался снова дотянуться ногами до дна, и мои ступни погрузились в густую тину. Я с ликованием чувствовал кожей эту мерзкую слякоть. Побарахтавшись еще немного, я выполз на берег, где мы по колено увязли в черной жиже.

Цепляясь за торчавшие из топи корни погибших деревьев, мы карабкались все выше и наконец добрались до маленькой ровной полянки, поросшей высокой густой травой. Обессиленно рухнули и какое-то время лежали в полном изнеможении: измучились мы настолько, что не могли шевельнуться. С головы до ног покрыты грязью. Через некоторое время мы стянули с себя одежду, я соорудил из мокрой рубашки набедренную повязку. Тут у Джералда прихватило сердце. Я уж думал, что он умрет. Сделать я ничего не мог, только велел ему лежать неподвижно и ждать, приступ-де скоро пройдет. Не знаю точно, сколько мы там пролежали, наверное, с добрый час, и сколько пробыли в воде, тоже не знаю. В конце концов, приплыл в каноэ Р. и забрал нас.

Он перевез нас на другой берег к длинному, на несколько семей, дому даяков, где нам предстояло ночевать; мы были в грязи от макушки до пят, но, хотя обычно купались по нескольку раз в день, на сей раз лишь слегка ополоснулись из ведра: не хватало духу войти в воду. Все промолчали, без слов понимая, что в реку нас теперь и палкой не загонишь»^[81].

К этой пространной цитате стоило бы дать пять коротких примечаний.

Примечание первое. Этот случай описан не только в «Записных книжках», но и в рассказе Моэма из сборника «Казуарина» «Капля туземной крови». В «нон-фикшн» Хэкстон, проявив мужество и решительность, спасает друга и патрону жизнь. В «фикшн» же всё наоборот: Иззарт, оставив друга подлодкой, спасается сам, а потом, когда Кэмптон чудом выплывает, просит никому не рассказывать о его трусости.

Примечание второе служит некоторым предуведомлением к случившемуся. Прожив весной 1921 года некоторое время в Сингапуре, Моэм и Хэкстон перебираются на Борнео и в апреле отправляются в путешествие по реке Саравак на прогулочном катере. Днем они наблюдают с палубы за «буйством растительности», от которого «захватывало дух и

становилось не по себе», за «густыми джунглями, за которыми вдали, на фоне синего неба, темнели неровные зубчатые очертания гор». Следят, как среди пальм резвятся в джунглях обезьяны, а на прибрежном песке греются крокодилы. А ночи проводят либо на борту, либо на берегу в «приятном» обществе охотников за скальпами. Либо же — в прибрежных деревнях, где в их честь устраиваются праздники с танцами, в которых приходится участвовать и им самим. Оба буквально заморожены «покоем и волей», которыми веет от этих мест. Не подозревая, что его ждет, Моэм с несвойственными ему восторгом и выпренностью записывает, что «ему чудится дерзкое самозабвение менады, беснующейся в свите бога», что «в здешних буйных, диких зарослях нет ничего мрачного, гнетущего...» и что он «попал в дружелюбную, благодатную страну»^[82].

Примечание третье. После того как Моэм и Хэкстон чудом не расстались с жизнью, они до середины ноября оставались на Яве: в дополнение к перенесенному сердечному приступу у Хэкстона начался тиф.

Примечание четвертое. Спустя год Моэм вновь рискует жизнью — причем, что называется, на ровном месте. Не пlying по бурной реке, а остановившись в роскошном дворце дяди короля Сиама. К услугам писателя были и изысканное угощение, и великолепные покои, и многочисленная вышколенная прислуга; не было только одного — самой заурядной москитной сетки, отчего, приехав в Бангкок, «город каналов и храмов с зелеными крышами», Моэма сваливает тяжелейший приступ малярии, который чуть было не отправляет его на тот свет и впоследствии не раз к нему возвращается.

И, наконец, примечание пятое, последнее. После того как Моэм и Хэкстон чудом избежали гибели и прибыли в Кучинг, столицу провинции Саравак, писатель, не забыв, что спаслись они во многом благодаря смелости и решительности матросов в арестантских робах, обратился к главе местной колониальной администрации с просьбой отменить (или, по крайней мере, смягчить) этим людям приговор. На что министр-резидент вполне резонно ответил, что одного осужденного он уже освободил, а вот помочь со вторым не в состоянии. Дело в том, что на обратном пути в тюрьму в Симанганге, где содержался второй осужденный, он остановился переночевать в родной деревне и там зверски убил свою тещу...

Нравы местного общества также порождали немало интригующих историй, которые Моэм, находясь в Малайзии или в Китае, исправно записывал со слов непосредственных участников этих драматических событий. Мужья и жены, которые, очень возможно, прожили бы

примерную мирную жизнь в метрополии, здесь после нескольких лет совместной жизни разводятся, заводят романы на стороне, нередко адюльтер приводит к преступлению. Членов местного законодательного совета ловят на взятках, баронет убегает из дому с сестрой китайского миллионера, крупный чиновник живет у всех на глазах в преступной связи с собственной сестрой — читай рассказ Моэма «Сумка с книгами». И газеты не делают из всего этого тайны. Как не делают из этого тайны и сами участники скандалов в «благородных семействах» местного общества. Одним словом, писателю, который собрался в дальнюю дорогу в поисках увлекательного, «читабельного» материала, в Индокитае, на Борнео или на Таити было чем поживиться, «...почти каждый, с кем я знакомясь, почти всё, что со мной происходит, любой эпизод, свидетелем которого я становлюсь или о котором мне рассказывают, пригоден для новеллы», — пишет Моэм в одном из писем, о чем мы в следующей главе поговорим подробнее.

Вот почему, перед тем как отправиться в путешествие, Моэм запасается не только книгами, но и рекомендательными письмами к губернаторам и резидентам и таким образом пользуется гостеприимством членов местной английской общины, распространявшимся не только на стол и крышу над головой, но и на истории, которыми его охотно потчевали велеречивые хозяева. Они были искренне рады не только поселить у себя известного писателя и его секретаря, но и — со скуки либо от наболевшего — излить им душу. И, «исповедуясь», еще извинялись: «Я вас не утомлю, если расскажу эту историю?» или «Я вам, наверно, наскучила своими историями из семейной жизни?» — «Ничуть», — отвечал Моэм и нисколько при этом не кривил душой. Когда же литературно обработанные рассказы хозяев дома выходили в свет, наступало отрезвление: люди, доверившие писателю свои тайны, узнавали себя в героях его сочинений и чувствовали себя глубоко ущемленными, униженными и обманутыми, что называется, в лучших чувствах, хотя никто из них не просил Моэма хранить рассказанное в секрете.

Рассказы Моэма бурно росли из этого семейного сора, не ведая ни малейшего стыда, — местные же газеты меж тем негодовали. Вот что, например, писала, отстаивая интересы своих подписчиков, сингапурская «Стейтс баджет» от 7 июня 1938 года: «Интересно попытаться проанализировать упреки к мистеру Сомерсету Моэму, которые столь велики и распространены в этой части света. Объясняются они, как правило, тем, что мистер Моэм описывает в рассказах местные скандалы, да и вообще делает в своих произведениях циничный упор на худших и

наименее типичных чертах европейской жизни в Малайзии — на убийствах, предательствах, пьянстве, супружеских изменах... Нет поэтому ничего удивительного в том, что белые мужчины и женщины, живущие в Малайзии самой обычной жизнью, предпочли бы, чтобы мистер Моэм использовал местный колорит где-нибудь в другом месте». Сингапурской газете вторит малайский чиновник Виктор Перселл. «За пребыванием Моэма в Малайзии, — пишет Перселл, — тянется малоприятный след. Ему можно вменить в вину, что он злоупотребил гостеприимством местных жителей, помещая в свои рассказы их скелеты в семейных шкафах... Его описания здешней европейской общины ничуть не более справедливо, чем описание Англии как страны скачек, журналов типа „Ньюс оф зе уорлд“ и сплетен в гольф-клубах. Светотень творческого метода Моэма строится на резких контрастах, нюансировка большей частью отсутствует».

Обвинить Моэма в цинизме и «злоупотреблении гостеприимством» было тем более просто, что писатель не слишком заботился о том, чтобы «замести следы». Рассказчики с легкостью узнавали себя, своих близких и свое окружение в его произведениях еще и потому, что он далеко не всегда менял названия отелей, городов, провинций, и даже имена действующих лиц изменял, бывало, очень незначительно, что, кстати, привело к скандалу и даже угрозе судебного процесса после публикации романа «Узорный покров». Сначала Уолтер и Китти Лейн предъявили иск издателю лондонского журнала «Нэш мэгэзин», где роман первоначально печатался, с требованием заменить имена героев. С Лейнами проблема была решена быстро и просто: 250 фунтов компенсации плюс замена фамилии главного героя с «Лейн» на «Фейн» — всё решила одна буква. С администрацией же Гонконга, где происходит действие романа, пойти на мировую оказалось сложнее: автору пришлось под нажимом помощника гонконгского губернатора, усмотревшего в романе клевету на себя, перенести действие книги из реального Гонконга в вымышленный Цинн-янь.

Моэм словно лезет на рожон: не только не путает следы, а всячески их «распутывает»: подробно разъясняет в предисловиях, где и кто рассказал ему ту или иную историю. Например, про рассказ «Следы в джунглях» о нераскрытом убийстве, совершенном замужней парой, он впоследствии напишет: «Это одна из тех историй, чье авторство не имеет ко мне никакого отношения, ибо мне ее слово в слово рассказали однажды вечером в клубе одного из городов Малайской Федерации». Примерно то же самое сообщит Моэм о другом своем рассказе «Сосуд гнева»: «Одно время я много путешествовал по Малайскому архипелагу и со всеми людьми, описанными в этом рассказе, знаком был лично. Чтобы рассказ получился,

мне просто пришлось свести их вместе». Содержание одного из самых известных рассказов Моэма «Записка», переделанного впоследствии в пьесу, где рассказывается о том, как замужняя англичанка Лесли Кросби убивает своего любовника, сделав вид, что тот пытался ее изнасиловать, почти целиком списано из газетной криминальной хроники от 23 апреля 1911 года. Различаются — и то несущественно — только финалы фикшн и нон-фикшн: в рассказе Моэма Лесли Кросби признали виновной в убийстве, но с учетом смягчающих вину обстоятельств освободили. Что же до ее прототипа Этель Мейбел Праудлок, то она была признана виновной, приговорена к повешению, однако в конечном счете после нескольких апелляций также помилована.

Многочисленные путешествия и в самом деле подарили Моэму много запоминающихся, необычайно интересных, полезных в литературном отношении встреч. Но были и исключения. Знакомство с автором «Любовника леди Чаттерлей» Дэвидом Гербертом Лоуренсом в Мехико, куда Моэм в октябре 1924 года отправляется, как он выразился, «в поисках нового места для охоты», могло бы, по понятным причинам, стать весьма любопытным для обоих известных писателей. Могло — но не стало: давно прошли те времена, когда Карло Гольдони с энтузиазмом воскликнул: «Писатели всех стран составляют единую республику!» Моэм и Лоуренс единую республику не составили, они с первого взгляда не понравились друг другу ни по-человечески, ни «по-писательски».

Моэм про Лоуренса: «Я никогда не был высокого мнения о его рассказах. По-моему, они бесформенны и многословны... У меня ощущение, что стихи ему удаются лучше, чем проза. Отдельные фразы у него восхитительны, а вот общее впечатление — витиеватости и затхлости». Лоуренс своему другу Уоттеру Биннеру про Моэма: «Малоприятный господин. Очень серьезен, больше всего боится, что не успеет до Рождества написать очередную великую книгу из мексиканской жизни. Узколобый писатель-заика». Из письма Лоуренса Олдосу Хаксли: «Я слышал, что Моэм, Уэллс и компания тратят свои баснословные сбережения в Ницце. Богаты, как свиньи». Фрида Лоуренс про Моэма: «По-моему, он оказался между двух стульев, что так часто бывает с писателями. Ему хочется и рыбку съесть, и костью не подавиться. Тот узкий общественный мирок, в котором он существует, принять он не может, но при этом в более широкий, человеческий мир верить отказывается». Если же вспомнить, что Лоуренс в рецензии на «шпионский» сборник Моэма «Эшенден, или Британский агент» назвал прозу писателя «сплошной фальшивкой», то литературный образ Сомерсета Моэма в представлении

Лоуренса, да и других элитарных писателей и критиков, будет выглядеть вполне законченным. Из первого ряда автор «Луны и гроша» и «Бремени страстей человеческих» решительно исключается.

В разговоре с женой герой «Узорного покрова» врач-бактериолог Уолтер Фейн оспаривает представление местного общества о том, что в бридж он играет превосходно^[83]. «Насчет себя я не строю иллюзий, — говорит он жене. — Я бы сказал так: я очень хороший игрок второй категории». Не строит насчет себя иллюзий и Моэм: о своем литературном мастерстве он говорит, по существу, теми же словами, что Фейн о своем искусстве игрока в бридж.

Глава 16 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ИГРОК ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ»

Так кто же Сомерсет Моэм? «Второсортный автор, которого нельзя воспринимать всерьез и которого интересуют исключительно деньги» (Эдмунд Уилсон). «Для нашего времени он примерно то же самое, чем был Бульвер-Литтон в эпоху Диккенса: пустоватый прозаик, которого опекают несерьезные читатели, кому нет дела до настоящей литературы» (Эдмунд Уилсон). Или «Единственный среди нас профессионал, у которого можно учиться с выгодой для себя» (Ивлин Во). Популярный беллетрист, умеющий разве что развлечь и заинтриговать. Или «писатель, который из современных авторов повлиял на меня больше всего и которым я восхищаюсь за его талант вести повествование просто и без затей» (Джордж Оруэлл).

Лучше же всего проясняет подобный, мало, казалось бы, объяснимый «разброс мнений» сам Моэм. «Если мир литературы не придает особого значения моему творчеству, то это потому, что как писатель я восхожу, сквозь толщу многих поколений, к рассказчику историй, которого слушали в каменном веке, сидя в пещере у костра, наши далекие предки».

Собственно, нам предстоит не защищать Моэма от таких его «хулителей», как Эдмунд Уилсон, — писатель с совокупным тиражом 40 миллионов экземпляров в защите нуждается едва ли, а ответить на главный вопрос творчества Моэма. Вопрос, которым задается он сам: «Я жду критика, который объяснит, почему, при всех моих недостатках, меня читает так много лет такое множество людей. Сам понятия не имею, почему это происходит». Моэм конечно же лукавит: уж он-то прекрасно понимает, почему его читает «так много лет такое множество людей». И романы, и рассказы, и путевые очерки, и литературные эссе, и пьесы.

Про людей искусства в трех романах Моэма, которые некоторые критики — и это притом что одну от другой эти книги отделяет в среднем десять лет — окрестили трилогией^[84], можно было бы сказать, что они, эти люди, будто вняв призыву русского поэта («Не спи, не спи, художник»), в какой-то момент пробуждаются после долгого сна...

Хотя о трилогии в привычном понимании этого слова (сквозной сюжет, сквозные персонажи) говорить приходится едва ли, главные герои

всех трех романов, самых в творчестве Моэма популярных, — в России, во всяком случае, — действительно имеют между собой немало общего.

Начать с того, что все они и в самом деле люди искусства. Чарлз Стрикленд («Луна и грош») — живописец. Эдуард Дрифилд («Пирог и пиво, или Скелет в шкафу») — писатель. Джулия Лэмберт («Театр») — актриса. Первый при жизни безвестен (но слава его грядет), двое других знамениты и обласканы (очень может быть, и не по заслугам).

Вдобавок все три романа Моэма написаны на модную в начале XX века тему «художник и общество» и встают в один ряд с «Мартином Иденом» Джека Лондона, «Гением» Драйзера, «Сыновьями и любовниками» Лоуренса, в известном смысле и с «Портретом художника в молодые годы» Джойса.

Всех трех героев, в особенности Стрикленда, критика справедливо обвиняла в том, что Моэм создал образ талантливого, своевольного творца, в котором, однако, нет ничего живого, человеческого. «Читателю надо было показать, как работает у него голова, — писала про Стрикленда в „Атенеуме“ известная новеллистка Кэтрин Мэнсфилд, — каковы его чувства, — Стрикленд же только и делает, что всех посылает к дьяволу. Важно было показать, чем он живет, что собой представляет, — иначе мы поневоле возмутимся: „Если написать натюрморт с бананами способен лишь столь отвратный субъект, то пусть лучше не будет натюрморта с бананами“». Еще лучше про витающего в небесах Стрикленда написал, обыгрывая название романа, рецензент «Литературного приложения к „Таймс“»: «Как и многие молодые люди нашего времени, он так рвется к луне, что не замечает у себя под ногами медный грош». Вообще, на долю первого — и самого лучшего — романа «трилогии» комплиментов выпало меньше всего, зато третий роман «Театр» — английская версия «Cheri» Колетт — пришелся критике по вкусу: «Недостижимый успех крепко сбитого (well-made) романа» («Субботнее литературное обозрение»), «Высокий профессиональный уровень — как всегда у Моэма» («Таймс»), «Суховато, без эмоций и весьма умело... Первокласный профессиональный писатель» («Нью стейтсмен энд нейшн»). Последний комплимент, между прочим, принадлежит не кому-нибудь, а замечательной новеллистке и тонкому критику, ирландке Элизабет Боуэн.

И еще одна общая черта. Во всех трех главных героях современники усмотрели сходство с реальными лицами. Чарлза Стрикленда — с Полем Гогеном, Эдуарда Дрифилда — с Томасом Гарди, его любвеобильную супругу Розу — с многолетней любовницей и несостоявшейся женой Моэма Хью Джонс. Джулию же Лэмберт — с многократно исполнявшей

заглавные роли в пьесах Моэма Мэри Темпест, хотя многие актрисы — и Глэдис Купер, и Айрин Вэнбро, и Этель Ирвинг, и Этель Берримор — отстаивали право считаться прототипами Джулии. Авторитетный театральный критик Джеймс Эгейт настаивал, правда, на том, что Джулия — образ собирательный и что она не списана ни с кого конкретно.

И тут, как почти во всяком романе «с ключом», не обошлось без скандалов. Когда вдова Поля Гогена прочла «Луну и грош», она с возмущением заявила, что не нашла ни одной черты, которая бы роднила Стрикленда с ее ставшим к тому времени знаменитым мужем. Сходство Дриффилда с Гарди, невзирая на все отговорки и опровержения автора, в том числе и официальные, вызвало многочисленные обвинения в искажении истины, окарикатуривании, даже клевете. Моэму пришлось выслушать и прочесть немало резких, язвительных, в чем-то справедливых, в чем-то несправедливых упреков.

Одна малоизвестная американская писательница, по некоторым сведениям давняя знакомая вдовы Гарди, сочла необходимым отомстить за «поруганную честь» умершего всего за два года до выхода романа классика английской литературы. Ведь в книге Моэма главное достоинство Дриффилда, которому изменяет молодая и хорошенькая жена, — не литературное дарование, а долгожительство; классиком он стал, так сказать, за выслугу лет, а вовсе не благодаря таланту. В 1931 году, спустя полгода после выхода «Пирогов и пива», американка, несмотря на все заверения Моэма, что Дриффилд, дескать, — образ собирательный и никакого отношения к Гарди не имеет, сочла, что автор «постыдного пасквиля» не должен оставаться безнаказанным. После чего разразилась под псевдонимом Элинор Мордонт не слишком смешной, но в высшей степени ядовитой пародией, подписанной А. Рипост (буквально — «ответный удар») и названной «Джин и горькое пиво» («Gin and Bitters»). В пародии Мордонт Моэм, как водится в этом жанре, из автора «переведен» в персонажи, представлен в отталкивающем образе литератора Леверсона Хэрла, «маленького смуглого человечка, гордившегося своим малым ростом, с землистым лицом и печальными темными глазами больной обезьянки». Хэрл, который «брызжит ядом, подобно ядовитой змее», едет со своим секретарем в Малайзию и требует от местных властей, чтобы ему был оказан «королевский прием». Пародия, при всей своей язвительности и узнаваемости, встречена, впрочем, была без энтузиазма: отрицательные рецензии на нее напечатали и «Нью-Йорк геральд трибюн», и «Нью рипаблик», и «Нью-Йорк таймс» — уж очень популярен, «неприкасаем» был в Америке Моэм. Да и сам Моэм к «ответному удару» отнесся более

чем спокойно. «Мне абсолютно безразлично, что бы обо мне ни писали. Я давно свыкся с „пращами и стрелами разбушевавшейся фортуны“».

Летели в Моэма «пращи и стрелы», пущенные не только Элино́р Мордонт. В довольно бездарном литераторе и хвастливом, суетном болтуне Элрое Кире критики без труда распознали писателя Хью Уолпола, того самого, с которым Моэм встречался в 1917 году в России и с тех пор подружился. И не только критики, но и сам Уолпол. «Был в театре, затем, вернувшись домой и сидя полураздетый на кровати, стал лениво листать „Пирог и пиво“ Моэма, — читаем мы запись в дневнике Уолпола от 13 сентября 1930 года. — По мере чтения меня охватил с каждой минутой нараставший ужас. Элрой Кир — это же я, в этом не может быть ни малейших сомнений! В эту ночь не сомкнул глаз». Не только Моэм, но и пришедший ему на выручку исполнительный директор «Хайнеманна» Александр Фрир, как могли, уговаривали Уолпола, что между ним и Ки́ром нет ни малейшего сходства. Моэм в ответ на гневное письмо писал приятелю: «Я вовсе не имел в виду выводить Вас в образе Элроя Кира». Всё, однако, было напрасно; Уолпол, как и Мордонт, ступил на тропу войны. Со страниц сочинений Уолпола, написанных в эти годы (а писатель он был весьма плодовитый), сошло немало циничных скептиков, сильно смахивающих на Моэма. В дальнейшем Уолпол не раз «покусывал» приятеля и в рецензиях на его книги, однако отношения, как ни странно, с ним не порвал — до самой смерти посылал ему свои романы с дружественными посвящениями.

К чести Моэма надо сказать, что все три персонажа «трилогии» (в том числе и Джулия) — на что не пожелали обращать внимание рецензенты («Удар ниже пояса», «Могилы, оскверненная литературным вурдалаком», «Карьера Дрифилда переперчена ассоциациями с карьерой Гарди», и т. д.) — списаны Моэмом во многом с самого себя. Разве сам Моэм, подобно Стрикленду, не приносил в жертву свою семью ради творчества? Не ставил служение искусству выше семейных ценностей? Семейные ценности, впрочем, были для писателя, как мы уже знаем, своеобразным оксюмороном. Разве сам он не променял надежную, благополучную юридическую или богословскую будущность выпускника Кембриджа на весьма туманные перспективы студента-медика? Разве не бросил медицину ради литературы, не сулившей ему в конце 1890-х годов ни сносного достатка, ни пристойного положения в обществе?

Отбиваясь от обвинений в клевете, Моэм в предисловии к роману «Пирог и пиво» утверждал: «Говорят, что в образе Элроя Кира два-три писателя (об Уолполе ни полслова. — А. Л.) усмотрели намек на себя. Но

они ошиблись. Этот персонаж — собирательный: от одного писателя я взял внешность, от другого — тягу к хорошему обществу, от третьего — сердечность, от четвертого — гордость своей спортивной удачей и вдобавок — довольно много от себя самого... Ведь все образы, которые мы создаем, — это лишь копии с нас самих». Утверждал — но услышан не был. А был бы — и критики без особого труда отождествили бы Элроя Кира не только с «оболганным» Уолполом, но и с автором романа. Одна «тяга к хорошему обществу» чего стоит; это же Моэм про себя — и не в бровь, а в глаз...

А теперь насчет пробуждения после долгого сна. Все три главных действующих лица — пусть и по-разному — внезапно, в какой-то момент начинают прозревать: в добропорядочном, устоявшемся мире предрассудков и мещанского благополучия творцу нет жизни, в этот мир он не вписывается. А если вписывается — грош ему цена. Тот самый грош, которому так далеко от луны. «Очень трудно быть одновременно и джентльменом и писателем», — подмечает Эшенден, юный коллега Дриффилда по писательскому цеху. Все трое — и Стрикленд, и Джулия Лэмберт, и — пусть и в меньшей степени — Дриффилд — и в самом деле словно «пробуждаются». Стрикленд бежит от этого мира в буквальном смысле слова, причем бежит дважды. Сначала — от госпожи Стрикленд, с которой он, не помышляя об искусстве, в мире и согласии прожил двадцать лет. Потом точно так же, без предупреждений и объяснений, — от Бланш Струве. И миссис Стрикленд, и Бланш, каждая по-своему, мешают ему служить искусству. Бланш и миссис Стрикленд для него одинаковы, ничем друг от друга не отличаются. Как, собственно, и для Моэма: одна из сквозных тем писателя, о чем еще будет сказано: женщина — враг творческого начала. «Они готовы были ради меня на всё, — объясняет Стрикленд рассказчику, — кроме того, что мне было нужно, — оставить меня в покое». Дриффилд же и Джулия бегут от этого мира в переносном смысле. (Впрочем, на закате жизни Дриффилд и в самом прямом смысле слова удирает от второй жены пообщаться с простым человеком в трактире.) Что же до прославленной актрисы Джулии Лэмберт, то у нее свой — женский — способ бегства от действительности. Сначала изменить нелюбимому мужу, который «по совместительству» является еще и директором ее театра, с горячо (и без взаимности) любимым юным прохвостом. А в конце книги — освободиться усилием воли и от мужа Майкла Госселина, и от чар юного Тома, «эволюционирующего» от крайней робости и униженности до вопиющей развязности и самолюбования; освободиться от психологической зависимости от него.

«Перейти, — как она сама выражается, — из мира притворства в мир реальности». А единственная реальность для Джулии — сцена, единственное спасение (как и для Стрикленда и Дрифилда) — творчество.

Впрочем, бегство «пробудившегося» художника из мира притворства в мир реальности (настоящая жизнь и жизнь творческая, по Моэму, словно бы меняются местами) губительно, оно не сулит ничего хорошего ни художнику, ни тем, кого он приносит в жертву. Джулия на старости лет влюбляется в бездарного, ушлого карьериста-подростка, ради него чуть было не погубила себя и свою карьеру, которой во многом обязана постылому мужу. Стрикленд своей жестокостью, бесчеловечностью, отрешенностью убивает любимившую его Бланш Струве. Про него можно было бы сказать то же, что было сказано про лучшую книгу Дрифилда «Чаша жизни»: «В ней есть какая-то жестокая беспощадность». И убивает «с жестокой беспощадностью» не одну Бланш: пожертвовав собой ради искусства, он, в сущности, убивает и себя тоже, убивает в себе человека, ибо исходит из того, что тому, кто обладает творческим темпераментом, «всё дозволено». Одержимость вдохновением, словно хочет сказать Моэм, — штука опасная, и не только для других, но и для самого художника. Говорил же он, если читатель еще не забыл, своему юному другу Годфри Уинну: «Для меня вдохновения не существует — зато есть преданность делу и погруженность в ремесло». Не символичен ли в этом смысле финал романа: лучшее творение Стрикленда — фреска на стене хижины — сгорает в огне. Стрикленды, Дрифилды и Джулии Лэмберт сгорают в огне собственного вдохновения.

Стрикленды — но не Моэм. От «бремени страстей творческих» — если перефразировать заглавие самого значительного романа писателя — Моэм, не столь поддающийся эмоциям, как его герои, лечится не гордыней: истинному художнику, дескать, многое дано, а потому и многое простится. Находит себя не в подвижничестве, как героиня романа «Рождественские каникулы» Лидия — русская не только по национальности, но и по литературной, так сказать, принадлежности: между ней и Соней Мармеладовой и Катюшей Масловой немало общего. Не в индийской философии, не в увлечении религиозно-философским учением Веданты, как центральное действующее лицо романа «Острие бритвы» Ларри Даррелл. Лечится, как мы выяснили в предыдущей главе, путешествиями, постоянной сменой обстановки. Охотой к перемене мест.

В определении «Очень хороший игрок второй категории» заложено

противоречие. Как может очень хороший игрок считаться игроком *второй* категории?

И, тем не менее, с творчеством Моэма дело обстоит именно так. Он, при всей своей популярности, романист довольно средний — исключение составляет разве что «Бремя страстей человеческих». Зато новеллист, «рассказчик историй» — отменный. Его романы, будь то более удачные вроде «Острия бритвы» или неудачные вроде «Рождественских каникул» или «Малого уголка», распадаются на отдельные новеллы (рассказы в романе), без которых они были бы неспособны привлечь читателя, удерживать его в напряжении. Если бы в «Рождественских каникулах» были лишь многостраничные рассуждения о европейских нравах и политике предвоенных лет самоуверенного юного радикала Саймона Фенимора и не было бы увлекательной — и с детективной, и с психологической точки зрения — истории убийства, рассказанной Лидией, этой своеобразной вставной новеллы, — роман наверняка бы провалился. Куда хуже читался бы и роман «Острие бритвы», не будь в нем нескольких вставных новелл о странствиях по Европе и Индии Ларри Даррелла.

Даже когда Моэм пишет большую прозу, он поневоле сбивается на малую, отчего читатель, впрочем, только выигрывает. И Моэм, тонкий «самокритик», за собой это знает: «...я восхожу к рассказчику историй». Знают и издатели. Новеллы Моэма — и такие популярные, как «Дождь», «Записка», «Макинтош», «Падение Эдварда Барнарда» — и менее известные, переиздаются сегодня куда чаще романов. В том числе и таких прославленных, как «Луна и грош», «Острие бритвы» или «Пирог и пиво». Сам Моэм, к слову, считал «Пирог» своей лучшей книгой.

Итак, Моэм-романист «мельчит», сбивается с романа на рассказ — «Я не более чем рассказчик и никогда не претендовал на иную роль». «Когда у писателей порой возникал замысел, который не поддавался воплощению в пространной романной форме, — отмечает Моэм в сборнике эссе 1958 года „Точки зрения“, — они, случалось, писали рассказ. Однако потом как-то не могли взять в толк, что с ним делать, и, чтобы не пропадал даром материал, вставляли его, иной раз довольно неловко, в корпус своих романов»^[85]. У самого же Моэма все ровным счетом наоборот. Замысел «тянет» на «пространную романную форму», но в процессе написания распадается на отдельные рассказы, как это было в уже упоминавшихся «Рождественских каникулах», или в «Малом уголке», или в «Острие бритвы».

Жанром рассказа Моэм и в самом деле владеет куда искуснее, чем романа: в коротком, законченном, увлекательном повествовании писатель — как рыба в воде. И вот тут-то возникает литературный (о человеческих

мы уже писали) парадокс писателя. Верно, рассказы в большинстве случаев Моэму удаются, и это признают все о нем пишущие, но беда в том, что сам по себе жанр рассказа у английской критики, да и у читателя, не в чести. В конце XIX — первых десятилетиях XX века о рассказе принято говорить, скорее, как о литературной забаве, о «разминке» в начале писательского пути, о «подготовке, — как писал в 1929 году американский журнал „Норт америкен ревью“, — к труду более серьезному и возвышенному», то бишь к роману. «Сжатость им не по нраву»^[86], — с нескрываемым раздражением писал Моэм о соотечественниках в предисловии к составленному им сборнику рассказов своего любимого Киплинга. С развитием романа (а ведь именно роман был «главным» жанром европейской литературы XX века) мода на рассказ пошла на убыль, да и рассказов-то, по существу, почти не писалось. «Книгопродавцы перестали давать хорошую цену (Моэму, впрочем, давали) за сборник рассказов, сами авторы начали относиться с недоверием к этому жанру, не приносившему ни славы, ни денег»^[87], — пишет Моэм в эссе «Искусство рассказа». Вот и еще одна причина, отчего очень хороший игрок числится по второй категории; вторая категория в данном случае относится не к автору, а к жанру рассказа.

Рассказа ли? Скорее, новеллы, ведь Моэм отдает предпочтение не искусству Чехова (которого ставит очень высоко), писавшего: «Люди не ездят на Северный полюс и не падают там с айсбергов. Они ездят на службу, бранятся с женами и едят щи». Предпочтение он отдает Мопассану и Киплингу: «Почему бы писателю и не написать о случаях необыкновенных?» Его цель не создать настроение, не копировать жизнь, а заинтересовать, взволновать и удивить читателя, вовлечь его в игру, показать внутреннюю жизнь человека через его поступки. То, что так удается Моэму, — не рассказ, а новелла. В рассказе — атмосфера, настроение, правдоподобие. В новелле — эффектный сюжет, направленный на то, чтобы удержать внимание читателя, развлечь его. Рассказ копирует жизнь, новелла (будь то Мериме, Мопассан, Киплинг или Моэм) драматизирует ее, готова пожертвовать ради эффекта правдоподобием. Рассказ (чеховский, к примеру) использует открытые концовки, — новеллист же к жизнеподобию не стремится, концы с концами у него — что редко бывает в жизни — сходятся.

Кумир Моэма — Мопассан. И кумир давний. «Когда я был мальчишкой, Мопассан считался лучшим новеллистом Франции, и я жадно читал его книги, — пишет Моэм в предисловии к своему двухтомнику

полного собрания рассказов. — С пятнадцати лет всякий раз, как я оказывался в Париже, я проводил вечера за книгами на галерее „Одеона“. То были самые упоительные часы в моей жизни... Одна полка там была целиком заставлена томами Ги де Мопассана, но на них цена была по три с половиной франка, и такой траты я себе позволить не мог. Оставалось читать, стоя у полки и раздвигая пальцами неразрезанные листы... Так, к восемнадцати годам я перечитал все его лучшие произведения. И поэтому вполне естественно, что, начав в этом возрасте сам сочинять рассказы, я произвольно выбрал себе образцом эти маленькие шедевры...»

У Моэма, как и у Мопассана (Моэм любил приводить в пример его новеллу «Ожерелье»; есть новелла с этим названием и у Моэма), в основе повествования — анекдот, оригинальный, увлекательный, нередко смешной случай. Захватывающий, искусно выстроенный сюжет, завершающийся неожиданным и эффектным финалом. Как и Мопассан, Моэм готов пожертвовать (и жертвует) правдоподобием ради эффекта, что, кстати, не раз ставилось ему в вину. В частности — авторитетным Эдвардом Морганом Форстером, который словно забыл, что в своих знаменитых «Аспектах романа» отмечал важность умения «рассказать историю». Забыл, не исключено, оттого, что сам-то по части увлекательного сюжета был слабоват... Моэм же никогда не испытывал недостатка в сюжетах. «У меня всегда было больше рассказов в голове, чем времени для их написания... — отмечает он в книге „Подводя итоги“. — Я почти без преувеличения могу сказать, что берусь написать сносный рассказ о любом человеке, с которым провел час времени...»^[88] Тем более если — добавим от себя — этот «любой человек», с которым он провел час времени, снабдил его историей из своей жизни.

Что-что, а рассказать историю Моэм умел, причем ничуть не хуже Мопассана или О. Генри. Умел и ставил это умение во главу угла. «Лежащие в основе моих рассказов анекдоты занимательны сами по себе, — пишет он в эссе „О своих рассказах“, — их всегда можно с успехом рассказывать гостям за обеденным столом, а это большое достоинство... У этих рассказов есть начало, середина и конец, они не растекаются во все стороны... движутся целеустремленно, от экспозиции к развязке по крутой, четкой дуге...»^[89] Слово «четкий» в этой пространной цитате едва ли не самое важное. Моэм-писатель, как и Моэм-человек («Я убежден, что особенности книг писателя напрямую связаны с особенностями его характера»^[90]), всегда и во всем имел пристрастие к *порядку*, не раз повторял, что проза, в отличие от поэзии, — искусство *упорядоченное*.

«Мне нравится, чтобы в рассказе сходились все концы с концами... Бесформенные рассказы не в моем вкусе... На мой взгляд, если рассказ занимателен и живо написан, худа от этого быть не может. Анекдот — это фундамент литературы»^[91].

Моэм, спору нет, много взял у Мопассана, многим ему обязан. Но есть у него и то, чего у Мопассана нет.

Одной из «фирменных черт» Моэма-новеллиста (как, впрочем, и романиста) является образ повествователя, отчасти позаимствованный им у Генри Джеймса. Повествователя особого рода. Он (этот всегдашний моэмовский «я») — посредник между автором и его героями. Посредник особого рода: он объективен, по-моэмовски сдержан, «не вовлечен» в судьбу действующих лиц, хотя в действии порой участие и принимает. Читатель постоянно ощущает — будь то предельно приближенный к Моэму рассказчик Элиотт Темплтон в «Острие бритвы» или в новелле «На чужом жнивье» — сторонний, рассудочный, равнодушно-ироничный взгляд этого «я». Новеллы Моэма, о чем он сам пишет в книге «Подводя итоги», словно пропущены через восприятие наблюдателя, который, впрочем, никогда не навязывает читателю свое мнение, свое понимание происходящего, ограничивается комментарием, так сказать, со стороны. А бывает, и наблюдателей: в «Острие бритвы», к примеру, двойная оптика: роль рассказчика попеременно берут на себя «я» и Темплтон.

Моэм использует, не слишком церемонясь, о чем мы не раз говорили, истории из жизни своих собеседников — случайных знакомых, попутчиков, соседей по столу, хозяев домов, где им с Хэкстоном доводилось останавливаться. Использует «истории из жизни» в своих «писательских» интересах. Сюжеты для рассказов черпает где придется, а вот тем, мотивов придерживается постоянных, с регулярностью повторяющихся. Можно даже сказать, сквозных. Тем, прямо или косвенно связанных с его собственной судьбой. Тем этих, разбросанных по бескрайней территории моэмовских романов и рассказов, собственно, всего четыре.

О первой разговор у нас уже отчасти состоялся: человек — и не обязательно личность творческая — находит себя, отказываясь, освобождаясь от «бремени» мещанского благополучия. Эдвард Барнард, герой рассказа «Падение Эдварда Барнарда», не собирается возвращаться к прежней «накатанной», в высшей степени благополучной чикагской жизни, где его в самом скором времени ждут благосостояние, карьера и выгодный во всех отношениях брак. В отличие от Стрикленда, который порывает с прежней жизнью в один присест, бестрепетно бросает жену и детей и «с головой» отдается искусству, Барнард колеблется. Оказавшись вдали от

Чикаго и привычной («приятной», сказал бы Толстой) цивилизованной жизни, он долгое время тоскует, мечтает вернуться к прежнему бесппроблемному существованию, однако спустя время опрощается и радуется новой жизни, читает книги, проникается иной философией — «относительности», если можно так сказать. «Может, даже лучшие из нас — грешники, — рассуждает он, — и худшие из нас — святые... Ценю теперь красоту, правду и доброту»^[92]. С точки зрения здравого смысла, Барнард (а также Стрикленд или Ларри Даррелл из «Острия бритвы») неадекватен. Этот способный, дельный, «правильный» человек променял непонятно зачем благополучную столичную жизнь на торговлю ситцем на далеком тихоокеанском островке. «Вот уж не ожидал увидеть, как ты отмериваешь три с половиной ярда дрянного ситца какому-то грязному негру...» — недоумевает его друг-рассказчик. То, что отвечает ему Барнард, не укладывается в голове «цивилизованного» современного человека: «Для того ли мы родились, чтобы спешить на службу, работать час за часом весь день напролет...» Нет нужды говорить, что один из самых обаятельных героев Моэма Ларри Даррелл с удовольствием подписался бы под этими словами. В отличие от Стрикленда, чья метаморфоза губительна и для близких, и для него самого, Барнард и Даррелл, говоря словами Барнарда, «обретают душу». Будущее кажется им «богатым и полным смысла». В сущности, Барнард и Даррелл приходят к тому же нехитрому, но очень значимому для Моэма выводу, что и Филип Кэри из «Бремени страстей человеческих» — «всегда быть довольным каждым своим днем».

К теме освобождения от бремени наших устоявшихся представлений примыкает и мотив непознаваемости человека. Человек, даже самый нам близкий, которого мы знаем всю жизнь, дает понять Моэм, может открыться нам с самой неожиданной стороны.

Могли предположить полковник Джордж Пилигрим («Жена полковника»), что его далеко уже не молодая жена Эйви, с которой он прожил всю жизнь, которой «давно уже все равно, как она выглядит» и которую «в повседневной жизни просто не замечаешь», — как выясняется, известная поэтесса. Эйви печатает стихи под своей девичьей фамилией, они пользуются неизменным успехом у самых взыскательных критиков, а в Америке и вовсе «производят фурор». И какие стихи! В своих стихах эта поблекшая женщина, которой так, казалось бы, не хватает жизненной энергии, «сетует на пустоту жизни», после того как ее юный возлюбленный покинет ее. Однако «блаженство, которое она испытала... долгие трепетные ночи, что они проводили вместе, истома, убаюкивающая их в

объятиях друг друга, стоит любых уготованных ей страданий». Ладно бы чужая, родная душа — потемки!

Кто бы мог вообразить, что подающий большие надежды Эдвард Барнард расстанется со своей богатой и любимой невестой и навсегда круто поменяет свою жизнь? Кому бы пришло в голову, что Ларри Даррелл, в свою очередь, откажется от выгодного брака и уверует в Веданту, а Стрикленд, образцовый семьянин, занимавший солидное и прочное положение в лондонском банке, в одночасье покинет Англию и станет, презрев тяготы жизни, непризнанным художником?

Сходным образом, трудно было ожидать от полновластного хозяина островка Талуа, пиквикского толстячка Уокера («Макинтош»), который «дорожил своей славой и сознательно ей подыгрывал»^[93], туземцев любил только за то, что они были в его власти («На меня смотрят, как на отца»), — что он, умирая, произнесет вдруг человеческие слова: «Обходитесь с ними по-честному, они же как дети... С ними надо быть твердым, но и добрым тоже. И обязательно справедливым».

И еще две темы проходят красной нитью через творчество писателя: невзгоды семейного очага и все зло от женщин. Эти два мотива, как и два предыдущих, между собой связаны и, как мы теперь знаем, имеют прямое отношение к незадавшейся семейной жизни Сомерсета Моэма.

Лоусон («Заводь») «с выражением нестерпимой муки в его прекрасных черных глазах»^[94] пьет горькую оттого, что полукровка жена, не прижившись в Англии, заставила его вернуться на Самоа. Бактериолог Уолтер Фейн, герой «Узорного покрова», узнает, что жена изменяет ему с вице-губернатором Цинн-Яня, после чего уезжает на холеру в китайскую провинцию, там заражается и умирает. Дочь юриста Скиннера Миллисент («Собираясь в гости») по возвращении с Борнео в Англию врет матери и сестре, что ее муж Гарольд умер от лихорадки. Тогда как на самом деле на Миллисент он в свое время женился не по любви, а ради сохранения хлебного места в колонии, запил и стал жертвой жены, которая перерезала ему горло, выдав убийство за самоубийство в припадке белой горячки. Пятидесятилетний Хемлин («Заклятье») после двадцатилетнего, вполне счастливого брака влюбляется ладно бы в молодую — в женщину своего возраста и не только не раскаивается, но глубоко убежден в правильности этого шага: «В таком возрасте понимаешь, что нельзя упустить счастливый случай, который посылает своенравная судьба... Жизнь так бесцветна и однообразна, а счастье — столь большая редкость»^[95].

Но Хемлин — исключение. Как правило, в семейных скандалах,

ссорах, разводах, изменах, даже убийствах «активное начало» в книгах Моэма за женщинами. «Вы говорите, что я женоненавистник, что мои женщины-героини неприятны, — пишет Моэм в 1929 году в ответном письме аспирантке Университета Южной Каролины Элизабет Дуглас. — Я часто слышу этот упрек. Вместе с тем в художественной литературе, согласитесь, образ идеальной женщины встречается крайне редко. И потом, женщины моего поколения находятся в переходном состоянии: они не обладают достоинствами ни своих матерей, ни дочерей. Сегодня женщина — рабыня, которой дали свободу, но которая не понимает, на что ее употребить. Она плохо образованна, она и дома не усидит, и в обществе проявить себя не способна».

Трудно сказать, каких героинь в мировой художественной литературе больше — положительных или отрицательных, но у Моэма идеальные женщины и впрямь встречаются крайне редко. Женщины, а не мужчины олицетворяют собой, если воспользоваться названием одного из рассказов Моэма, «силу обстоятельств». И Миллисент Скиннер тут далеко не одинока. Мужчины в книгах Моэма, даже если их жизнь и карьера складываются успешно, — люди большей частью слабые, изнеженные, нерешительные, часто пьющие, трусливые, готовые солгать, скрыть правду, пойти на компромисс. Женщины же, напротив, стойки, коварны, предприимчивы, почти всегда знают, что им надо, и ради достижения цели готовы на всё, не остановятся ни перед чем, в том числе и перед убийством, как Лесли Кросби («Записка») или та же Миллисент Скиннер.

Многоженец Мортимер Эллис («Ровно дюжина») о женщинах — а ему ли их не знать — не самого лучшего мнения: «Женщины помешаны на замужестве... Им не мужчина нужен, а брак — это у них какая-то мания... Скажите женщине, что за полгода вы удвоите ее капитал, и она вам доверит распоряжаться им... Жадность — вот что это такое...»^[96]

«Женщины помешаны на замужестве» — любимая мысль не только Мортимера Эллиса, но и Сомерсета Моэма. «Почтенная старая провинциалка»^[97] Джейн Фаулер («Джейн») с легкостью покоряет сердца юных женихов, при этом совершенно непонятно, чем их «берет». Мейбл из одноименного рассказа с упорством, достойным лучшего применения, преследует мужа по всему свету, забрасывая его жутковатыми, неотвратимыми телеграммами: «Скоро буду. Люблю. Мейбл»^[98].

От Джейн Фаулер и Мейбл не отвертеться. Но встречаются у Моэма женщины и «покруче». Энн Олбен («Открытая возможность») не прощает мужу, еще совсем недавно горячо любимому человеку, ее гордости и

смыслу жизни, малодушия и лжи; теперь он не вызывает у нее ничего, кроме презрения и отвращения. Образ Энн — в целом, что у Моэма редкость, положительный — психологически не удался: откуда вдруг взялась ее завышенная принципиальность к обожаемому мужу? Вспоминается в этой связи критика, которой подвергся автор «Луны и гроша» со стороны Кэтрин Мэнсфилд: *чем Энн Олбен живет и что собой представляет, мы так и не узнаем.*

И, наконец, венец женоненавистничества Моэма, — Дарья из рассказа «Нейл Макадам»^[99]. Русская жена ученого-натуралиста Ангуса Манро преследует своей ненасытной, похотливой страстью юного красавца Нейла Макадама, «который привлекал к себе не только своей красотой; он шел навстречу миру с таким чистосердечием, простотой и непосредственностью, что это не могло не вызвать симпатии»^[100]. У Моэма («юный красавец») — во всяком случае. «Женщины, — рассуждает Дарья (а в действительности конечно же Моэм), пускаясь с Макадамом в разговор по душам, — это нечто чудовищное. Они ревнивы, злобны и праздны. С ними не о чем говорить... Да и вообще чего от них ждать?..»

У Сомерсета Моэма на этот счет нет ни малейших сомнений; ничего хорошего ждать от женщин не приходится. Тем более — от энергичных и сильных духом. И напрасно им дали свободу — они не знают, как ею распорядиться.

В *жизни* Моэм прожил с Сайри неполных двенадцать лет, да и то с большими перерывами. В *литературе* же «не расставался» до конца своих дней. Воспроизводил всё новых и новых сайри уэллкам — ревнивых, агрессивных и праздных.

Глава 17 НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ

Нелсон Даблдей, встречавший 11 октября 1940 года в нью-йоркском аэропорту прилетевшего из Лондона Моэма, рассказывал, что писатель, выйдя из самолета, первым делом попросил стаканчик выдержанного виски, залпом выпил, после чего извлек из жилетного кармана ампулу с ядом, швырнул ее на пол, раздавил носком ботинка и с чувством произнес: «Теперь в аде необходимости больше нет».

Всерьез, однако, войну Моэм воспринял далеко не сразу. Как и многие в Европе, писатель не верил, что она начнется. «Не думаю, что есть опасность войны, — с завидным легкомыслием пишет он после аншлюса в марте 1938 года. — Правда, у австрийцев немного закружилась голова, и ведут они себя так, что иностранцам лучше к ним не наведываться». Спустя полгода, после «триумфального» возвращения из Мюнхена Невилла Чемберлена, сказавшего «Я привез вам мир», Моэм с прежним благодушием пишет в Сан-Франциско Берту Алансону: «Ну вот, теперь мы избежали войны на многие годы!» Если у писателя на этот счет и были сомнения, то его старший брат лорд-канцлер Фредерик Моэм, который, понятное дело, горячо поддерживал своего премьера, без труда их развеял. «Ты ведь не политик, — по обыкновению снисходительно писал он младшему брату, — ты сочинитель, витаешь в небесах... Поверь мне, войны не будет». В мае 1939-го, за три месяца до начала войны, Моэм едет в Италию, в Монтекатини, принимать грязевые ванны и оттуда с прежним оптимизмом пишет тому же Алансону: «В Италии все убеждены, что войны не будет, и если немцы не предпримут что-нибудь идиотское, нам, думаю, ничего не грозит». Еще через месяц, в июне, в «Мавританке», как всегда, много гостей. Гольф, теннис, бридж, бассейн, прогулки по морю на яхте; только и разговоров о том, что Гитлер блефует. «Если сенегальские колониальные пехотинцы с военной базы на Фрэжюсе не появятся на дорогах, — с авторитетным видом уверяет Моэм приглашенных на виллу, — абсолютно нет никакой опасности». Сам же он свято верит, что Франция сильна как никогда и Гитлер напасть не отважится, и, чтобы еще больше убедить себя в этом, за два месяца до нападения Германии на Польшу заказывает 20 тысяч луковиц тюльпанов, собираясь посадить их в сентябре.

А между тем признаки приближающейся катастрофы налицо. Начать с того, что разбегается итальянская прислуга: за один месяц Моэм лишается трех садовников и лакея, итальянцев по происхождению, они попросили

расчета и вернулись на родину, боясь, что Муссолини конфискует их имущество. Еще весной в «Мавританку» наведались высокие чины военно-морского флота Франции с просьбой установить на территории виллы артиллерийскую батарею, которая бы в случае войны вела прицельный огонь по итальянским кораблям. Альпийские стрелки начали продвижение к границе. Издан приказ морских властей всем частным яхтам покинуть гавань Вильфранша, и в августе Моэм с Хэкстоном отплывают на «Саре» в Ниццу, а оттуда в Марсель, куда было велено яхту перегнать. По дороге «Сару» настигает шторм, и приходится искать пристанища в Бандоле, под Тулоном, где частные лица полностью лишены свободы передвижения. Поехать было некуда. Оставалось вычитывать тревожные сводки из свежих французских и недельной давности английских газет и слушать в полдень за *café au lait*^[101] на открытой веранде последние известия из Марселя. А также прогуливаться вдоль моря, заходить в казино, которое спустя месяц превратится в военный госпиталь, после же наступления темноты возвращаться на яхту и утешаться детективами, помогавшими скоротать время... Эпоха *douceur de vivre*^[102] подходит к концу.

Эпоха «сладкой жизни», может, и подходит к концу, но благодущие не покидают Моэма и с началом войны. Министерство информации в Лондоне откликается на предложение писателя поработать пером на победу британского оружия и уже в октябре, спустя месяц после начала войны, заказывает Моэму пропагандистскую брошюру о том, как воюет с Гитлером доблестная Франция. 21 октября Моэм выезжает в действующую армию, которую, впрочем, точнее было бы назвать бездействующей. Писатель же полон энергии: берет интервью у министра вооружений, посещает в Нанси штаб генерала де Латтра, изучает «неприступную» линию Мажино, остается очень доволен моральным духом «непобедимых» французских солдат. Бывает на военных заводах, в Тулоне поднимается на французский линкор, спускается в угольные шахты во Фландрии, примерно в тех местах, где четверть века назад сам же эвакуировал раненых. Его письма и дневниковые записи того времени полнятся победными реляциями, которые потом вольются в заказанную книгу. «Я провел на фронте потрясающую неделю». «Никогда не видел французов более едиными и сосредоточенными. Войну они воспринимают как крестовый поход». «Я бы сказал, что вся нация под ружьем... вся страна — это один огромный военный завод». «Мы в Англии даже не представляем себе, какой решимостью охвачены французы, с какой готовностью вся страна готова оказывать сопротивление противнику».

В апреле 1940 года, за три месяца до краха «охваченной решимостью» Франции, в Лондоне выходит огромным, как и полагается пропагандистской брошюре, тиражом книга Моэма «Воюющая Франция», а в июне наступает, наконец, запоздалое отрезвление.

Становится ясно, что из «Мавританки» надо бежать, и чем скорей, тем лучше: Моэм со своим «шпионским» прошлым на заметке у германских властей, да и английский вице-консул в Ницце торопит: 1300 английских подданных, застрявших на Лазурном Берегу, должны быть в срочном порядке эвакуированы. К. их услугам, в отсутствие пароходов, две угольные баржи «Солтерсгейт» и «Эшкрест» — вот уж на чем Моэм никогда не плавал! И взять с собой можно только один чемодан. Хэкстон остается консервировать виллу, прятать бесценную коллекцию картин и продавать «Сару», а Моэм, прихватив из своей огромной библиотеки лишь три книги: «Суд и смерть Сократа» Платона, «Генри Эсмонда» Теккерея и «Городок» Шарлотты Бронте, а также разрешенные сахар, чай, макароны, джем и хлеб, отправляется 17 июня 1940 года на набережную в Каннах, где с раннего утра под палящим солнцем ждут посадки на угольные баржи почти полторы тысячи его соотечественников. Моэму и еще 537 эвакуируемым достается «Солтерсгейт», и начинается трехнедельное путешествие, которое не забывается. Все, в том числе старики, женщины и дети, спят вповалку в трюме, не раздеваясь, часами стоят в очереди за скудным пропитанием, моются водой, в которой до них уже умывались десятки других, многие за эти двадцать дней умерли или сошли с ума.

Восьмого июля трехнедельная пытка подходит к концу, Моэм останавливается в лондонском отеле «Дорчестер» и опять порывается служить родине: на этот раз он обращается в разведуправление при министерстве обороны, ведь он как-никак разведчик со стажем, на его счету агентурная работа в Швейцарии и России. Еще совсем недавно он верил сначала в то, что войны не будет вообще, потом — в легкую победу Франции. Точно так же, как год назад он верил Чемберлену (и своему старшему брату), так теперь он верит Черчиллю: «Все мы верим в Уинстона Черчилля. Будь он премьером полгода назад, война бы теперь уже завершилась». Следом за «романтической», не имеющей ничего общего с суровой действительностью «Воюющей Францией» Моэм, освободившись после путешествия в трюме угольной шахты от иллюзий, пишет реалистический, вполне соответствующий невеселому положению вещей очерк. Называется очерк «Строго по секрету», в нем Моэм не делает секрета о том, как воюет Англия, — Франция свое уже отвоевала. Воюет поначалу не слишком успешно, однако на улицах спокойно, театры и

рестораны полны, в бомбоубежища приходится загонять силой, с английским чувством юмора все в порядке. Общее настроение обнадеживает: «Дело прежде всего».

Дело меж тем Моэму нашлось, и дело «по профилю»: в сентябре ему предлагается вылететь в США с пропагандистским турне в поддержку Великобритании. Задание ему знакомо: в 1917 году, как мы знаем, его засылают в Россию, чтобы удержать ее от выхода из Первой мировой войны; теперь, спустя четверть века, — в Америку, чтобы Штаты поскорее вступили во Вторую мировую. И 2 октября Моэм летит на военном самолете из Бристоля в Лиссабон, где проводит целую неделю, как читатель догадывается, не для того, чтобы разглядывать достопримечательности португальской столицы. А из Лиссабона на клиппере, который дважды делает посадку на Азорах и на Бермудах, вылетает в США, где пробудет безвыездно до самого конца войны.

Итак, в ампуле с ядом и впрямь необходимости больше нет: худшее позади. Моэм — в Америке. Здесь он много раз бывал, здесь ему, выражаясь современным языком, «комфортно», здесь его любят, ценят, читают и регулярно издают огромными тиражами. Моэм и сам не раз говорил, что американцам, а не своим соотечественникам, он обязан своим богатством и славой, за что он Америке от души благодарен. Потому, собственно, он и был послан в Штаты, что в этой стране он — непререкаемый литературный, театральный, да и общественный авторитет, к его голосу наверняка прислушаются — и политики, и писатели, и интеллектуальная элита, даже те, кто не питает особенно теплых чувств к Британской империи. Наконец-то он — в полной безопасности. Гавань, что и говорить, безопасная, но отнюдь не тихая. Проблем и дел у Моэма (а ему под семьдесят) — невпроворот. Как, наверно, никогда раньше.

Некоторые проблемы неожиданные — например проблема денег. Моэм давно уже, с постановки первых пьес, не испытывал недостатка в денежных знаках. Нельзя сказать, чтобы их сейчас вовсе не было, у близкого калифорнийского друга Моэма Берта Алансона скопилось немало моэмовских долларов. Однако теперь их вновь — забытое ощущение! — приходится считать: счета в Англии заморожены, да и по иммиграционным законам США в Америку можно ввозить не больше трех (!) долларов, у Моэма же в кармане, когда он прилетел в Нью-Йорк, было «целых» десять фунтов. А расходов у него хватает.

Лиза тоже в Америке и очень нуждается в регулярной помощи. Она беременна вторым ребенком, при этом никак не выберется из многочисленных болезней, к тому же ей негде жить: еще летом Даблдеи

пристроили ее к своим родственникам, но это ненадолго, да и отношения с этими родственниками у Лизы не складываются. Не складываются у нее и отношения с матерью: Сайри в Нью-Йорке, денег у своего бывшего мужа она не просит, но «ведет себя совершенно непотребно (жалуется Моэм в декабрьском письме Барбаре Бэк), устраивает чудовищные сцены, что ни день грозит самоубийством, словом, использует все свои коронные трюки; еще слава богу, что Лиза наотрез отказывается жить с ней вместе».

Ко всему прочему, у беременной дочери портятся отношения с мужем. Он редко пишет жене, воюет где-то в Австралии, потом перебрасывается в Новую Гвинею, оттуда — в Италию, по слухам, пьет и играет, в Нью-Йорк наведывается в самом конце войны, и то ненадолго. Примирения между супругами, так долго жившими врозь, вопреки ожиданиям, не происходит. Как сказал в этой связи мудрый Моэм: «Многого от человеческой природы ждать не приходится». Так что пахнет разводом — очень скоро Лиза с детьми может оказаться у отца на руках.

Волнуется Моэм и за любимого племянника Робина, который в составе Восьмой бронетанковой армии воюет в Африке против Роммеля и, опять же по слухам, демонстрирует чудеса отваги. Но весной 1942 года Роммель переходит в наступление, и 28 мая Робин тяжело ранен шрапнелью в голову. Он переносит несколько серьезных мозговых операций, после чего оказывается комиссованным, затем лечится в Англии, а спустя год приезжает в Америку: заикается, много пьет, страдает непереносимыми головными болями, тяжелыми депрессиями и отчаянным желанием писать книги, что дядю тоже не слишком вдохновляет. «Он мог бы чего-то достичь, — писал Моэм Алансону, — если бы не был так сосредоточен на себе и не любил бутылку». Моэму, при его-то воздержанности, вообще везло на пьяниц: Хэкстон, Робин Моэм, да и Алан Серл тоже в тяжелые минуты прикладывался...

Беспокоиться приходится не только за людей, но и за недвижимость. В конце ноября 1940 года, безупречно выполнив все задания патрона, Хэкстон перебирается с Лазурного Берега в Лиссабон и ищет способ вернуться в Штаты, что в это время совсем не просто. «Мавританка» меж тем законсервирована, за виллой, равно как и за парижской квартирой Моэма, присматривает юный друг Хэкстона Луи Легран, винный погреб заперт, наиболее ценные картины перевезены по соседству в дом леди Кэнмор. Вместе с тем надежд на сохранность «Виллы Мореск» немного: итальянцы оккупировали Ривьеру до Ниццы, и совершенно очевидно, что принадлежащая Моэму недвижимость, несмотря на все меры предосторожности, будет рано или поздно экспроприрована, а ее

содержимое расхищено. В 1942 году приходят невеселые вести о том, что немцы собираются снести все жилые дома на Лазурном Берегу и возвести на их месте укрепления; любимая яхта Моэма «Сара» также оказывается у противника. В конце войны становится известно, что вилла хоть и не экспроприирована, но все военные годы находилась в руках итальянцев и немцев; вдобавок ее безжалостно обстреливал с моря британский и американский флот, и зажигательная бомба уничтожила часть парка. А в августе 1944 года, по приказу командующего высадившейся на Ривьере Седьмой армии Соединенных Штатов, вилла превращается в дом отдыха для американских офицеров... Одним словом, досталось «Мавританке» и от чужих, и от своих.

Но больше всего волнений доставляет Моэму конечно же Хэкстон — тоже, можно сказать, член семьи. Самый близкий Моэму человек — даром что почти во всем его антипод. По возвращении из Лиссабона в Нью-Йорк осенью 1940 года он, по существу, перестает выполнять обязанности секретаря Моэма, с которыми так или иначе справлялся не один десяток лет. Сначала он идет учиться на летчика: хочет в случае вступления Америки в войну быть полезным отечеству. Потом, довольно, впрочем, скоро, забрасывает лётное дело и находит себе работу в Вашингтоне, и не где-нибудь, а в Бюро стратегической службы (*Office of Strategic Services*) при Государственном департаменте. Работой этой очень гордится, намекает друзьям, что «ведет разведдеятельность чрезвычайной важности», под большим секретом рассказывает, что «недавно был посажен в камеру к крупному нацистскому чину с целью выведать у него сверхсекретную информацию». Однажды их общий с Моэмом приятель встретил Хэкстона в Вашингтоне, Джералд был по обыкновению пьян (пить он не переставал все это время) и, проходя мимо, словно невзначай шепнул ему: «Вы меня не видели!»

Моэма, впрочем, эта работа Хэкстона вполне устраивает — по принципу: «Чем бы дитя ни тешилось», и «измену» писатель своему секретарю простил. «У Джералда хорошая работа в Вашингтоне, — с энтузиазмом пишет он Карлу Пфайфферу. — У него своя крошечная квартирка, он любит свое дело и сейчас счастливее, чем был все эти годы. Вся беда в том, что работу, которую он выполнял для меня, он считал для себя недостойной, а потому делал ее нехотя и плохо, к тому же у него было слишком много свободного времени. Он терпеть не мог находиться в услужении, и, хотя в Госдепе роль у него, прямо скажем, незначительна, он ощущает себя важной шишкой...» Моэм пишет, что он был бы рад, если бы Хэкстон удержался в Государственном департаменте надолго, но, увы, — в

Бюро стратегической службы Хэкстон не засиделся и перешел на службу в издательский концерн Даблдея, где, надо сказать, пришлось ко двору и сделал бы вполне приличную административную карьеру, если бы не заболел...

В мае 1944 года у него открывается туберкулез, сделанная на легком операция безуспешна, в июле Моэм отвозит друга в туберкулезный санаторий на озеро Саранак, а оттуда в августе — в баптистский госпиталь в Бостоне, где Хэкстону с каждым днем становится все хуже и хуже. «Мой туберкулез, — пишет Хэкстон с присущим ему черным юмором Барбаре Бэк, — чувствует себя преотлично. Стоит мне что-то съесть или даже выпить полстакана молока, как я начинаю кашлять, как десять чахоточных. Врачи способны помочь мне только одним — морфием, иначе я не вытерпел бы чудовищной боли. Боль так меня утомляет, что долго писать я не в силах...» Умирал Хэкстон в нью-йоркском Докторс-Хоспитэл, поливая сидевшего у его постели Моэма самыми грязными и циничными ругательствами. После его смерти 7 ноября 1944 года Моэм, как мы уже писали, был безутешен, много плакал, долгое время не желал ни с кем встречаться. Когда находившийся в это время в Америке английский прозаик Сэвил Робертс собрался Моэма навестить, тот прокричал ему по телефону: «Поймите, я не хочу вас видеть! Я никого не хочу видеть. Я хочу только одного — умереть... С помощью снотворного, которое мне иногда дают, мне удается проспать от силы часов шесть. Но когда я бодрствую, то только о нем и думаю».

Еще одна немаловажная проблема, с которой столкнулся Моэм по приезду в Америку, заключалась в жилье. Не жить же все время в нью-йоркском «Риц-Карлтоне»! — даже Моэм не мог себе такое позволить. Да и шумно, суматошно жить в центре самого большого и оживленного города Соединенных Штатов. С первых же дней своего пребывания за океаном Моэм пишет друзьям, что его устроил бы тихий городок у моря, где можно было бы писать, ходить на пляж и в кинотеатр, иногда в хорошей компании сыграть в бридж и вкусно поесть. Такое место нашлось — небольшой отель со старинным уютным названием «Колониэл инн» («Колониальный трактир») в городке Эдгартаун, на острове Мартас-Вайнярд, на западной оконечности Массачусетса.

Жизнь в «Колониальном трактире» была именно такой, какая «прописана» была Моэму. Он наслаждается безлюдьем, одевается в один и тот же синий блейзер, утром в своем одноместном номере, как всегда, работает, обедает в полном одиночестве в пустом ресторанчике отеля. После обеда два часа спит, после сна едет на пароме на пляж и только

вечером живет светской жизнью: играет в бридж, ужинает в яхт-клубе, почти каждый день ходит в кино.

Но Эдгартаун «подрос» только летом 1943 года, а летом 1941-го Моэм живет совсем не так, как ему бы хотелось. Снимает в Лос-Анджелесе, про который говорит, что «жить в нем, все равно что питаться одними конфетами», за 700 долларов в месяц (астрономическая сумма по тем временам) огромный дом с садом на Саут-Беверли-Гленн-Бульвар с тем, чтобы к нему могли приезжать Лиза с детьми, Хэкстон, Пфайффер.

Но, что называется, «не имей сто рублей». Верный Нелсон Даблдей уже осенью 1940-го сообщает Моэму, что построит для него коттедж Паркерс-Ферри на своем участке земли в Южной Каролине, недалеко от деревни Йемасси, в 55 милях от Чарльстона, на реке Комбахи. Спустя год, в декабре 1941-го, Моэм перебирается туда и живет четыре зимы подряд. Получает в свое пользование Моэм не один коттедж, а два: один для жизни и работы («литературная хижина»), другой для прислуги. В «хижине» все удобства: кабинет, гостиная, две гостевые комнаты, камин. А также книжные полки, предупредительно уставленные классиками. На стене репродукции картин, оставшихся на Ривьере. В ста ярдах от «хижины» и в двух милях от «большого дома» Даблдеи поселяют чернокожую прислугу, с которой у Моэма сразу же устанавливаются теплые, доверительные отношения. Это повариха Нора, которую Моэм довольно быстро научил готовить французские блюда, в том числе и любимый луковый суп. А также горничная Мэри, садовник — негр в черных очках по имени Воскресенье (*Sunday*) и его племянник по имени Верующий (*Religious*), выполнявший различные работы по дому. «Папа всегда обучал поваров и служанок, — вспоминала Лиза Моэм. — Он в этом отлично разбирался; сам готовить ни за что не станет, но вот научить умеет».

Расписание в Паркерс-Ферри было абсолютно то же, что и в «Мавританке». Работа исключительно утром (иногда, правда, Моэм нарушал расписание и отправлялся с Даблдеем на рассвете поохотиться в местных болотах на уток), после обеда двухчасовой сон, во второй половине дня катание по поместью на лошади, которую ему седлал молодой чернокожий грум, после чего вечернее общение с Даблдеем в «большом доме».

Паркерс-Ферри стал на четыре года настоящим «клоном» «Мавританки»: Моэму здесь работалось и жилось отлично, если не считать приступов малярии, преследовавшей его после путешествий по Индокитаю всю жизнь, в том числе и в Америке. «Это совершенно пустынное место, — писал он из Паркерс-Ферри Эдди Маршу, — две мили от ближайшего дома,

тринадцать миль в хорошую погоду от ближайшей деревни и двадцать миль — в плохую, когда дорога покрывается непролазной грязью, и больше пятидесяти миль от города. У меня из окна превосходный вид на тысячи акров болот и реку, текущую среди великолепных сосен... Единственное неудобство — магазин далеко».

Здесь, в Паркерс-Ферри, Моэм в полном одиночестве отпраздновал свое семидесятилетие: 25 января 1944 года стал для него самым обычным, рядовым днем: работа, дневной сон, прогулка, пасьянс, чтение детективных романов. «Пережил свое семидесятилетие, — писал Моэм наследующий день своему американскому приятелю, журналисту Карлу Ван Вехтену. — Пережил, и Бог с ним! С невозмутимостью предвкушаю годы, которые мне еще предстоит просуществовать на этой земле, но, честно говоря, пожил я достаточно и в любой момент готов остановиться...»

Впрочем, наслаждался одиночеством в Паркерс-Ферри Моэм не всегда. Случались — не часто, правда, — и гости. Приезжал, оказавшись в конце войны в Америке, Робин Моэм, в разговорах с которым писатель упрекал своих соотечественников; по мнению Моэма, англичане вели себя с американцами крайне глупо. «Капризничают, задирают нос, — говорил он Робину, — словом, делают всё, чтобы обидеть американцев, настроить их против себя». Да и сам Робин тоже не радовал: пил, писал посредственную прозу, главное же — был всецело сосредоточен на себе. Однажды, приехав к дяде в Паркерс-Ферри, чистосердечно признался: «Нет ничего на свете, что бы я любил так же сильно, как застолье». «Из человека с таким миропониманием хорошего писателя не получится», — прозорливо прокомментировал эту фразу племянника Моэм. Спустя три-четыре года Моэм писал знакомому: «Беда Робина всегда заключалась в том, что людьми он интересовался лишь в той степени, в какой способен был произвести на них впечатление. Потому-то он всегда окружал себя исключительно теми, кто мог в него влюбиться».

Приезжал Карл Пфайффер, уже тогда задумавший биографию писателя. Пфайффер, как и Кэнин, был своеобразным Эккерманом Моэма: записывал, нередко украдкой, выходя из комнаты, мысли, *bont mots* и реплики «великого человека», а также свои о нем впечатления, вел с ним продолжительные беседы. Моэм жаловался Пфайфферу, что полутора тысяч в месяц ему катастрофически не хватает — расходов много. Пфайффер же недоумевал: ему этой суммы было бы более чем достаточно. «Вы — университетский профессор, — посмеивался над ним Моэм, — и всем и без того известно, что у вас нет ни цента. Я же без денег жить не могу. У меня, видите ли, обязательства». Надо понимать, в первую очередь

— перед Лизой и Хэкстоном (пока тот был жив).

С весны 1943 года в Паркерс-Ферри регулярно навещается еще один гость, студент лоренсвилльского колледжа, начинающий поэт Дэвид Познер — очередное увлечение семидесятилетнего писателя. Познер «купил» Моэма, расхвалив «до небес» «Бремя страстей человеческих»; Моэм, в свою очередь, похваливал весьма еще несовершенные поэтические опыты своего юного любовника, оплатил ему обучение в дорогом, престижном Гарварде, просвещал его, приохотил к своим любимым книгам — «Будденброкам» Томаса Манна и «Застольным беседам» Уильяма Хэзлитга.

При всем при том гостей в «литературной хижине» было немного, и большую часть недели Моэм был предоставлен в зимнее время года, когда не ездил по стране, самому себе. Нелсон Даблдей даже вообразить не мог, какой царский подарок он преподнес другу, ведь в Америке в военные годы Моэм был нарасхват, все пять лет, что он прожил за океаном, его буквально рвали на части, поэтому пустынная зимняя обитель в Южной Каролине пришлась писателю как нельзя более кстати. В январе 1949 года на похоронах Даблдея, сгоревшего от скоротечного рака, Моэм прочувствованно говорил о «великом искусстве любви» своего друга, о том, что Нелсон Даблдей «всегда изыскивал возможность доставлять удовольствие друзьям».

Дел у Моэма в американские годы действительно было по горло. Во-первых, пропагандистские турне — то, ради чего, собственно, Моэм и был в Америку отправлен. До тех пор, пока Соединенные Штаты в декабре 1941 года не вступили в войну, писатель, борясь с заиканием, усталостью и волнением, ездил из Нью-Йорка в Чикаго, из Чикаго в Сан-Франциско, из Сан-Франциско обратно в Чикаго, из Чикаго в Филадельфию и Бостон. В марте 1941 года он прочел в Чикаго четыре лекции за одиннадцать дней. «Собачья жизнь!» — пожаловался он как-то одному знакомому американцу. В Нью-Хейвене в ноябре 1942 года Моэм читает лекцию о демократии и о цене свободы и так волнуется, что с каждым вновь сказанным словом заикается все сильнее, а в конце даже теряет сознание.

Переезжает из города в город, из отеля в отель, переходит из одной аудитории в другую, выступает с зажигательными речами, суть которых сводится к тому, что Америка не может оставить в беде Англию, в одиночестве воевавшую против стран Оси. Моэм терпеливо разъясняет, что собой представляет битва за Англию, лондонские бомбежки, чем грозит его родине операция «Морской лев», тогда еще Гитлером не свернутая. Он не успевает принимать приглашения на ужины, спектакли, фильмы,

презентации, лекции, дискуссии. Его выступления — и это несмотря на сильное заикание — пользуются огромной популярностью, куда большей, чем речи Томаса Манна или Уэллса. Репортеры преследуют его по пятам, не дают шагу ступить — а ведь это-то и нужно: чего стоит выступление, лекция, если на следующий день она не освещена в прессе?

Во-вторых — и тут ему тоже сопутствует успех, — собирает деньги. Приехав в Сан-Франциско, он основывает с помощью безотказного Алансона Фонд помощи Великобритании. В короткие сроки собирает 400 тысяч долларов для приобретения походных госпиталей и карет «скорой помощи». Вот типичный отрывок из его душещипательной речи, произнесенной в Чикаго вскоре после приезда в Америку, в декабре 1940 года: «Неужели вы не сделаете что-то, чтобы облегчить нашим солдатам жизнь? Многих из них уже нет в живых, это были совсем еще молодые люди, мальчишки, они оставили юных вдов и малолетних детей. Неужели вы откажетесь им помочь? Они сражались и умирали ради нас с вами, и не только ради нас с вами — ради истины, любви, чести и доброты!» Попробуй после таких слов не раскошелиться. Сам Моэм, впрочем, не всегда верит в успех своего благородного предприятия. Он видит, как нелепо порой ведут себя в Америке его соотечественники, с каким предубеждением относятся к британцам — пусть даже они и воюют за правое дело — многие американцы. Одна из статей Моэма, напечатанная в апреле 1942 года в «Сатердей ивнинг пост», когда его пропагандистская деятельность за ненадобностью уже завершилась, так и называлась «За что вы нас не любите?».

Речами пропагандистская и благотворительная деятельность Моэма в Америке не ограничивается. В конце 1940 года в Голливуде он обсуждает сценарий будущего фильма о воюющей Англии — что-то вроде выпущенной за полгода до этого брошюры «Воюющая Франция». Занят и собственными кинопроектами: летом 1941 года пишет сценарий по своему минироману «Вилла на холме». В июне 1945-го работает в Голливуде над сценарием (крайне неудачным) по «Острию бритвы», и в качестве гонорара ему предлагают, зная его любовь к изобразительному искусству и превосходную коллекцию картин на Ривьере (вот только где она теперь, эта коллекция?!), две картины на выбор — снежный пейзаж Матисса или «Гавань в Руане» Писсарро; каждая картина оценивается примерно в 15 тысяч долларов. Моэм выбирает Писсарро: уроженец Руана Гюстав Флобер — его любимый писатель.

А еще — и это тоже в связи с работой над романом «Острие бритвы», вышедшим в апреле 1944 года сумасшедшим тиражом 375 тысяч

экземпляров (и это во время войны!), — увлекается индийской философией, Ведантой. Вместе со своими соотечественниками и братьями по перу Олдосом Хаксли и Кристофером Ишервудом постигает науку медитации у своего гуру Свами Прабхавананда, приехавшего в Калифорнию из Индии. Сотрудничает Моэм и в журнале Прабхавананды «Веданта и Запад», который одно время издает в Лос-Анджелесе Ишервуд.

А еще — по старой памяти — работает на британскую разведку. Регулярно встречается с главой британской секретной службы в США сэром Уильямом Стивенсоном по кличке Бесстрашный (Intrepid), составляет ему подробные отчеты.

И конечно же пишет. Печатает рассказы в «Нью-Йоркере», политические статьи («Нас предали» — в «Сатердей ивнинг пост», «Что сулит нам завтрашний день» — в «Редбуке»), воспоминания («Картины, которые мне нравятся» — в «Лайфе»), советы писателям («Пишите о том, что знаете» — в «Доме и семье»), эссе («Чтение под бомбежками» — в «Ливинг эйдж»). Готовит для издательства Даблдея антологию английской и американской литературы (прозы и поэзии) за последние пятьдесят лет. Пишет предисловие к тому избранных рассказов и стихов своей знакомой, замечательной американской писательницы и поэтессы Дороти Паркер. Зимой 1943 года Паркер три недели гостила у Моэма в Паркерс-Ферри и с присущей ей язвительностью, прозрачно намекая на нестандартные сексуальные пристрастия хозяина «литературной хижины», отозвалась о нем: «Эта старая дама — невысказанная зануда».

Не забывает и про большую прозу: за пять лет пребывания в Америке выпускает пять романов, по роману в год. Правда, за вычетом «Острия бритвы», романы эти, прямо скажем, не высшей пробы.

Уже упоминавшийся минироман «Вилла на холме» (апрель 1941 года), который поначалу печатался в «Редбуке» и по которому Ишервуд пытался вместе с Моэмом написать сценарий, разочаровал не только критику, но и самого автора. «Я просто хотел убить время», — словно оправдываясь, пишет Моэм Эдди Маршу, своему самому взыскательному критику; «Ньюсуик» же сострил, что «автор диктовал это сочинение во сне».

Не лучше и вышедший в июне 1942 года, написанный по заданию министерства информации Великобритании и тоже печатавшийся отдельными выпусками в «Редбуке» роман «За час до рассвета» — неприхотливая история о воздействии войны на типичную английскую семью. Роман и сам по себе был плох, но еще хуже — снятый по нему в 1944 году фильм, — а ведь бывает, что слабая книга «при поддержке» сильного сценария и хороших актеров преображается.

Впрочем, и эти романы можно считать истинными шедеврами по сравнению с двумя историческими опусами, уж точно не делающими Моэму чести. Один из них — роман 1946 года «Тогда и теперь», где действие происходит в Италии времен Возрождения, а главным героем является не кто-нибудь, а сам Николо Макиавелли. «На редкость неудачный вклад во второсортный журнал для юношества, — писал о романе принципиальный недруг Моэма Эдмунд Уилсон. — Просто поражаешься способности автора писать сплошными штампами, а также его полнейшей неспособности проявить начатки творческой индивидуальности». Штампы штампами, а выходит роман «советским» тиражом — 750 тысяч экземпляров, которым гордился не только сам Моэм (он-то давно привык к «автоматическим бестселлерам»: раз Моэм — значит, раскупят), но и не слишком жаловавший его старший брат. Когда Ивлин Во в его присутствии похвастался, что он самый популярный писатель в Америке, лорд Фредерик Моэм, не задумываясь, поставил автора «Незабвенной» на место: «Не знаю, как вас, а моего брата печатают в Штатах миллионными тиражами».

Отсутствуют «начатки творческой индивидуальности» и в романе из жизни Испании XVII века «Каталина». Однако сюрпризы возникли и здесь: солидный лондонский тираж 50 тысяч экземпляров плюс премия «Лучшая книга месяца», которую слабенький роман Моэма разделил с самим «Доктором Фаустусом» Томаса Манна. Исторические романы, как мы помним, Моэму никогда не давались: автор словно забывает про свой собственный совет молодым писателям: «Пишите о том, что знаете». Сам же пишет о далеких временах святой инквизиции и о девочке-калеке, которой является Дева Мария, и предсказывает, что ее излечит один из трех братьев — или епископ, или солдат, или пекарь. То, что не удастся епископу и солдату, удастся пекарю. «Когда я писал эту вещь, — сделал Моэм позднее хорошую мину при плохой игре, — я пребывал в превосходном настроении; меня не покидала мысль, что это мой последний роман». И он не ошибся: в дальнейшем писал только нон-фикшн, только о том, что хорошо знал. Как и во времена «Бремени страстей человеческих»: в 1915 году Моэм писал эту книгу о себе — предмет, ему неплохо знакомый.

Сослужило «Время» добрую службу своему автору и в Америке, через тридцать лет после первого издания. Дело в том, что со смертью Хэкстона в жизни Моэма начинается новый этап. «В игру вступает» уже известный читателю, куда менее яркий и способный, чем Джералд Хэкстон, зато куда более покладистый и услужливый Алан Серл. Своего часа Серл ждал без малого десять лет. Так вот, для того чтобы Серл мог въехать в Америку и

занять пустующее уже несколько лет место литературного секретаря и сожителя знаменитого писателя, нужен был благовидный предлог — получить американскую визу осенью 1945 года было непросто. И предлог нашелся: Моэм решил преподнести Библиотеке Конгресса в Вашингтоне рукопись «Бремени» — ее-то Серл и должен был, по плану Моэма, доставить через океан. И в декабре 1945 года сорокадвухлетний Алан Серл, раздобревший, робкий, «по-собачьи преданный хозяину» (так отзывался о нем сам Моэм), прибывает в Паркерс-Ферри. Разница между бывшим литературным секретарем и нынешним, что называется, видна невооруженным глазом. Кругу близких друзей и знакомых Моэма Серл, несмотря на бросающиеся в глаза преданность и покладистость, не понравился сразу. «Если Джералд — марочное вино, — сострил один американский знакомый Моэма, — то Алан — столовое». Приметливее остальных оказался Дэвид Познер, юный поэт и гарвардский студент. По всей вероятности, приревновав Моэма к Серлу, он выразился особенно резко и, как мы скоро увидим, довольно точно: «Алан душка и добряк лишь на поверхности, внутри же это расчетливый стяжатель».

А спустя полгода после приезда Серла в Америку, 20 апреля 1946 года, Моэм в слепящем свете софитов, под стрекот кинокамер преподносит директору Библиотеки Конгресса шестнадцать рукописных тетрадей «Бремени страстей человеческих» — своего *opus magnum*.

Акт дарения означает в жизни Моэма две вещи: скорый отъезд «на малую родину» — на Ривьеру и растянувшийся на целых двадцать лет конец земного пути.

Глава 18 «ЛАЗУРНЫЙ» КОРОЛЬ ЛИР

Моэм был человеком практического ума и никакими иллюзиями относительно прискорбного состояния «Мавританки» конечно же себя не тешил. Но то, что предстало его взгляду по прибытии в начале июля 1946 года на юг Франции, явилось настоящим потрясением. Было бы некоторым преувеличением сказать, что Моэм и Серл явились на пепелище, но прежней «Виллы Мореск» они не увидели. Окна «Мавританки» были все до одного выбиты, крыша в нескольких местах пробита снарядами, стены изрешечены пулями, многие деревья в парке обгорели при минометном обстреле и от зажигательных американских бомб, вино из винных подвалов выпито (немцами? итальянцами?) до последней бутылки, оба автомобиля угнаны. «Парусный шлюп, на котором я любил ходить по голубым просторам Средиземного моря, забрали немцы, — сокрушается в „Записных книжках“ спустя три года после возвращения Моэм. — Мои машины достались итальянцам; дом попеременно занимали то немцы, то итальянцы, а мебель, книги и картины разбросаны по всей Европе»^[103]. Последняя «жалоба», впрочем, едва ли справедлива: картины, как мы знаем, были припрятаны по соседству и, поразительным образом, не только не были украдены, но даже не пострадали. А вот моэмовская парижская квартира пострадала: за ней Хэкстон оставил присматривать своего французского дружка Луи Леграна по кличке «Лулу», и «под его чутким руководством» за годы войны квартира превратилась в гомосексуальный притон.

Из марсельского отеля «Золотой парус» Моэм и Серл переместились в Ниццу, в фешенебельный «Негреско», «поближе к ремонту». Не осознав в полной мере размеры бедствия, Моэм предполагал въехать в восстановленную виллу уже в августе, однако вернулся в «Мавританку» лишь в конце года. Зато в декабре 1946-го, через полгода после возвращения хозяина «из дальних странствий», вилла смотрелась в точности, как летом 1940-го, число прислуги при этом сократилось почти втрое, с тринадцати до пяти. Незаменимая Аннет, как встарь, заступила на кухню, жена садовника, как и раньше, убирала дом, и, главное, на стенах по-прежнему красовалась бесценная коллекция моэмовских картин, которые все эти годы хранила — и сохранила — у себя леди Энид Кэнмор. Больше того: коллекция эта за годы войны обогатилась новыми, замечательными приобретениями, о чем сказано будет в свое время. И

опять начали приезжать гости, много гостей, старых и новых. К уже знакомым нам дочери Лизе с сыном Николасом, дочкой Камиллой и ее гувернанткой, старшему брату лорду Фредерику Моэму и его сыну Робину, к Ивлину Во, Эдди Маршу, Сириллу Коннолли, к чете Фриров и Алансонов, которые регулярно подкармливали хозяина виллы и его гостей, привозя из Америки в голодную еще Европу продукты, присоединились новые друзья: американский писатель-сатирик Сидни Джозеф Перельман, режиссер новой лондонской постановки «Вышестоящих лиц» Питер Добни, режиссер спектакля по рассказу «Джейн» Сэм Берман.

Несколько слов о старшем брате лорде Моэме и о Лизе.

Отношения Моэма со старшим братом после войны заметно улучшились, бывший лорд-канцлер стал даже называть брата-писателя «мой мальчик», причем без тени былой снисходительности. Он вообще с возрастом (восемьдесят шесть) сильно сдал и стал, как это часто бывает, куда терпимее. В отличие, оговоримся, от младшего брата. Моэма, впрочем, эта перемена в брате радовала не слишком. «Надеюсь, я до этого не дойду, — писал он племяннику Робину. — Так не хочется, чтобы люди терпели меня из-за старости и глупости, делая скидку на мое славное прошлое». Увы, дошел.

Что до Лизы, то после войны она выходит замуж вторично, на этот раз за 36-летнего политика, члена парламента Джона Хоупа, сына бывшего вице-короля Индии лорда Линлитгоу. Того самого, который в 1938 году, когда Моэм с Хэкстоном были в Дели, отказался Хэкстона принять. Свадьба состоялась в 1948 году, а в 1950-м и 1952-м леди Хоуп рождает двух сыновей — Джулиана Джона Сомерсета и Джонатана Чарлза.

21 июля 1948 года на свадебном приеме в «Клариджес» отец невесты произносит прочувствованный длинный тост за благополучие жениха и его отца, однако фамилия «Линлитгоу» заике Моэму не дается. Хэкстон отомщен.

Сказав о Лизе, нельзя не сказать и об Алане Серле, о двух самых близких Моэму людях в 1940–1960-е годы. А также об отношениях между ними.

Серл — нельзя этого отрицать — всегда был предан хозяину, особенно когда тот постарел и ослабел умом. Он выполнял все его причуды, был — не чета Хэкстону — кроток, послушен, терпелив, добросовестен, в самые тяжелые минуты не терял ни присутствия духа, ни чувства юмора. Ухаживал, как мог, за дряхлеющим писателем, который, в свою очередь, ухаживал за своим секретарем. Серл тоже был мнительным, нередко, несмотря на свои сорок пять лет, хворал, любил еще больше, чем

ипохондрик-хозяин, пожаловаться на здоровье, не раз лежал в больницах, страдал от множества «болячек». Чего у него только не было: и прострелы, и печеночные приступы, и геморрой, и камни в почках, и ревматизм. Что, впрочем, не мешало ему регулярно отправляться в Вильфранш, как он выражался, «позабавиться с морячками». Серл завел там себе любовника — американского морского пехотинца, которого зазывал в «Мавританку» искупаться в бассейне и щедро платил ему за «услуги».

Вместе с тем юный друг Моэма гарвардский поэт Дэвид Познер точно подметил, назвав Серла «расчетливым стяжателем». Серл, человек хоть и малообразованный, но неглупый, использовал все свое влияние на Моэма, чтобы поссорить его с Лизой. При этом внешне отношения секретаря и дочери писателя были совершенно лучезарные. «Как же я рад, что вы приехали! — озаряясь радушной улыбкой, восклицал Серл, когда Лиза с детьми (Джон Хоуп бывал на вилле редко, Моэм его терпеть не мог и называл *hopeless* — безнадежный) приезжали на Лазурный Берег. — Я давно жду этой минуты. Обнимите же меня!» Когда Лиза уезжала, спектакль повторялся: «Вы мой самый близкий, бесценный друг! Что бы я без вас делал!» Когда в марте 1957 года Лиза (как обычно, без мужа) приехала в «Мавританку», Серл безупречно сыграл роль в духе бессмертного Иудушки Головлева. «Как же мне повезло! — не уставал радоваться он. — Сегодня, в день вашего приезда, ваш отец наверняка захочет поужинать с вами наедине, и у меня наконец-то выдастся свободный вечер». Берту Алансону же, с которым у Серла установились вполне доверительные отношения, жаловался: «Я делаю для Уилли всё, а достанется всё семье». Говорил, что, если Лиза с мужем будут подолгу жить на вилле, он запьет, признавался, что Лизу и ее детей не любит, но, мол, «себя сдерживает *ради Уилли*».

Лизу Серл действительно не любил, ревновал к ней Моэма, главное же, боялся, что ему после кончины хозяина ничего не достанется, что всё приберут к рукам его дочь с мужем. И основания для опасений у него, казалось, имелись: Моэм, словно поддразнивая своего фактотума, постоянно переписывал завещание, где, касательно доли Серла, имелись зловещие строки: «В том случае, если вышеназванный Серл еще будет у меня служить».

Отсюда и тактика, которой на протяжении последнего десятилетия жизни Моэма придерживался Алан Серл — жаловался Лизе на отца и отцу на Лизу. Как очень точно и образно выразился однажды Джон Хоуп (если перевести буквально английскую идиому): «Серл бежит одновременно и с зайцами, и с собаками». Сказать, кто в данном случае был зайцем, а кто

собакой, непросто, но Серл и впрямь планомерно настраивает Моэма против дочери и ее семьи, распространяет про них сплетни, порочащие слухи и измышления, имевшие с реальностью мало общего. Нашептывает, например, хозяину, что Джон и Лиза ходят по вилле и производят опись имущества, пытается (и безуспешно) убедить Моэма, что Лиза и Джон после его, Моэма, смерти выбросят его вон с виллы без гроша за душой, и тогда Моэм требует, чтобы Джон Хоуп убедил Серла в обратном. «Я хочу, — заявляет Моэм, — чтобы после моей смерти Серл имел возможность вести достойное существование».

И тактика «разделяй и властвуй» (в лучших традициях британской внешней политики) приносит плоды. Серл, скажем, упорно распространяет слух, что Лиза собирается добиться получения медицинского удостоверения о неспособности отца, и 28 декабря 1962 года Моэм, в очередной раз поверив своему секретарю, усыновляет Серла и делает его тем самым своим единственным наследником, в связи с чем в «Дейли мейл» появилась забавная карикатура: Моэм держит на руках младенца с лицом пятидесятилетнего Серла и говорит няне: «Слыхали, мальчик только что произнес слово „папа“».

В феврале 1963 года Лиза подает встречный иск и 3 июля выигрывает дело «Уильям Сомерсет Моэм против леди Лизы Хоуп», несмотря на аргументы адвоката Моэма, что Лиза, дескать, — незаконная дочь писателя, ибо родилась она от внебрачной связи. (Мы помним, что Лиза родилась в Риме в 1915 году, а поженились Моэм и Сайри лишь спустя два года.) В результате Лиза одержала над Серлом победу, но дорогой ценой: ргивасу семьи сильно пострадало, английские газеты пестрели заголовками: «Почему я сражаюсь с отцом, которого люблю?», «Мне не нужны деньги Моэма», «Я законная дочь Моэма, в этом нет никаких сомнений». Серл же, со своей стороны, сделал хорошую мину при плохой игре, заявив в прессе, что судебный процесс «добил Уилли», что Лиза «погубила отца, да и никогда его не любила».

Нагляднее же всего тактика Серла проявилась в двух историях начала 1960-х годов — с автобиографией Моэма и его знаменитой коллекцией картин.

Хотя Моэм договорился, что его автобиографические записки «Вглядываясь в прошлое», где покойная Сайри подвергалась беззастенчивым и по большей части безосновательным оскорблениям, будут печататься в отрывках в лондонской «Санди экспресс», и информация об этом стала достоянием гласности, — Серл заверяет Лизу, что отец этой рукописи ни за что не напечатает. Что он внял советам

друзей, в частности Александра Фрира, пришедшего в ужас от нападок автора на умершую жену, о которой в автобиографии не было сказано ни одного доброго слова. Сам же тем временем активно участвует в переговорах о продаже авторских прав на автобиографию, соглашается, когда чувствует, что переговоры зашли в тупик и дело уходит из рук, на сумму вдвое меньшую, чем ту, которую запросил Моэм (35 тысяч фунтов вместо 75). Посылает в газету, дабы разжечь интерес издателей, фотографии Моэма в детстве, его матери, их парижского дома. Всех уверяет, что «Вглядываясь в прошлое» — «самая откровенная и безжалостная автобиография со времен „Исповеди“ Руссо». Фрир, несмотря на многолетнюю близкую дружбу с автором, решительно отказывается печатать «Вглядываясь в прошлое» у себя, в издательстве Хайнеманна, где Моэму прежде ни разу не отказывали ни в одной публикации.

И, тем не менее, Серл своего добился. После издания автобиографии в лондонском таблоиде в сентябре — октябре 1962 года Лиза из-за нападок на мать, которую горячо любила, перестает ездить на Лазурный Берег и если и обменивается с отцом письмами, то исключительно деловыми.

Порывает с Моэмом не только Лиза. От него отворачиваются и близкие друзья. Известный драматург Ноэл Коурд, которого, как и Фрира, связывала с Моэмом многолетняя дружба, с возмущением писал Гэрсону Кэнину: «Человек, который вылил на свою покойную жену ушат помоев, — это не тот человек, что был моим другом на протяжении стольких лет. В него вселился злой дух. Он опасен, его следует остерегаться, держаться от него подальше». Слова Коурда не разошлись с делом: в 1966 году, через четыре месяца после смерти Моэма, Коурд выводит бывшего друга в своей пьесе «Песня в сумерках» в узнаваемом образе известного писателя, путешественника и тайного гомосексуалиста Хьюго Лэтимера, человека ворчливого, циничного, лицемерного, всем и всеми недовольного.

Показательна в этом смысле и история с картинами.

Картины Моэм собирает с начала века, с первых театральных и литературных гонораров. Собирает как ценитель живописи — ценитель увлеченный, тонкий и на редкость грамотный. Собирает десятки лет и очень своей коллекцией — быть может, как ничем иным, — гордится. «Сегодня ни одно частное лицо не смогло бы собрать подобную коллекцию», — польстил Моэму один очень состоятельный сосед писателя по мысу Ферра, такой же, как и он, увлеченный коллекционер. Лыстит себе и сам Моэм. «Это хорошая коллекция, — пишет он в приуроченной к аукциону „Сотби“ в апреле 1962 года книжке „Исключительно для

собственного удовольствия“. — Хорошая, так как соответствует моим вкусам, я никогда не покупал картин, которые мне не нравились... Картины — это друзья, и если живешь с ними, они должны быть к тебе расположены... Коллекция должна отражать личность коллекционера. Про меня говорят, что на картины, как таковые, мне наплевать, я, мол, покупаю их дешево, чтобы потом продать подороже. Вздор! Я никогда не продал ни одной своей картины! Еще меня обвиняют, что, покупая картины, я ухажу от налогов. Коллекция живописи — это не вопрос цены, или престижа, или репутации — это вопрос чувства. Нужно научиться чувствовать глазами».

Моэм отлично «чувствовал глазами». И гордиться ему было чем. На стенах «Мавританки» висели все, в сущности, гранды импрессионизма и постимпрессионизма. Клод Моне, Ренуар, Гоген, Тулуз-Лотрек, Сислей, Утрилло, Боннар, Писсарро, Матисс, Руо, Пикассо. Причем Пикассо «двойной»: на одной стороне холста была написана «Смерть арлекина» — «самая трогательная картина, которую я видел в своей жизни» (писал о ней Моэм); на другой — «Женщина, сидящая в саду». Этот «двойной» Пикассо — скажем забегая вперед — «ушел» на «Сотби» за 244 тысячи долларов. А теперь бы наверняка стоил раз в пять дороже...

Читатель помнит, что во время войны Моэму удалось коллекцию сохранить. И не только сохранить, но и приумножить. В 1944 году Моэм, как мы уже говорили, получает в качестве гонорара за сценарий по «Острию бритвы» картину Писсарро. В 1949 году в Нью-Йорке приобретает за десять тысяч «Распятие» Руо, за 50 тысяч «Лодки в Аржантее» Ренуара, за 14 тысяч «Вид Голландии» Клода Моне. В 1950 году в Нью-Йорке же за 29 тысяч — «Трех юных девушек» Ренуара, за десять тысяч — «Строгальщика» Тулуз-Лотрека, за две тысячи — «Женщину и ребенка» Боннара. Цены на сегодняшний день совершенно смехотворные!

Но вот летом 1961 года из лондонской Национальной галереи крадут картину Гойи, в «Мавританке» же нет даже самой примитивной системы сигнализации. «Я еще ни разу не видел дома, — искренне удивлялся мэр Сен-Жана, — который бы столь гостеприимно приглашал грабителей вынести все картины до одной». А ведь Моэм с Серлом чуть ли не каждый месяц покидают виллу по различным надобностям. Решение, таким образом, назревает и принимается — коллекцию продать, и чем скорее, тем лучше.

И Серл этим не замедлил воспользоваться. Продажа коллекции назначается на 10 апреля 1962 года, и по приезде в Лондон на аукцион «Сотби» Серл (он прибыл без патрона — Моэм плохо себя чувствовал и остался на Ривьере) не преминул сообщить Лизе, что с дочерью Моэм

обсуждать продажу картин не намерен. Лиза пишет отцу, что «огорчена, так как хотела кое-какие картины повесить у себя». Ответа на свое письмо она не получает. Серл тем временем уговаривает Лизу повременить обсуждать «большую» тему с отцом, и Лиза его совету следует, Моэм же (на это и расчет Серла) воспринимает молчание Лизы как вызов. Тогда Серл сообщает Лизе, что у отца истерика, и он предупреждает, что Лиза в любом случае за картины ничего не получит. И это притом что картины, приобретенные в Америке в 1940–1950-е годы, покупались, все без исключения, на ее имя. Настроенный против дочери Моэм общается с ней теперь исключительно через адвоката, официально сообщает Лизе, что намеревается продать «Мавританку» и перебраться в Лозанну, поскольку боится, что виллу у него отберут дети.

Накануне аукциона, на котором в присутствии двух с половиной тысяч человек и телевидения коллекция Сомерсета Моэма продается почти за полтора миллиона долларов и про результаты которого Моэм сказал: «Немало для одинокого джентльмена», — Серл в крайне грубой форме заявляет Лизе, что отец на нее сердит и из вырученной суммы не даст ей ни гроша. «А будете настаивать, — пригрозил он леди Хоуп, — он заберет деньги из американского инвестиционного фонда, отложенные на внуков».

Лиза, владея расписками на все картины из коллекции Моэма плюс его письма о том, что картины принадлежат ей (в отличие от прав на литературные произведения отца, от которых она под нажимом Серла отказалась еще в 1958 году), подает на «Сотби» в суд и требует половину вырученной суммы. Однако вместо 648 900 долларов получает, по решению суда от 22 января 1964 года, за три дня до девяностолетия отца, меньше половины. В результате Лиза одерживает вторую подряд пиррову победу над отцом, Серл же всех уверяет в письмах, что Моэм «безутешен из-за поведения так называемой дочери». Алан Серл своего добился: отношения «лазурного» короля Лира и Лизы-Корделии расстраиваются окончательно.

Впрочем, если разобраться, во всем случившемся между отцом и дочерью виноват не столько «злой дух» (как знать, возможно, Коурд в письме Кэнину намекает на коварного секретаря) Алан Серл, сколько сам Моэм — в последние годы жизни, как мы уже писали, он сильно сдал.

Глава 19 «ЕСЛИ ТЫ НЕБОЛЬШОГО РОСТА, СМЕРТЬ МОЖЕТ ТЕБЯ НЕ ЗАМЕТИТЬ»

Так пошутил однажды Моэм. Но нет — смерть его «заметила», правда, далеко не сразу: дольше Моэма из английских писателей XX века жили, кажется, только трое — Бертран Расселл, Виктор Содон Притчетт и Бернард Шоу.

Лучше бы «заметила» раньше. Последнее десятилетие жизни писателя было омрачено деменцией, нескончаемыми депрессиями, взрывами неконтролируемой ярости и тоски, неадекватностью, паранойей.

Начнем, однако, с событий позитивных, тешивших немало самолюбие знаменитого писателя, «очень хорошего игрока второй категории».

Моэм, о чем мы не раз уже упоминали, трезво, порой даже излишне трезво оценивавший свое творчество, писал после войны: «Я — автор историй и на большее никогда не претендовал. Мне доставляет удовольствие рассказывать истории, и рассказал я их за свою жизнь очень много. Увы, мне не повезло: истории не пользуются у интеллигенции спросом, и я стараюсь переносить свои невзгоды со стойкостью». Если «неудачливый» автор, который к тому же «не пользуется у интеллигенции спросом», за свою жизнь заработал литературным трудом, по самым скромным подсчетам, более четырех миллионов долларов, а общий тираж всех изданных им книг составил 40 миллионов, — то что же такое автор удачливый? «Самый читаемый и безукоризненный из сегодняшних *серьезных* (курсив мой. — А. Л.) английских новеллистов», — пишет о послевоенном сборнике рассказов Моэма «Игрушки судьбы» талантливый новеллист и авторитетный критик Виктор Содон Притчетт в авторитетном же «Нью стейтсмен энд нейшн». Про последний, итоговый сборник эссе Моэма «Точки зрения» 1958 года, куда вошли очерки о братьях Гонкурах, его любимце Жюле Рене, о прозе Гёте, а также путевые заметки об Индии, — тот же «Нью стейтсмен энд нейшн» отзывается не менее хвалебно: «Продуманная и изысканная проза». Американские газеты и журналы полны панегириками о самом тиражном (только в США более миллиона экземпляров) романе Моэма «Острие бритвы», о рассказах и пьесах писателя, идущих на американских сценах при полных залах до и после войны.

Не обходится, разумеется, и без «ложки дегтя», и не одной. Мы уже

писали, что Александр Фрир наотрез отказывается печатать в «Хайнеманне» «Вглядываясь в прошлое» — отдельной книгой автобиография Моэма не вышла до сих пор. Тот же Притчетт, в целом к Моэму расположенный, в октябрьском номере «Нью стейтсмен энд нейшн» за 1949 год нелестно отзывается о только что вышедших «Записных книжках» (в оригинале «Дневник писателя», как у Достоевского): «„Записные книжки“ не подарили нам новые ощущения, не содержат новый опыт». Не все рецензии на «Точки зрения» были столь же положительны, как в «Нью стейтсмен». «Лениво и бледно... — писал „Спектейтор“. — Книга полна чужих цветов». Уж не намек ли на плагиат? Самый же чувствительный удар по своей, казалось бы, непререкаемой репутации наносится Моэму вскоре после войны, в 1949 году. Согласно проведенному в этом году журналом «Тайм энд тайд» опросу, кто на сегодняшний день является самым знаменитым английским писателем, Моэм оказывается лишь пятым, уступив пальму первенства ныне совершенно забытому автору некогда популярных исторических романов Джорджу Тревельяну, а также «всей королевской рати» — Бернарду Шоу, Герберту Уэллсу и Эдварду Моргану Форстеру.

Опрос опросом, а в 1950–1960-е годы Моэм — на вершине славы. Его именем пестрят газеты: «Моэм возвращается на Ривьеру», «Моэму предписан отдых». Он дает бесконечные интервью, его портреты печатаются на обложках крупнейших журналов, в диапазоне от ныне скончавшегося юмористического «Панча» до «Спорте иллюстрийтед». В Афинах он обедает с греческим королем, в Лозанне играет в бридж с испанской королевой, в Монте-Карло обедает с экс-премьером Черчиллем.

В марте 1951 года, вместе с тогдашним премьер-министром Великобритании Клементом Эттли, Уинстоном Черчиллем, лордами и адмиралами, выступает (как всегда, сильно заикаясь) на ежегодном банкете в Королевской академии художеств. Тремя годами позже в той же Королевской академии на торжественном обеде его сажают рядом с королевой, которая годом раньше дает Моэму получасовую аудиенцию в Виндзорском замке.

Желающих написать биографию Моэма с каждым годом становится все больше — интерес проявляет даже главный, непримиримый его «гонитель» Эдмунд Уилсон. Самого Моэма (верный признак живого классика) то и дело просят писать предисловия к книгам других, как правило, «нераскрученных» авторов, чтобы «поделиться с ними славой».

В апреле 1947 года учреждается ежегодная премия Моэма: молодой (до тридцати пяти лет) английский писатель, на счету которого всего одна

книга, получает 500 фунтов для поездки за границу с целью «расширения культурных горизонтов». Среди лауреатов премии, существующей и поныне, такие именитые теперь авторы, как Кингсли Эмис, Джон ле Карре, Тед Хьюз, Джон Уэйн, нобелевские лауреаты Вигдис Андерсен и Дорис Лессинг.

В ноябре 1948 года выходит первый фильм «Квартет» по четырем рассказам Моэма («Отцовский наказ», «На чужом жнивье», «Воздушный змей», «Жена полковника») с вступительным словом самого писателя. «По правде сказать, факт и вымысел в моем творчестве так переплелись, что теперь я и сам не в силах отличить одно от другого», — признается Моэм во вступительном слове. А спустя без малого два года на американских экранах появляется второй такой же фильм, «Трио», на этот раз по трем рассказам: «Церковный служитель», «Мистер Всезнайка» и «Санаторий». Премьера «Трио» проходит с помпой, при большом стечении «культурной общественности», и не где-нибудь, а в Нью-йоркском музее современного искусства.

В июне 1952 года в Оксфорде Моэму вручают почетную степень доктора литературы, а в мае 1961-го — памятный знак Королевского литературного общества «Кавалер литературы» и звание почетного сенатора Гейдельберга «За безупречное изображение человеческого характера». В июньском номере британского «Спорте иллюстриейтед» на обложке помещена фотография престарелого писателя, который наносит первый удар по мячу во время футбольного матча гейдельбергских студенческих команд.

В январе 1954 года, на восьмидесятилетие писателя, в отеле «Дорчестер», где по обыкновению, приезжая в Лондон, останавливается Моэм, цветов было столько, что, как пошутил юбиляр: «Сама Грета Гарбо в свои лучшие годы позавидовала бы». В этот день Моэм получил 1200 (!) поздравительных писем и телеграмм (на которые бедный Серл отвечал не один месяц), а «Нью-Йорк таймс» писала: «Сомерсет Моэм, британский мастер короткого рассказа, начал отмечать свое восьмидесятилетие с партии в бридж». В тот же день в книжном магазине лондонской «Таймс» открылась выставка рукописей и первых изданий произведений Моэма, а клуб «Дэвид Гаррикс» устроил в честь юбиляра праздничный ужин, которого до него удостаивались лишь Диккенс, Теккерея и Треллоуп. В ответной речи Моэм бойко рассуждал о том, что написал все, что мог, постиг в жизни все, что было в его силах, но в конце речи, словно доказывая только что сказанное, запнулся и долго молчал; дрожали руки, язык не повиновался.

В 1956 году Моэм едет в Париж на 500-й спектакль «Обожаемой Джулии» по роману «Театр», и зрители, стоя, ему рукоплещут. А в 1957-м проходит слух, что Моэм выдвинут одним из кандидатов на Нобелевскую премию по литературе; слух, однако, так слухом и остался: впоследствии выяснилось, что кандидатура автора «Дождя» и «Пирогов и пива» Нобелевским комитетом даже не рассматривалась.

Случаются и курьезы. Цейлонская «Дейли ньюс» заказывает Моэму двенадцать статей за 50 фунтов, не вполне, видимо, понимая, масштабы гонораров писателя. Японский театр хочет поставить «Священное пламя» — предлагаемая цена тоже, прямо скажем, не головокружительна — десять долларов за один спектакль. Какой-то француз предлагает перевести «Землю обетованную» на эсперанто. Ролан Пети хочет поставить балет по «Дождю». Журнал «Ледис хоум джорнэл» готов заплатить целых пять долларов за право процитировать всего одну фразу из книги «Подводя итоги».

Без «ложек дегтя» не обходится и здесь. В газетах нередко печатаются в адрес Моэма оскорбительные письма, где его обвиняют в пустопорожности и цинизме, ему откровенно завидуют, не могут простить успеха у читателя, и прежде всего, — в долларовом исчислении. «Сомерсет Моэм нажил сумасшедшие деньги благодаря своему беспрецедентному профессиональному цинизму», — говорится в письме в «Ивнинг стандарт» от 27 января 1954 года — своеобразный подарок писателю к юбилею. Дэвид Герберт Лоуренс, если читатель еще не забыл, писал примерно то же самое, что и этот безвестный завистник.

Восьмидесятилетний юбилей вообще прошел не вполне гладко, и не только из-за неудавшейся речи юбиляра в «Гаррике». Многие известные писатели, в том числе и близкие друзья, участвовать в юбилейном сборнике, который планировал издать журналист и прозаик Джослин Брук, под разными предлогами отказываются. Одни (Ивлин Во, Ноэл Коурд, Элизабет Боуэн) ссылаются на неотложные дела, другие (Энгус Уилсон, Джойс Кэри) — на то, что Моэма толком не читали. Вместо давно лелеемого Ордена за заслуги, на который Моэм вправе был рассчитывать в связи со «славным» восьмидесятилетием, он удостоивается всего-навсего медали «Кавалер чести». На медали, которую королева в день своего рождения обычно вручает отставным военным и государственным чиновникам средней руки, выбито «Верен делу с чистой совестью». Насчет чистой совести сказать сложно, но вот своему делу — литературе — Моэм и в самом деле был верен всю свою долгую жизнь.

Моэму словно лишний раз не дают забыть (вспоминаем Литтона Стрэчи): *отделение* у него хоть и первое, но вот классом он «путешествует» вторым.

Кстати, о путешествиях. В 1950-е (и даже в 1960-е) годы Моэм передвигается по миру по-прежнему довольно много, хотя, конечно, гораздо меньше, чем раньше. И не так далеко, как раньше (Япония — исключение); в основном это Европа, один-два раза — Америка. Многие поездки связаны теперь с лечением: грязевые ванны в Италии, операция на грыже в Швейцарии. Но лечение не отменяет общего, вполне благополучного течения в высшей степени благоустроенного, размеренного существования писателя. Фасад, внешняя сторона заключительных лет жизни Моэма, как мы убедились, вполне, за редкими исключениями, благополучна, а вот внутренняя, известная, по существу, одному Алану Серлу, оптимизма не внушает.

О неадекватности, о прискорбных и необратимых изменениях в психике стареющего писателя-путешественника свидетельствует забавный случай, описанный женой Гэрсона Кэнина Рут. По пути из Дувра во Францию Рут — это было в середине 1950-х — продемонстрировала Моэму, возвращавшемуся привычным путем из Лондона на Лазурный Берег, разные купюры у себя в кошельке: американские, французские, английские, даже итальянские.

Моэм (Серлу): Покажи и ты им наши деньги.

Серл: Вы уверены?

Моэм: Делай, что тебе говорят.

Алан Серл открывает чемодан, доверху набитый стодолларовыми купюрами.

Рут: Но ведь возить с собой столько денег небезопасно.

Моэм (*ласково поглаживая долларовые бумажки*): Не то слово, опасно, и очень. Но с тех пор, как в 1940 году пала Франция и я остался без денег, я всегда вожу с собой наличные.

В чемодане, добавляла Рут Кэнин, рассказывая эту историю, лежало не меньше 100 тысяч долларов.

Примеров паранойи у восьмидесятилетнего писателя можно привести множество, и куда менее забавных. Подозрительность сочетается у Моэма со страхом, что его обкрадут, обманут, выгонят из дома, засудят. С крайней, без малейшего повода раздражительностью, тоской, с неожиданными перепадами настроения. При этом писатель до последнего года жизни находится в приличной физической форме, много курит, выпивает, по несколько раз на дню плавает в бассейне. Физическая форма у него вполне

приличная, а вот «литературная» не ахти: «Писать мне больше не хочется. В голове нет ни замыслов, ни сюжетов, ни слов. Я давно уже перенес на бумагу все, что у меня было, и отложил перо в сторону»^[104]. Нарастающая деменция, впрочем, порой отступает: Моэм уже ничего не пишет, но может вдруг изречь нечто в высшей степени разумное, глубокомысленное, остроумное — как встарь.

Такое, впрочем, бывает не часто. В основном же он малоадекватен, груб, резок, неуправляем, хамит гостям, которых в «Мавританке» в конце 1950-х стало гораздо меньше, чем раньше, — теперь Моэм легко расстается со старыми друзьями, списывает их со счета. Как, впрочем, и они его. Гостивший на вилле режиссер Сэм Берман хотел однажды позвать своего друга на ленч, но прежде неизменно корректный и исключительно гостеприимный Моэм отрезал: «Вам-то это будет приятно! А обо мне вы подумали? Вы уверены, что это будет приятно мне!» В 1952 году, когда Лиза в очередной раз забеременела (отношения отца с дочерью были тогда еще безоблачными), Моэм пишет ей: «Пускай это и не мое дело, но рискну высказать мнение, что каждый год рожать по ребенку не вполне разумно. По-моему, четверо детей должны были удовлетворить, наконец, твои материнские инстинкты». Может после объятий и рукопожатий начать вдруг непристойно шутить и ругаться последними словами и, тыча пальцем в Серла, спросить: «Кто этот негодяй? Не давайте ему обижать меня». Поносит — впрочем, не только других, но и самого себя. Называет себя «ужасным, гадким человеком», жалуется, что его все возненавидели.

Днем дремлет, ночью же не спит, встает в два-три часа ночи, заходит к Серлу, бродит по его комнате, точно привидение, курит, бормочет что-то невнятное. Может — и это тоже среди ночи — начать делиться со своим секретарем далеко идущими творческими планами, всевозможными идеями, нередко совершенно завиральными; жаловаться, что после смерти у него все отберут. Может среди бела дня уйти из дома, и его приходится искать по всему мысу. Или где-нибудь спрячется, или пойдет, полураздетый, в шлепанцах, по шоссе навстречу машинам. Однажды спрятался от Серла на вокзале в Веве по пути на Лазурный Берег и не был бы найден, если бы какая-то сердобольная дама не сказала Серлу, что в зале ожидания за буфетной стойкой «притаился милый пожилой джентльмен, который уверяет, что он — Сомерсет Моэм». Может за обедом опрокинуть (и не случайно, а нарочно) тарелку с едой на пол; однажды на ужине с Фриром в солидном «Отель де Пари» в Монте-Карло ни с того ни с сего стал кричать: «Фрир, вы должны немедленно увести меня с этого распроклятого ужина!» Может не узнать старого друга; в ресторане по

случаю своего девятидесятилетия заявил Годфриду Уинну: «Добрый вечер, вы что, приятель Алана?» Когда же Уинн показал ему программку «Отелло», поставленного в лондонском Национальном театре, задумчиво сказал: «Что-то не припомню, когда я написал эту пьесу...» Мог вдруг впасть в бешенство, в глазах тогда появлялся странный болезненный блеск, он начинал сквернословить и через слово, словно кому-то угрожая, повторять: «Я им покажу! Они у меня попляшут!»

Или, напротив, жаловался на жизнь, принимался плакать либо молча целыми днями сидел, вперившись в экран телевизора, вечером же на пару с Серлом бестрепетно сжигал свой архив. Кэнин вспоминал, как Моэм и Серл в 1958 году сидели у камина и с макабрической улыбкой, извлекая из коробок письма, документы, наброски, черновики, фотографии, жгли все подряд. Прежде чем передать ворох порой бесценных бумаг Серлу, Моэм бегло их просматривал, почти все бумаги отдавал секретарю, тот отправлял их в огонь, меж тем как писатель, глядя на горящие черновики и письма, философствовал вслух: «Вот так исчезает в дыму история современной литературы!» Когда однажды Кэнин «вступился» за какой-то моэмовский черновик, сказав: «Вы сами не сознаете, что следует уничтожить, а что оставить», Моэм пришел в ярость и грубо его осадил: «Не ваше дело». И, чтобы поставить друга на место, а заодно его подразнить, сообщил, что на днях обнаружил свою непоставленную и не изданную четырехактную пьесу. «Я ведь не сразу ее сжег, верно, Алан? — принялся ерничать он. — Я ее отложил, прочел перед сном в постели. Отличная пьеска! Хохотал до колик. Ну а на следующий день мы ее все-таки сожгли».

Веселился, впрочем, редко. Больше тосковал, потерял всякий интерес к окружающему и окружающим, перестал вовсе читать, мучительно вслушивался, что говорят с экрана телевизора, — глохнул. В письме 1951 года писал: «Здесь все мертво и скучно. У меня хорошие слуги, хорошая еда, красивый дом и славный сад. Но от всего этого мне ничуть не менее грустно». Как и в конце 1930-х, хочет продать виллу, а в 1954-м, чтобы не платить налог на наследство, превращает «Мавританку» в корпорацию «Гражданское общество „Вилла Мореск“», акции кладет на имя Лизы, после чего виллой больше не занимается (она, дескать, ему уже не принадлежит), к дочери же и особенно к зятю относится с подозрением и тайным (а нередко и явным) недоброжелательством: ему мнится, что они чувствуют себя здесь хозяевами. Говорит Лизе — и это совершенно серьезно, — что если она умрет, Джон выгонит его из дома.

Не трудно догадаться, что Серлу, какой бы он там ни был, приходится в последние годы жизни Моэма, прямо скажем, не сладко. Он исправно

гасит скандалы, хозяину — в отличие от Хэкстона — ни словом не перечит (жалеет, к тому же боится, что тот, разозлившись, может его выгнать), демонстрирует чудеса толерантности со всеми окружающими, трудится с утра до вечера — ведет частную и деловую переписку Моэма, пишет в среднем до 400 писем в неделю. А еще стоит рядом с выступающим писателем (когда тот еще выступал), всегда готовый «перевести» его заикающуюся, сбивчивую речь. С конца же 1950-х не может оставить хозяина ни на минуту, говорит (и вряд ли преувеличивает), что и сам сходит с ума, что близок к самоубийству. Жалуется (вообще любит пожаловаться) общим знакомым, что в старости хозяин стал вести себя, как «отвратительная старая дева». (Примерно так же, если читатель помнит, назвала Моэма, побывав у него в Паркерс-Ферри, Дороти Паркер — правда, тогда писательница имела в виду нечто совсем иное.)

Но возраст сказывается — и на прежде отменном здоровье тоже. Зимой 1954 года Моэм попадает в Швейцарии в больницу. После операции на грыже пошутили и врач, и пациент. «От старости у вас нет ничего, кроме долгих лет жизни», — сострил хирург Пьер Декер. Моэм же в разговоре с Кэнином сымпровизировал настоящую черную комедию, которая отличается столь свойственным ему ироническим отношением к окружающим, к действительности и, прежде всего, к самому себе. Назвать этот устный очерк стоило бы «Репетиция смерти».

«Мне стало не по себе, и меня отвезли в больницу в Лозанне. Казалось бы, грех жаловаться, но в больнице со мной, даже не спросив разрешения, стали производить массу неприятных, но, видимо, полезных вещей. С каждым часом, однако, я становился слабее и весь день провел на уколах. А потом меня оперировали и спустя несколько дней обнадружили — теперь, дескать, я здоров как никогда. Я сам врач и им, естественно, не поверил. Один молодой практикант, американец, произнес не вполне понятную фразу, которая заканчивалась вселяющим бодрость духа „худшее позади“, и, в подтверждение своих слов, похлопал меня по плечу. Но ведь о состоянии больного никому не дано знать так же хорошо, как самому больному; я же точно знал, что за восемьдесят прожитых лет ни разу не чувствовал себя так скверно. Впрочем, говорить об этом с врачами смысла не имело. Они — отличные ребята и сделали всё, что в их силах. В ту ночь я отказался от успокоительного, решив, что оно мне еще понадобится. И тут я начал куда-то проваливаться. Врачи, понятно, засуетились. Я чувствовал, как мне в руку и в задницу вонзаются иголки. Настал мой час. Я не знал, сколько времени прошло, — минута или столетие. В глазах начал меняться свет, причем стало не темнее, а светлее; свет был настолько ярок,

что слепил глаза. Пульс исчезал, сердцебиение еле прослушивалось, свет же становился все ярче, все интенсивнее, и тут... и тут я испытал потрясающее чувство высвобождения. Прямо как оргазм — только не в гениталиях, а во всем теле, во всем существе — оргазм духа. Я понял, что это конец, и, помню, отблагодарил природу за то, что концовка получилась столь приятной... Полчаса в кресле дантиста — не в пример хуже... Я улыбнулся, расслабился — и умер. А в следующий момент ощутил, как мне в анус вставляют ледяной градусник. Я отпрянул и прокричал что-то совершенно непристойное. И весь день потом был ужасно на медперсонал сердит. И только с наступлением вечера я понял, что фортуна и тут на моей стороне. Теперь, когда я знаю, что такое смерть, бояться мне ее уже нечего...»

Моэм ошибся дважды: во-первых, это был не конец; во-вторых, фортуна едва ли была на его стороне. За отделявшие «репетицию» от «спектакля» десять с лишним лет ему еще предстояло пролежать два месяца на уколах после утомительного путешествия в Японию, пережить весной 1957 года тяжелейший приступ нефрита и воспаление почек, когда боль была столь сильной, что пришлось колоть морфий. А за полгода до смерти — сначала двустороннюю пневмонию, потом ушиб берцовой кости, а напоследок сотрясение мозга. Словом, как пошутил однажды сам Моэм: «И чего только не бывает с человеком, когда он стареет».

«Умирать — скучное, тоскливое дело, — писал 85-летний Моэм племяннику Робину. — Советую тебе не иметь со смертью ничего общего». Моэм и не имел. Вернее, имел, но, по существу, лишь последние десять месяцев жизни. Вот краткая хронология последних месяцев человека, прожившего — и в целом вполне благополучно — 91 год, 10 месяцев, 15 дней.

1964, июль. Моэм составляет завещание: «Мавританка» — дочери, А. Серлу — обстановка виллы плюс права на литературные произведения плюс 50 тысяч фунтов; Аннет — две тысячи фунтов, Жану (шоферу) — две тысячи фунтов, прислуге — по 500 фунтов. Завещает себя кремировать и захоронить прах на территории Кингз-скул.

1964, август. На виллу после большого перерыва приезжает Лиза. Моэм видит дочь последний раз; принимает ее за Сайри и спрашивает: «Почему ты не закрыла свою мастерскую?» Разговаривая с дочерью, безостановочно перемещается по дому, бегаёт вверх-вниз по лестнице с невероятной для девяностолетнего старца прытью.

1965, 25 января. Последний день рождения Моэма. Ему исполняется 91 год.

1965, март. У Моэма двусторонняя пневмония; теряет сознание. Его перевозят из дома в больницу, однако уже через несколько дней выписывают; опасность миновала.

1965, 8 декабря. Моэм падает в саду, повреждает берцовую кость.

1965, 12 декабря. Спотыкается на ковре в гостиной, падает, расшибает голову о камин. Среди ночи просыпается, встает с постели, падает и теряет сознание. Приходит в себя и говорит перепуганному Серлу: «Где ты был все это время? Я искал тебя несколько месяцев. Хочу пожать тебе руку и поблагодарить за все, что ты для меня сделал». Это его последние слова.

1965, 13 декабря. Моэма перевозят в Ниццу, в англо-американский госпиталь. Он впадает в кому.

1965, 15 декабря. Умирает в больнице, не приходя в сознание.

1965, 16 декабря. Чтобы избежать вскрытия, тело Моэма перевозят обратно на виллу. А. Серл делает официальное заявление о смерти Сомерсета Моэма «в своей постели». Извещает Лизу Хоуп о смерти отца. Проститься с писателем приезжают родственники, друзья, французские официальные лица.

1965, 20 декабря. Тело Моэма перевозят в Марсель и кремируют. «На кремации присутствовали литературный секретарь и постоянный спутник усопшего Алан Серл, генеральный консул Великобритании в Марселе Питер Мюррей, а также финансовый душеприказчик Моэма Гордон Блэр.

От мэрии города Сен-Жан, что на мысе Ферра, где писатель прожил без малого сорок лет, были присланы цветы. Прислали цветы также друзья и поклонники покойного писателя», — сообщает на следующий день «Нью-Йорк таймс».

1965, 21 декабря. Прах Моэма доставляют на самолете в Лондон.

1965, 22 декабря. Урну с прахом Сомерсета Моэма хоронят, согласно его воле, у подножия стены Моэмовской библиотеки в Кентербери, в Кингз-скул. Кроме А. Серла и леди Лизы Хоуп на захоронении присутствуют тридцать учащихся Королевской школы, прервавших рождественские каникулы и вернувшихся в школу отдать дань покойному писателю, ученику Кингз-скул.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Уильям Сомерсет Моэм Из книги путевых очерков «Джентльмен в гостинной» (1930)

I

Я никогда не мог себя заставить испытывать к Чарлзу Лэму ту привязанность, какую питают к нему большинство читателей. Из присущего мне чувства противоречия я не переношу экзальтированности у других и теряю (против своей воли, ибо, Бог свидетель, мне вовсе не хочется заморозить прохладным отношением энтузиазм моих знакомых) способность восхищаться. Оттого, что слишком многие критики писали о Чарлзе Лэме с дежурной восторженностью, я не в состоянии читать его без некоторого напряжения. Лэм сродни людям, которых мы называем «широкой души человек»; такие, как он, терпеливо ждут, когда вас постигнет несчастье, чтобы выразить вам свое искреннее сочувствие. Они с такой поспешностью протягивают вам руку, когда вы упали, что, потирая ушибленную коленку, вы поневоле задаетесь вопросом, не они ли подложили вам под ноги камень, о который вы споткнулись. Люди с переизбытком обаяния вызывают у меня страх. Они нас подавляют, и, в конце концов, мы становимся жертвой их уникального дара и их неискренности. Кроме того, я не слишком жалую писателей, чье главное достоинство — обаяние. Одного обаяния недостаточно. Я хочу, чтобы было куда вонзить зубы, и если я заказываю жареную говядину и йоркширский пудинг, а мне приносят кусок хлеба и стакан молока, я не скрываю своего разочарования. Меня выводит из себя повышенная чувствительность трогательного Элии^[105]. Руссо приучил писателей писать сердцем, и еще долгое время после него считалось хорошим тоном творить с комком в горле; эмоциональность же Лэма напоминает мне слезливость алкоголика. Меня не покидает мысль, что его чувствительность лечится воздержанием, таблетками и слабительным. Когда вы читаете отзывы о нем его современников, то оказывается, что изысканный Элия — не более чем выдумка сентименталистов. Человеком он был куда более толстокожим, вспыльчивым и невоздержанным, чем его изображали, и он бы и сам от души (и не без оснований) посмеялся над тем портретом, какой они с него

написали. Если бы как-нибудь вечером вы встретились с ним у Бенджамина Хейдона, вашему взору предстал бы неопрятный, далеко не всегда трезвый человек, который часто бывает очень скучен, да и удачно шутит лишь изредка. Иными словами, вы встретились бы не с изысканным Элией, а с Чарлзом Лэмом. И если бы в то утро вы прочли его эссе в «Лондон мэгэзин», то сочли бы это забавной проделкой. Вам никогда бы не пришло в голову, что этот симпатичный очерк со временем станет примером для подражания. Вы бы прочли его так, как следовало бы прочесть, ибо для вас он был бы живой вещью. Беда всякого писателя состоит, среди прочего, в том, что его недохваляют при жизни и перехваливают после смерти. Критики вынуждают нас читать классику, как выразился Макиавелли, в парадном мундире. Тогда как было бы куда больше толку, читай мы классиков, как наших современников, — не в парадном мундире, а в халате.

А поскольку Лэма я читал не из любви, а из уважения к общему мнению, — Хэзлитта я не читал вовсе. Притом какое количество книг мне надлежало прочесть, я счел, что могу позволить себе пренебречь писателем, который посредственно (как мне казалось) пишет о том, о чем другой писатель пишет блестяще. Но изысканный Элия мне надоел. Мне редко доводилось читать что-нибудь о Лэме, не встретив нападков на Хэзлитта, насмешек над ним. Я знал, что Фицджеральд задумал было написать биографию Хэзлитта, но от затеи этой в конечном счете отказался — характер Хэзлитта вызывал у него отвращение. Это был мелочный, грубый, отталкивающего вида человек, затесавшийся в круг таких блестящих людей, как Лэм, Китс, Шелли, Кольридж и Вордсворт. Мне представлялось, что тратить время на писателя с незначительным талантом и на человека с плохим характером особой необходимости нет. Но однажды, когда, собираясь в далекие страны, я бродил по книжной лавке Бампуса в поисках книг в дорогу, на глаза мне попался сборник эссе Хэзлитта, небольшой том в зеленой обложке, с хорошей печатью, недорогой и легкий на вес. Из чистого любопытства — хочется же узнать правду об авторе, о котором написано столько всего плохого, — я снял с полки зеленый томик и приобщил его к стопке книг, которые успел уже отложить.

II

Сев на пароход, который плыл верх по реке Иравади в Паган, я достал из сумки зеленый томик, собираясь читать его в дороге. Пароход был забит

местными жителями. Весь день они пролежали на койках в окружении своих тюков и свертков и только и делали, что ели и сплетничали. Были среди них несколько монахов; одеты монахи были во все желтое, наголо пострижены и курили манильские сигары. Случалось, нам попадался плот из тиковых бревен, он плыл вниз по течению в Рангун, на плоту стоял крытый соломой маленький домик; в глаза бросались копошащиеся вокруг дома члены семьи: на одном плоту семья занималась приготовлением пищи, на другом, уютно устроившись, с аппетитом ее поедала. Жизнь эти люди, судя по всему, вели беззаботную, большую часть дня ничего не делали, на удовлетворение праздного любопытства времени не жалели. Река была широкой и грязной, с низкими берегами. Время от времени на берегу вырастала пагода — иногда опрятная, белая, однако чаще — полуразвалившаяся. Встречались порой и деревеньки, примостившиеся в тени больших зеленых деревьев. На пристани громко переговаривались, шумели и жестикулировали люди в ярких одеждах, издали толпа походила на охапки цветов, сваленных как попало на рыночном прилавке. Когда одни, похватав свои вещи, сходили с парохода, а другие на него садились, поднимался невообразимый шум, возникала суматоха; низкорослые людишки толклись, торопились, что-то громко выкрикивали.

Путешествие по реке, в какой бы части света вы ни находились, наводит тоску и, одновременно, успокаивает. Вы не испытываете никакой ответственности. Жизнь у вас легче легкого. Благодаря трехразовому питанию длинный день дробится на равные промежутки, и очень скоро у вас возникает ощущение, будто вы лишились индивидуальности. Вы — всего лишь отдельно взятый пассажир, занимающий отдельно взятую койку, и, согласно статистическим выкладкам компании, койку в это время года вы уже занимаете определенное число лет и будете занимать и впредь, обеспечивая компании стабильный доход.

Я раскрыл Хэзлитта. И был поражен. Оказалось, что это серьезный писатель, без всякой претензии, свои взгляды он высказывает открыто, прямо и веско. Рассуждает здраво и внятно. Искусство любит, но без надрыва, любить искусство себя не заставляет. Живо интересуется окружающей его жизнью. Он оригинален, глубок, при этом ни глубиной, ни оригинальностью не бравитурит; он остроумен и тонок. И мне понравился его язык — естественный, энергичный, богатый: Хэзлитт красноречив, в том случае когда в красноречии есть потребность. Выражается он ясно и сжато — его язык всегда точно соответствует теме, лишен цветистости и псевдозначительности. Если творчество — это природа, пропущенная через восприятие личности, то Хэзлитт — великий творец.

Я был в восторге. И не мог простить себе, что так долго прожил, не читая Хэзлитта. Я возненавидел страстных почитателей Элии, всех тех, чья глупость много лет лишала меня столь запоминающегося опыта. Верно, обаяния Хэзлитт лишен, но зато какой это могучий ум — здоровый, восприимчивый, ясный, какая из него бьет энергия! И тут мне попалось на глаза превосходное эссе «Отправляясь в путешествие», где, в частности, говорилось: «Какое же несказанное удовольствие сорвать с себя путы света и общественного мнения, утопить в природе наше докучливое, мучительное „я“ и стать существом лишь сегодняшнего дня — существом, свободным от всех обязательств, хотеть от вселенной только одного — блюда „сладкого мяса“, и если платить по счетам, то лишь за один вечер. Не напрашиваться, как прежде, на похвалы, не бояться, как встарь, вызвать презрение — и называться не иначе как „Некий джентльмен в гостиной“!» Я, признаться, предпочел бы, чтобы в этом отрывке Хэзлитт не так часто пользовался тире. В тире есть что-то грубое и необязательное, и это мне не по душе. Мне редко доводилось читать предложение, в котором тире ничего бы не стоило заменить изящным двоеточием или незаметной запятой. И, тем не менее, стоило мне прочесть эти слова, как я тут же подумал, что для книги путевых очерков трудно подыскать название удачнее, и принял решение эту книгу написать.

III

Я уронил книгу на колени и стал смотреть на стелющуюся за бортом реку. От огромной массы медленно текущей воды возникало непередаваемое ощущение абсолютного покоя. Ночь опускалась незаметно, словно летний лист, что медленно опадает с дерева на землю. Чтобы справиться с охватившей меня истомой, я попытался воскресить в памяти впечатление, которое произвел на меня Рангун.

Веселым, солнечным утром пароходик, на который я сел в Коломбо, двинулся по Иравади вверх по течению. Мне показали высокие трубы Бирманской нефтяной компании, от валившего из труб дыма воздух сделался серым и непроницаемым — но не настолько, чтобы нельзя было разглядеть золотой шпиль Шве-Дагона. И тут я обнаружил, что воспоминания мои хоть и необычайно лучезарны, но расплывчаты: сердечная встреча, поездка на американском автомобиле по оживленным улицам деловых кварталов. Повсюду бетон и железо — и ведь в точности такие же, как на улицах Гонолулу, Шанхая, Сингапура или Александрии! А

потом просторный тенистый дом в саду, приятная жизнь, завтрак то в одном клубе, то в другом, автомобильные прогулки по опрятным, широким дорогам. Вечером — бридж в разных клубах, «пахиты» с джином, мужчины, много мужчин, в белых спортивных пиджаках или в чесучовых костюмах... Смех, светская беседа, а когда уже совсем стемнеет, — обратно, переодеться к ужину, и опять прием то у одного гостеприимного хозяина, то у другого. Коктейли, много еды, танцы под патефон или же партия в бильярд. А потом — в обратный путь, все в тот же большой, прохладный, погруженный в тишину дом. Все складывалось беззаботно, легко, уютно и весело. Но — был ли это Рангун? В гавань спускались и тянулись вдоль реки переплетающиеся узкие улочки, в одном проулке ютились тысячи китайцев, в другом — бирманцы. Я ехал в автомобиле, с любопытством глядел по сторонам и думал о том, какие чудеса мне бы открылись, какие тайны стали бы доступны, растворись я в этой загадочной жизни, погрузись я в нее, как погружается в полноводную Иравади брошенная за борт чашка с водой. Рангун. И тут я обнаружил, что из моих воспоминаний, таких туманных и путаных, Шве-Дагон восстает столь же явственно, как и в то утро, когда я увидел его впервые. Его золото искрилось, точно нежданная надежда в потемках души, о чем так любят писать мистики. Искрилось и переливалось во мгле, окутывавшей этот громадный город.

Меня пригласил к себе один бирманский джентльмен, и я отправился к нему в офис, где должен был состояться ужин. Посреди офиса, украшенного лентами бумажных цветов, стоял большой круглый стол. Перед тем как сесть, мой хозяин представил меня нескольким своим друзьям. Блюд было очень много, в основном холодных, еду, плавающую в обильном соусе, подавали в небольших пиалах. В центре стола стояли чашки с китайским чаем, но шампанское лилось рекой, а после ужина разносили и другие спиртные напитки. Всем нам было очень весело. После ужина стол вынесли, стулья придвинули к стене. Мой любезный хозяин попросил разрешения вызвать свою жену, и она появилась вместе с подругой. Две хорошенькие, маленькие женщины с большими улыбающимися глазами вошли и скромно сели, однако вскоре сидеть по-европейски им стало неудобно, и они уселись, подложив под себя ноги, точно расположились не на стульях, а на полу. В мою честь приготовили представление, и в комнату вошли исполнители: два клоуна, оркестранты и несколько танцовщиц. Про одну из них мне сказали, что она звезда и ее знает вся Бирма. Танцовщицы были в шелковых рубашках, плотно облегающих пиджачках, с цветами в темных волосах. Пели они громкими,

натужными голосами, отчего у них вздувались на шеях вены. Танцевали не вместе, а порознь, по очереди, и двигались, точно марионетки. Клоуны подначивали друг друга, а с танцовщицами обменивались забавными репликами — во всяком случае, мой хозяин и его гости то и дело разражались громким смехом.

Я не сводил глаз со звезды. Она и в самом деле умела себя подать. Она стояла рядом с другими танцовщицами, но с таким видом, словно находилась от них в отдалении, и на лице ее играла добродушная, но слегка надменная улыбка, как будто она была из другого мира. На колкости клоунов она реагировала отрешенно; свою роль в представлении исполняла, как надлежит, однако собой со зрителями не делилась. Во всем ее облике сквозила отчужденность, замешанная на стопроцентной самонадеянности. Но вот настал ее час. Она выступила вперед. Она забыла, что была звездой, и превратилась в актрису.

Я не раз высказывал своим бирманским знакомым сожаление, что уезжаю из Рангуна, не повидав Шве-Дагон. Дело в том, что бирманцы установили определенные правила, которые к буддизму никакого отношения не имеют, но следовать которым для западного человека унижительно; чтобы унижить европейца, эти правила, собственно, и были введены. Вот почему ни один европеец не заходил теперь в ваты, между тем строение это величественное, к тому же в стране этот храм самый древний, там хранятся восемь волосков с головы Будды. Мои бирманские друзья предложили отвезти меня в Шве-Дагон, и я спрятал свою европейскую гордость в карман. Была полночь. Прибыв в храм, мы поднялись подлинной лестнице, по обеим сторонам которой находилось нечто вроде небольших будок. Их обитатели, которые продавали верующим все, что им может в храме понадобиться, работу уже закончили и, полуголые, сидели теперь перед своими жилищами, о чем-то вполголоса беседовали, курили или ужинали. Были и такие, кто крепко спал в непринужденных позах — одни на низких местных кроватях, другие на голых камнях. Повсюду, оставшиеся со вчерашнего вечера, лежали букеты завядших цветов — лотос, жасмин, ноготки, и в воздухе стоял пахучий цветочный аромат, тем более сильный, что в нем уже ощущалось гниение. Наконец мы взобрались на самую большую террасу, где нашему взору предстало немыслимое нагромождение святынь и пагод — в таком беспорядке, сплетаясь ветвями, растут в джунглях деревья. Построены они были без всякого плана или симметрии, но их золото и мрамор слабо мерцали в темноте, и зрелище открывалось неслыханное. А за ними, точно огромный корабль в окружении лихтеров, вздымался Шве-Дагон — едва

различимый в темноте, строгий, великолепный. В тусклом свете ламп переливалась позолота, которой был он покрыт. Во мраке ночи храм казался отчужденным, волнующим, таинственным. Бесшумно ступая босыми ногами, прошел настоятель, старик зажег свечи перед изображением Будды, отчего ощущение заброшенности, уединенности стало еще сильнее. В разных концах террасы монахи в желтом одеянии хриплым голосом бормотали молитву; тишину нарушал их монотонный голос.

IV

Чтобы не вводить читателя в заблуждение, спешу сообщить, что на этих страницах не будет того, что принято называть «полезной информацией». В этой книге описывается мое путешествие по Бирме, Сиаму и Индокитаю, но пишу я ее исключительно для собственного удовольствия, а также для удовольствия тех, кто, надо надеяться, захочет убить на нее несколько часов. Я — профессиональный писатель и за эту книгу рассчитываю получить кое-какие деньги, а заодно, может статься, и кое-какую похвалу.

Хотя путешествовал я в жизни немало, путешественник из меня негодный. Хороший путешественник владеет искусством удивляться. Ему всегда интересна разница между тем, что происходит у него дома, и тем, что он видит за границей. Если он наделен тонким чувством абсурдного, у него обязательно вызовет смех то обстоятельство, что люди, среди которых он очутился, одеваются совсем не так, как он. И он не перестанет искренне удивляться тому, что бывают на свете, оказывается, и такие, кто вместо вилки ест палочками и пишет не авторучкой, а кисточкой. Поскольку всё представляется ему необычным, он всё подмечает, и, в зависимости от наличия или отсутствия у него чувства юмора, он может быть забавен или поучителен. Я же так быстро ко всему привыкаю, что новые люди и места перестают казаться мне чем-то новым и непривычным. Для меня, например, так естественно, что бирманец носит разноцветный «пасо», что, лишь сделав над собой усилие, я замечу, что одет он иначе, чем я. Для меня одинаково естественно ехать на рикше и на автомобиле, сидеть на полу и на стуле, поэтому я быстро забываю, что делаю что-то не совсем так, как все. Я путешествую, потому что люблю переезжать с места на место. Путешествие дает мне чувство свободы, освобождает от ответственности, обязанностей. Мне нравится все неизведанное; я встречаю непривычных

людей, которые какое-то время кажутся мне забавными, а бывает даже, — подбрасывают мне сюжет для рассказа. Я часто от себя устаю, и мне начинает казаться, что, путешествуя, я способен чем-то обогатить свою личность, а значит, — немного измениться. Из путешествия я возвращаюсь не совсем тем человеком, каким был, когда в путешествие пустился. <...>

V

В Пагане небо было затянуто тучами, моросил мелкий дождик. Вдали я увидел пагоды, которыми знаменит этот город. Подобно неясному воспоминанию о каком-то диковинном сне, они выступали из утреннего тумана — огромные, далекие, таинственные. Речной пароходик высадил меня возле грязной деревушки, в нескольких милях от цели моего путешествия, и мне пришлось ждать под дождем, пока слуга не нашел запряженную быками повозку, на которой я мог бы добраться до места. Повозка была безрессорной, с навесом, на прочных деревянных колесах, выложенная изнутри циновками из кокосовой пальмы. Под навесом стояла невыносимая жара, нечем было дышать, но мелкий дождь тем временем превратился в настоящий ливень, и оставалось только радоваться, что у меня есть крыша над головой. Я растянулся на циновках, а когда так лежать надоело, сел, скрестив ноги. Быки шли с черепашьей скоростью, но когда они переступали через колею, проложенную повозками, меня встряхивало и подбрасывало, когда же повозка перевалилась через огромный камень, я чуть было не вывалился наружу. Когда, наконец, мы остановились перед домом окружного инспектора, я чувствовал себя так, словно меня избили до полусмерти.

Дом стоял на берегу реки, у самой воды, под большими раскидистыми деревьями — тамариндами, баньянами, в окружении кустов дикого крыжовника. Деревянные ступеньки вели на просторную веранду, служившую гостиной, а за верандой располагалась пара гостевых комнат с ваннами. По всему было видно, что одну из комнат кто-то уже занял, и не успел я осмотреть дом и спросить мадрасси, какие соленья, консервы и спиртное у него имеются, как на пороге вырос маленький человечек в тропическом шлеме и плаще из прорезиненной ткани, с которого стекали потоки воды. Он сбросил с себя все мокрое, и мы сели обедать — «полудничать», как здесь говорят. Оказалось, что он чехословак, работает в Калькутте в экспортной фирме, а в Бирму приехал в отпуск смотреть достопримечательности. Он был невысок, с густыми черными волосами,

хищным, крючковатым носом, в очках с золотой оправой. Штинггах туго обтягивал его плотную фигуру. По всей вероятности, турист он был активный и энергичный: шедший с самого утра дождь не помешал ему посетить никак не меньше семи пагод. Пока длилась трапеза, дождь перестал, и вскоре уже сияло солнце. Не успели мы выйти из-за стола, как чехословак уже снова собрался в путь. Сколько всего пагод в Пагане, мне неизвестно, но когда стоишь на возвышении, они тянутся до самого горизонта. Расположены пагоды не дальше друг от друга, чем надгробия на кладбище. Пагоды здесь самого разного размера и сохранности. По их массивности, форме и великолепию можно судить о том, какой огромный, многолюдный город здесь когда-то шумел. Сегодня же на этом месте стояла деревня с широкими, ухабистыми, обсаженными огромными деревьями улицами; деревенька славная, небольшая, дома тоже небольшие, на вид уютные, крытые рогожей, живут в них рабочие-лакировщики: Паган, забыв о своем былом величии, промышляет теперь этим скромным ремеслом.

Из всех пагод только одна — Ананда — до сих пор является местом паломничества. В высокой позолоченной комнате у позолоченной стены стоят четыре громадных позолоченных Будды. Вы вступаете под позолоченный свод и осматриваете их одного за другим. Вид у Будд, озаряемых бликами тусклого золота, совершенно непроницаемый. Перед одним из них монах в желтом одеянии тонким голосом, нараспев читает мантру, смысл которой вам не доступен. Остальные же пагоды пустуют. Из-под тротуара пробивается трава, кое-где пустились побеги молодые деревца. Пагоды стали пристанищем птиц. Над их вершинами кружат ястребы, на карнизах тараторят маленькие зеленые попугайчики. Чем-то пагоды напоминают причудливые, жутковатого вида цветы, превращенные в камень. Одной из них архитектор придал вид лотоса, точно так же, как действовал архитектор церкви Святого Иоанна, что на Смит-сквер. Проектируя здание, он взял за основу оттоманку королевы Анны; в пагоде ощущается та барочная избыточность, по сравнению с которой иезуитские церкви в Испании кажутся аскетичными. Вид у пагоды нелепый, смотреть на нее без улыбки невозможно, однако ее богатое убранство захватывает. Она аляповата, но все же по-своему любопытна, и фантазия, которую вложил в нее зодчий, завораживает. Чем-то она напоминает ткань, которую всего за одну ночь соткали бесчисленные руки одного из своенравных богов индийской мифологии. Будды в пагодах, все как один, погружены в медитацию. Позолота на этих гигантских фигурах давным-давно стерлась, да и сами фигуры превращаются в прах. Диковинные львы, что охраняют вход в пагоду, рассыпаются на своих пьедесталах.

Странное и печальное зрелище. И, тем не менее, в нескольких пагодах я побывал, удовлетворив тем самым свое любопытство и не ударив в грязь лицом перед чехословаком. Он же разделил все пагоды по стилю и отметил в своей записной книжке особенности каждой. В отношении каждой пагоды имелась у него особая теория, и в его голове все они были разложены по полочкам, дабы в случае необходимости выступить в защиту своей теории или же пуститься в научный спор. Не было ни одного до основания разрушенного храма, которого он бы не подвергнул самому тщательному анализу. Чтобы должным образом описать форму и размер плитки, он скакал по обвалившимся лестницам с проворством горного козла. Я же предпочел сидеть без всякого дела на веранде дома окружного инспектора и смотреть по сторонам. Раскаленное полуденное солнце стерло с ландшафта все краски, так что деревья и дикий кустарник, которые пышно разрослись там, где жили и трудились люди, поблекли и посерели. Когда же день стал клониться к вечеру, выжженные солнцем цвета вернулись, подобно эмоциям, которым мы до времени в повседневной суете не даем воли, и деревья и кусты вновь окрасились в сочный зеленый цвет. Солнце закатилось за противоположный берег реки, и красное облако на западе отразилось в неподвижной водной глади. Ни дуновения, и Ирвади застыла в полудреме. Неподалеку одинокий рыбацкая челноке испытывал свою рыбацкую судьбу. Чуть в стороне возвышалась пагода, одна из самых здесь красивых. В свете заходящего солнца ее кремовые цвета еще больше смягчились и приобрели оттенок старинных шелковых платьев, из тех, что выставляют в музеях. Пагода радовала глаз своей симметрией: число и форма башенок с одной стороны в точности соответствовали числу и форме башенок с другой, а пламенеющие на закате окна дублировали находившиеся под ними такие же пламенеющие двери. Отделка отличалась какой-то вызывающей красотой, словно стремясь вознестись на заоблачные вершины духа, словно в отчаянной борьбе не на жизнь, а на смерть не могла позволить себе довольствоваться сдержанностью хорошего вкуса. И вместе с тем было в этой пагоде нечто величественное; величественным было и безлюдье, царившее вокруг нее. Казалось, для земли, на которой стоит пагода, она была слишком тяжким бременем. А ведь стоит она здесь уже много веков; стоит и бесстрастно взирает на улыбающуюся излучину Ирвади. Птицы весело пели на деревьях, стрекотали сверчки, и квакали, и квакали, и квакали лягушки. Где-то насвистывал грустную мелодию на своей простенькой дудочке мальчик, из деревни доносились громкие голоса. На Востоке тишины не бывает.

Тем временем вернулся чехословак. Он изнывал от жары, одежда его была покрыта толстым слоем пыли, он устал — но был безмерно счастлив: не упустил ничего и всюду успел. И чего только не узнал он за этот день! Пагода тем временем стала погружаться во мрак и смотрелась теперь какой-то эфемерной, как будто была построена из тоненьких досок, — вы бы ничуть не удивились, если бы увидели это воздушное строение со стандартным набором колониальных товаров на Всемирной парижской выставке. В этой сельской глуши пагода имела до крайности непривычный вид. Чехословак сообщил мне, когда она была построена, при каком короле, а потом, разойдясь, принялся с энтузиазмом рассказывать про историю Пагана. Память у него была отменная. Он сыпал фактами и перечислял их с бойкостью лектора, который читает свою лекцию далеко не в первый раз. Но мне его факты были неинтересны. Какое имело значение, что за короли тогда правили страной, в каких битвах они одерживали победу и какие земли завоевывали? Мне было вполне достаточно видеть их рельефные изображения на стене храма: вот они выстроились вереницей, вот, восседая на троне, принимают дары от посланцев покоренных народов, а вот, окруженные лесом копий, мчатся в пылу боя на колесницах. Я поинтересовался у чехословака, что он собирается делать со всей этой информацией.

— Что делать? Да ничего, — ответил он. — Люблю факты. Люблю всё знать. В какую бы страну ни ехал, я читаю абсолютно все, что про нее написано. Изучаю историю, флору и фауну, обычаи и привычки людей, знакоюсь с ее искусством и литературой. Про каждую страну, где мне довелось побывать, я могу написать целую книгу. Я — кладезь знаний.

— Именно так я вас про себя и охарактеризовал — кладезь знаний. Но какой смысл в информации, которая ничего не дает? Информация ради информации — то же самое, что лестница, которая упирается в глухую стену.

— Ошибаетесь. То, что вы называете информацией ради информации, сродни булавке, которую вы подбираете с пола и прикалываете к воротнику вашего пальто. Сродни бечевке, узел на которой вы, вместо того чтобы его разрезать, развязываете и прячете бечевку в ящик комода. Никогда ведь не знаешь, когда эта информация пригодится.

И, словно в подтверждение того, что сравнения эти он взял не с потолка, чехословак отвернул подол (за отсутствием воротника) своего штингаха и продемонстрировал мне четыре аккуратно приколотые рядком булавки. <...>

Из Пагана я направился в Мандалей. Начать с того, что Мандалей — это имя. Ведь есть места, чьи названия благодаря эпизодам из истории отличаются какой-то особой магией, и мудрый человек, может статься, обойдет такие места стороной, ибо они вряд ли оправдают те надежды, какие на них возлагаются. Названия живут своей собственной жизнью, и пусть Трапезунд — это всего-навсего нищая деревня, романтический ореол ее имени будет все равно у всех мыслящих людей вызывать ассоциации с блеском и мощью Империи. А Самарканд? Найдется ли хоть один человек, у которого, напиши он это слово, не участится пульс и не зайдет сердце от неутоленного желания? Уже одно название реки Иравади рождает в нашем воображении ассоциации с неудержимым и мутным потоком. Пыльные, забитые горожанами, прожаренные слепящим солнцем улицы Мандалея широки и прямы. Набитые людьми тащатся по улицам трамваи; пассажиры теснятся на сиденьях и в проходах, висят, подобно мухам, облепившим переспелые плоды манго, на подножках. Унылая вереница обшарпанных домов с балконами и верандами — смотрятся они примерно так же, как здания на главной улице какого-нибудь европейского города, переживающего не лучшие времена. Здесь нет узких проулков и окольных путей, куда бы в поисках невообразимого могло бы проникнуть наше воображение. Но все это не существенно; у Мандалея есть имя, и звуковая гармония этого прелестного слова вобрала в себя всю светотень романтики.

Есть в Мандалее еще и форт. Окружен он высокой стеной, вокруг стены тянется ров. В форте и сейчас стоит дворец, раньше же располагались снесенные теперь правительственные службы короля Тибо и дома его министров. В стене, через равные промежутки, расположены беленные известью ворота с надстроенными над ними бельведерами, похожими на беседки в китайском саду, а на бастионах — павильоны из тикового дерева; причудливый вид этих павильонов никак не вяжется с их военным предназначением. Стена выложена огромными необожженными кирпичами цвета увядшей розы. У подножия стены протянулась широкая полоса выложенного дерном газона, где густо растут тамаринды, кассии и акации; стадо бурых овец не спеша, но целенаправленно щиплет сочную траву, а вечерами здесь же прохаживаются по двое-по трое бирманцы в своих цветастых юбках и красочных головных уборах. Это маленькие, крепкого сложения мужчины с коричневыми от загара лицами, в которых есть что-то монгольское. Двигаются они столь же неспешно и уверенно,

что и овцы, как будто эта полоса земли принадлежит им и они пришли ее обрабатывать. В них совершенно отсутствует уклончивая грация, настороженная элегантность проходящего мимо индуса; им не хватает изысканности его черт, его бросающейся в глаза томной женственности. Они то и дело улыбаются. Они счастливы, веселы и неизменно доброжелательны.

В заполняющей широкий ров воде отчетливо отражаются и розовая стена, и густая листва деревьев, и бирманцы в своей яркой одежде. Над неподвижной, но не стоячей водной гладью царит, подобно лебедю с золотой короной, неизменный покой. Ранним утром и перед заходом солнца вода окрашивается в нежно пастельные тона; они, эти тона, полупрозрачны, в них нет навязчивой определенности масляных красок. Возникает ощущение, будто свет показывает нам фокусы: не успевает играючи наложить краски, как тут же смывает их небрежной рукой. Поневоле задерживаешь дыхание, ибо не верится, что подобный эффект может продлиться дольше доли секунды. За сменой красок наблюдаешь с той же надеждой, с какой читаешь стихотворение, написанное сложным размером, ты весь ожидание, когда же слух уловит, наконец, долгожданную рифму, которой так не хватает для полной гармонии. Но на закате, когда облака на западе алеют, отчего над крепостной стеной, деревьями и водой во рву встает сияние; и ночью, при полной луне, когда белые ворота источают серебро, а бельведеры над ними словно вбирают в себя небо, — удар, который наносит по нашим чувствам природа, поистине сокрушительен. Пытаясь от него защититься, вы говорите себе, что это сон. Это не та красота, что незаметно проникает в вас, что утешает ваш смятенный дух. Это не та красота, которую можно взять в руки, назвать своей и положить на место, среди привычных, известных вам красот. Эта красота бьет вас наотмашь, ошеломляет, не дает вздохнуть, в ней нет покоя, рассудочности, она подобна огню, что мгновенно пожирает вас всего, с головы до пят; вы потрясены, вы лишились чувств и сами не понимаете, каким чудом остались живы.

VII

Мандалейский дворец стоит на большой площади, окруженной низкой побеленной стеной, на террасу, над которой дворец возвышается, ведет небольшая лестница. В старые времена площадь была застроена домами, однако теперь многие из них, в прошлом обиталища низших по рангу

королев и придворных дам, снесли, и на их месте зеленеют ласкающие глаз лужайки.

Войдя во дворец, вы попадаете в длинную комнату для аудиенций, из нее — в тронную залу, из тронной — в комнату для переодеваний, а оттуда — в другие апартаменты. По обеим сторонам этой анфилады располагаются жилые помещения короля, королев и принцесс. Тронная зала очень напоминает амбар, крыша которого лежит на высоких стропилах, причем вытесаны они из огромных тиковых бревен, на них хорошо видны неровности, оставленные инструментом плотника, и это притом что покрыты стропила позолотой и лаком. Позолочены также и доски, которыми грубо обиты стены. Золото потрескалось и потускнело. Уж не знаю каким образом, но не-сочетаемость грубой работы с позолотой и лаком создает эффект какого-то особого великолепия. Каждое дворцовое здание в отдельности, очень напоминающее швейцарское шале, само по себе невыразительно, однако, взятые вместе, своей мрачной пышностью они производят сильное впечатление. Резьба, что украшает крыши, балюстрады и перегородки между комнатами, груба, однако узор подкупает благородством формы и утонченностью. Используя совершенно несовместимые элементы, строители дворца, тем не менее, добились такой выразительности, что сразу чувствуешь — дворец достоин живших в нем восточных монархов. Во внутреннем убранстве широко используется мозаика — бессчетные мелкие зеркальные осколки, а также белые и разноцветные стекла. Вы скажете, что нет ничего более безвкусного (они напомнят вам разноцветные бутылочные осколки, которые вы в детстве подбирали на пирсе в Маргите и с гордостью демонстрировали домочадцам, приводя их в немалое замешательство), а между тем, как ни странно, смотрятся они совсем неплохо. Перегородки и ширмы, которые украшены этой нехитрой мозаикой, сделаны настолько топорно, что кажется, будто блеск мишуры переливается на позолоченной поверхности тусклым светом драгоценных камней. И это искусство не варварское, отличающееся силой и витальностью, какой-то неукротимой грубостью, а дикое или, если угодно, по-детски непосредственное. В чем-то оно тривиально и изнеженно, его отличает неотделанность, шероховатость: впечатление такое, словно художники не уверены в себе, словно привычный узор они всякий раз придумывают наново, впервые в жизни. Возникает ощущение, будто эти люди впервые соприкасаются с прекрасным и блестящие предметы кружат им голову, как бушмену или младенцу.

Сейчас во дворце не найдешь роскошных портьер и позолоченной

мебели, которые его некогда украшали. Вы переходите из комнаты в комнату, и у вас возникает чувство, что ходите вы по дому, который давно уже выставлен для сдачи внаем. Он обезлюдел. С наступлением вечера эти покрытые позолотой, украшенные мозаикой пустые покои становятся мрачными и призрачными. Вы ступаете осторожно, словно боясь нарушить таинственную, благостную тишину. В изумлении вы останавливаетесь и оглядываете пустое пространство, и вам не верится, что еще совсем недавно этот вымерший дворец был средоточием невиданных интриг и бурных страстей. Еще живы те, кто помнит здешнюю романтику. Не прошло и полувека с тех пор, как в этом дворце происходили события, не уступавшие по драматизму всему тому, что имело место в далеком прошлом — в Италии во времена Возрождения или в Византии. Меня отвели к одной старой даме, которая в свое время вершила историю. Полная, невысокая женщина, скромно одетая во все черно-белое, смотрела на меня через очки в золотой оправе спокойным, слегка насмешливым взглядом. Ее отец, грек, находился на службе у короля Миндона, она же была фрейлиной его дочери королевы Супаялат. Затем она вышла замуж за англичанина, капитана на одном из королевских речных пароходов, но англичанин вскоре умер, и, выждав положенное время, она обручилась с французом. (Говорила она тихим голосом, почти без акцента, скромно сложив на коленях руки и не обращая ни малейшего внимания на вившихся вокруг мух.) Француз отправился на родину и в Марселе женился на своей соотечественнице. Сейчас-то, после стольких лет, она его почти забыла; помнит, разумеется, его имя и еще помнит, что у него были очень красивые усы; только и всего. Но тогда она любила своего француза безумно. (Ее смех напоминал зловещий хохот привидения, как будто никакой радости, смеясь, она не испытывает.) Любила настолько, что приняла решение за себя отомстить. В те годы она еще имела доступ во дворец, чем и воспользовалась. Завладела проектом договора, согласно которому король Тибо предоставлял французам право действовать в Верхней Бирме по своему усмотрению, вручила этот договор итальянскому консулу с тем, чтобы тот передал его Верховному комиссару Нижней Бирмы, чем и спровоцировала наступление англичан на Мандалей, свержение и ссылку короля Тибо. Не Александр ли Дюма говорил, что в театре нет ничего более драматического, чем происходящее за кулисами? Вот таким закулисным и был ее спокойный, слегка насмешливый взгляд за стеклами очков в золотой оправе, и кто бы мог сказать, какие причудливые мысли и невероятные страсти по сей день скрываются за этим взглядом? Она заговорила о королеве Супаялат; по ее словам, это была очень славная женщина, и молва

была к ней несправедлива; все эти истории о массовых убийствах, совершенных по ее приказу, — полная чушь!

— Я точно знаю, что убила она никак не больше двух-трех человек. — Старая дама пожала своими полными плечиками. — Два или три человека! Есть о чем говорить? Жизнь ничего не стоит.

Я пил чай маленькими глотками; кто-то включил патефон.

VIII

Хотя страстным любителем достопримечательностей меня не назовешь, я отправился в Амарапутру, некогда столицу Бирмы, теперь же беспорядочно раскинувшуюся деревню, где вдоль улиц растут величественные тамаринды, в тени которых усердно трудятся местные жители, ткущие шелк. Тамаринд — дерево благородное. Его неровный и сучковатый ствол бледно-серого цвета, как тиковые бревна, что сплавляются вниз по реке, а корни подобны огромным, судорожно извивающимся по земле змеям; листва же похожа на кружево и такая густая, что, несмотря на изрезанность смахивающих на папоротник листьев, солнечные лучи не пропускает. Тамаринд напоминает старуху-фермершу: ей много лет, лицо у нее испещрено морщинами, но она здорова, крепка и носит — не полетам — муслиновое платье. Зеленые голуби устраиваются на ночлег в его ветвях. Мужчины и женщины сидят перед своими домишками, прядут или наматывают шелк на челнок; в глазах у них читаются дружелюбие и теплота. Под ногами играют дети, посреди дороги сидят бродячие собаки. Как видно, жизнь эти люди ведут трудовую, счастливую и мирную, и поневоле приходит на ум, что они владеют, по крайней мере, одной из тайн человеческого существования.

Из Амарапутры я отправился посмотреть на большой колокол в Менгоне, в буддийском монастыре. Когда я вошел, меня окружили монашки. По покрою и размеру их одеяния ничем не отличаются от одеяний монахов — вот только те носят халаты оранжевые, а монашки — грязно-мышинного цвета. Это маленькие беззубые старушки со сморщенными личиками и короткостриженными седыми волосами. Прося милостыню, они тянут к вам свои тощие ручки и что-то бормочут, обнажая голые, бледные десны. При этом их темные глаза горят от жадности, в их улыбках таится злоба. Они очень стары и в них уже нет ничего человеческого. На мир они взирают с веселым цинизмом. Иллюзии, которые они когда-то питали, давно отброшены, и к своему существованию

они не испытывают ничего, кроме злобного и озорного презрения. Они нетерпимы к человеческой глупости и не прощают людских слабостей. Полное отсутствие привязанности этих старух к человеческим существам внушает страх. С любовью у них покончено, для них больше не существует боль разлуки, смерть не вызывает у них священного ужаса, в жизни у них теперь не осталось ничего, кроме смеха. Они раскачали большой колокол, чтобы я услышал, как он гудит, — бум, бум, бум. Протяжный, глухой, низкий звук, который прокатился по реке далеким эхом; этот торжественный звук вызывает душу из ее укромной обители и напоминает ей, что, хоть всё творимое на земле не более чем иллюзия, в иллюзии заложена своя красота. И монашки, вторя колоколу, раздражаются грубым, визгливым смехом. «Хи-хи-хи», — потешаются они над ним и его призывом. «Болваны, — словно хотят они сказать своим хихиканьем. — Болваны и простофили. Единственная реальность — смех». <...>

Перевод А. Ливерганта

Из книги путевых очерков об Испании «Дон Фернандо» (1935)

I

В то время я жил в Севилье, на улице Гусман-эль-Буэно, и, всякий раз выходя из дому или возвращаясь, проходил мимо таверны дона Фернандо. Встав после утренней работы из-за стола, я шел пройтись по веселой и оживленной Сьерпес, а на обратном пути заглядывал в таверну пропустить перед вторым завтраком стаканчик «мансанильи». Случалось мне заходить к дону Фернандо и под вечер, когда спадала жара, и, покатавшись верхом за городом, я вел свою лошадь по скользкой булыжной мостовой. Я останавливался перед входом в таверну, подзывал мальчика поддержать лошадь и входил. Таверна представляла собой длинную комнату с низким потолком и дверями по обеим сторонам — дом был угловым. Вдоль комнаты тянулась барная стойка, а за ней громоздились бочки, откуда дон Фернандо наливал посетителям вино. С потолка свешивались связки лука, колбасы и окорока из Гранады, про которые дон Фернандо говорил, что в Испании нет их лучше. Посещала его таверну в основном, насколько я понимаю, жившая в соседних домах прислуга. Этот район Санта-Крус считался тогда в Севилье самым изысканным. Извилистые улочки с большими белыми домами; на каждом шагу церкви. Улицы в Санта-Крус

почему-то пустовали. Если выйдешь утром, вам встретится дама в черном; в сопровождении служанки она спешит к мессе. Иной раз мимо с осликом на поводе прошествует мелкий торговец, чей товар сложен в большие открытые корзины. Можете увидеть и нищего: он останавливается у каждого дома, у каждой *reja*, кованой решетки, ведущей в патио, и, повысив голос, просит милостыню одними и теми же, известными с незапамятных времен словами. Перед наступлением ночи дамы, вволю покатавшись по Пасео в запряженном парой ландо, возвращались домой и улицы оглашались звонким перестуком копыт. Потом все вновь стихало. Было это много лет назад, в самые последние годы девятнадцатого века.

Даже для испанца дон Фернандо был очень мал ростом; ростом мал, зато очень толст. Его обрюзгшее, круглое лицо блестело от пота и обросло двухдневной щетиной. Именно двухдневной — уж не знаю, как это ему удавалось. Грязен он был чудовищно. У него были большие черные, блестящие глаза с невероятно длинными ресницами, и он окидывал вас взглядом одновременно пристальным, добродушным и веселым. Он был записным остряком и то и дело отпускал суховатые, сдержанные шуточки. По-испански говорил он с мягким андалузским выговором: мавританское влияние вытравило из него всю резкость кастильского, и без труда понимать дона Фернандо я начал, лишь когда выучил язык как следует. Он был *aficionado*^[106] корриды и страшно гордился, что сам великий Геррита захаживает порой распить с ним бутылку вина. Вдовец, он жил один с низкорослым бледным мальчишкой, которого взял из приюта и который готовил, мыл посуду и мел пол. Мальчишка этот был косым — столь сильное косоглазие я видел впервые.

Дон Фернандо не только продавал самую лучшую «мансанилью» в городе; он вдобавок торговал антикварными вещицами. Потому-то, собственно, я так часто у него бывал. Чего у него только не было! Эти вещицы, подозреваю, попадали к нему через проверенного слугу, работавшего в одном из домов по соседству. Его хозяева, оказавшись в стесненных обстоятельствах, считали ниже своего достоинства нести антиквариат в ломбард. Вещицы это были по большей части небольшими, их ничего не стоило унести с собой: серебряные безделушки, кружево, старые веера с перламутровыми пластинами, распятия, стразы и старомодные кольца причудливой формы. Мебель дон Фернандо приобретал редко, когда же к нему попадали *bargueño*^[107] или пара стульев с прямыми спинками и обтянутыми кожей и усеянными гвоздями сиденьями, он держал их наверху в спальне, которую делил со своим

приютским мальчишкой. Денег у меня тогда было очень мало, и дон Фернандо понимал, что купить я могу только мелочи, при этом он любил демонстрировать мне свои приобретения и пару раз водил меня наверх. От дневной жары окна в спальне он держал закрытыми, а в комнате нечем было дышать. Дурно пахло. В противоположных углах, одна напротив другой, находились две маленькие железные кровати; они всегда, в какое время дня ни зайдешь, стояли неубранными, и у простыней вид был такой, будто не стирали их месяцами. Пол был засыпан окурками. Глаза дон Фернандо загорались ярче обычного, когда он проводил своей грубой, шершавой рукой с короткими, толстыми пальцами по деревянной спинке стула, до блеска отполированного за три столетия. Он плевал на пыльную позолоченную поверхность дарохранильницы и тер ее пальцем, чтобы я не сомневался в высокой пробе золота. Иной раз, когда я стоял у стойки бара, он выуживал из-под нее пару серег, старинных тяжелых испанских серег на трех подвесках, и некоторое время держал их на ладони, чтобы можно было в полной мере насладиться красотой формы и изяществом оправы. С этими вещами он обращался на удивление умело и нежно, и такое обращение красноречивее любых слов свидетельствовало о том, сколь глубоко чувство, которое он к ним испытывает. Когда он с особым, на испанский манер, щелчком раскрывал старый веер и обмахивался им, как обмахивалась на корриде какая-нибудь знатная дама в мантилье во времена Карла III, — вас не покидало ощущение, что этого невежественного человека отличает смутное, но пронзительное чувство далекого прошлого.

Дон Фернандо покупал дешево, но и продавал дешево, а потому после многодневной, а то и многонедельной торговли, которая, по-моему, в равной степени забавляла нас обоих, мне мало-помалу удавалось приобрести у него кое-какие вещи. Без них я мог бы легко обойтись, но я ими дорожил, ибо они тешили мое воображение. Так, я купил у него веера, с которыми кокетничали хорошенькие женщины, умершие лет сто пятьдесят назад. Серьги, которые они носили в ушах. Фантастические кольца, которые они надевали на пальцы. И распятия, которые висели у них в комнатах. Со временем весь этот хлам куда-то подевался: что-то у меня украли, что-то я потерял или раздал. Из всего, что было куплено мною у дон Фернандо, сохранилась только одна книга, да и та досталась мне против моей воли. Однажды, не успев я переступить порог таверны, как дон Фернандо обратился ко мне со следующими словами:

— У меня для вас кое-что есть. Эту вещь я купил специально вам.

— Какую вещь?

— Книгу.

И, выдвинув ящик под стойкой бара, он извлек оттуда небольшой толстый том в пергаментном переплете. Лицо у меня вытянулось.

— Мне эта книга не нужна.

— Да вы взгляните. Книга старая. Ей больше трехсот лет.

Раскрыв книгу, он показал мне титульную страницу. Книга и в самом деле была напечатана в Мадриде в 1586 году; значилось на титуле и имя издателя: «Por la viuda de Alonso Gomez Impressor de la C.R.M.»^[108].

— Она ничего не стоит, — продолжал он. — Я отдам ее вам за пятьдесят песет.

— Но она мне и бесплатно не нужна.

— Это знаменитая книга. Когда мне ее принесли, я сказал себе: «Дону Гильермо она понравится. Человек он образованный».

— Только этой книги мне не хватало! (Немногие знают, как выразить эту мысль по-испански.) Продайте ее кому-нибудь другому. Книги я не коллекционирую. Я покупаю их, чтобы читать.

— Так почему бы вам не прочесть и эту тоже? Она очень интересна.

— Мне — нет.

— Вам неинтересна книга трехсотлетней давности?! Не рассказывайте сказки. Смотрите, тут записи на полях. И на обороте — тоже. Сразу видно, что книга старая.

Действительно, поля были испещрены пометами какого-то читателя, который, судя по почерку, мог жить в семнадцатом веке. Вот только что он написал, разобрать мне не удалось. Я перелистал несколько страниц. Печать четкая, бумага тонкая, но крепкая, шрифт же настолько убогий, что читать книгу трудно. И понять, что написано, — тоже: написание слов устаревшее, много сокращений. Я покачал головой и вернул книгу дону Фернандо.

— Берите за сорок песет. Я сам заплатил за нее тридцать пять.

— Даже если подарите — не возьму.

Он со вздохом пожал плечами и убрал книгу под стойку бара.

Через несколько дней я ехал верхом мимо таверны, и дон Фернандо — он стоял на пороге и ковырял во рту зубочисткой — подозвал меня:

— Зайдите на минутку, мне надо вам кое-что сказать.

Я спешил и отдал мальчику поводья. Дон Фернандо протянул мне книгу:

— Отдаю за тридцать песет. Потеряю на этом пятерку, но мне хочется, чтобы она у вас была.

— Но мне эта ваша книга не нужна! — вскричал я.

— Двадцать пять песет.

— Нет.

— Читать ее необязательно. Пусть будет в вашей библиотеке.

— У меня нет библиотеки.

— Нельзя же без библиотеки. Вот с этой книги и начнете ее собирать.

Красивая книга.

— Нет, некрасивая.

Красотой она и в самом деле не отличалась. Даже знай я заранее, что никогда ее не прочту, я мог бы, пожалуй, ею соблазниться, будь она в кожаном переплете, с выбитым на нем золотым гербом и с широкими полями. Но томик был маленький, неказистый, слишком толстый для своего размера, пергамент на переплете пожелтел и сморщился. И я решил, что книгу эту не куплю ни под каким видом. А дон Фернандо, уж не знаю почему, возомнил себе, что я обязательно должен ее приобрести, и с тех пор не было случая, чтобы он, стоило мне зайти в таверну, не принимался меня уговаривать. Он и льстил мне, и упрашивал меня, и полагался на мою порядочность, и взывал к моему чувству справедливости. Он сбросил цену до двадцати песет, до десяти, однако я не поддавался. Потом, в один прекрасный день, он показал мне доставшуюся ему деревянную статуэтку святого Антония: семнадцатый век, превосходная резьба, яркие краски, — и я немедленно в нее влюбился. Мы торговались несколько недель, пока, наконец, не сошлись на цене чуть меньше той, которую назначил он, и чуть больше той, заплатить которую готов был я. Точную сумму я забыл, но разница в его и моей цене составляла двадцать песет. Насколько я помню, он запросил за статуэтку сто тридцать песет, а я предлагал за нее сто десять.

— Давайте сто тридцать и забирайте и статую, и книгу, — сказал он, — и вы не пожалеете.

— Пропади она пропадом, ваша книга!

Я расплатился за вино и направился к выходу. Дон Фернандо окликнул меня.

— Послушайте, — сказал он.

Я обернулся. Его толстые красные губы расплылись в ласковой улыбке, в одной руке он держал статуэтку, в другой — книгу.

— Отдаю статуэтку за сто двадцать песет, а книгу дарю.

Сто двадцать песет была именно та цена, которую я готов был заплатить за статуэтку с самого начала.

— По рукам, — сказал я, — но книгу можете оставить себе.

— Это мой вам подарок.

— Мне не нужен подарок.

— Но я хочу сделать вам подарок. Мне будет приятно. Не можете же вы отказаться принять подарок. Ну же, берите.

Я вздохнул. Он меня переиграл. Мне стало немного стыдно:

— Я дам вам за книгу двадцать песет.

— Это и тогда будет подарком, — сказал он. — В Мадриде у вас ее купят за две сотни.

И с этими словами он завернул книгу в кусок грязной газеты; я расплатился и с книгой в руке и со статуэткой под мышкой отправился домой.

II

Со временем у меня собралась какая-никакая библиотека, и среди прочих книг я поставил на полку маленький толстый томик, который навязал мне дон Фернандо. Из-за своего размера и пергаментного переплета том этот выделялся среди мягких обложек моих иностранных книг и разноцветных обложек книг английских и часто бросался в глаза. Меня это несколько не раздражало, ибо напоминало о таверне дона Фернандо, о летних улицах Севильи с навесами от раскаленного солнца, а также о прохладном, суховатом вкусе «мансанильи». И, тем не менее, читать испанский том в мои планы не входило. И вот однажды — за окном шел дождь, вечерело — я рылся в своих книгах и, обратив внимание на переплетенный в пергамент томик, снял его с полки. Лениво полистал. Решил, что прочту один абзац из середины — может, станет понятно, что эта книга собой представляет. Но абзац растянулся на шесть страниц. Читать книгу оказалось легче, чем я предполагал. Сбивали, правда, с толку длинные *s*, непонятно почему отсутствующие *n*, вместо которых над предшествующей буквой стоял завиток; вместо *v* в середине слова значилось *u*, а в начале иногда — *b*. По всей видимости, такое написание передавало особенности произношения шестнадцатого века. Как произносились испанские слова в то время, мне было неизвестно, а потому непросто догадаться, что слово *boluer* читается *velvet*^[109]. В книге было много сокращений, к тому же часто попадались слова с устаревшим правописанием. И все же я обнаружил, что, если читать внимательно, особых сложностей не возникнет, тем более что слог автора был прост и ясен. Я вернулся к началу и принялся за чтение.

Странная это была история. Ее героем был младший сын из

тринадцати детей дона Белтрана Яньеса де Оньяса и его жены доньи Марии Саэс де Балда. Дон Белтран принадлежал к древнему и славному роду, да и жена не уступала ему ни в происхождении, ни в добродетелях. Их родственниками были члены самых знатных семейств в провинции Гипускоа, одной из самых живописных в Испании: холмистая местность, зеленые, плодородные долины, бурные, кристально чистые реки. Зимы в Гипускоа не холодные, а летом воздух прозрачен и свеж. Дом дона Белтрана, сохранившийся и по сей день, стоит в длинной, узкой долине, окруженной горами спереди и сзади. Несмотря на ограниченное пространство, вид из дома открывается очень красивый. Горные вершины голы и каменисты, но на склонах зеленеют деревья, а на холмах пониже раскинулись пастбища, растут маис и пшеница. Места эти, иначе говоря, очень живописны и радуют глаз. В долине протекает речушка, из-за нее-то, надо полагать, и выстроен был в этих местах дом. Времена, однако, тогда были беспокойные, и хотя крепости на месте дома уже не было — ее разрушили по приказу Генриха IV и братств Гипускоа, — в доме, в случае необходимости, можно было держать оборону. Нижняя часть этого квадратного здания (все, что осталось от бастиона четырнадцатого века) строилась из серого необработанного камня, верхняя же, возведенная столетием позже, вид имела куда менее воинственный. Построена она была не из камня, а из кирпича и украшена по углам четырьмя миниатюрными башенками на манер сторожевых. Назвать дом очень большим язык не поворачивается: в Англии он бы смотрелся сельским особняком довольно скромных размеров, и дону Белтрану и его жене с детьми и с многочисленной прислугой, которая им по положению причиталась, было в нем, скорее всего, тесновато. Человеком дон Белтран был влиятельным, и его наследник, дон Мартин, взял в жены донью Магдалену д'Араос, фрейлину королевы Изабеллы Католической, которая подарила ей на свадьбу картину на сюжет Благовещения. Через несколько дней после переезда к мужу донья Магдалена, к вящему своему удивлению, обнаружила эту картину плавающей в испарине. Потрясло это чудо и остальных членов семьи, и дон Педро Лопес, священник, брат дона Мартина, предложил перенести картину в деревенскую церковь, чтобы ей поклонялись прихожане. Дон Мартин, однако, расставаться с таким сокровищем не пожелал и, в свою очередь, предложил построить в доме часовню, где бы эта картина хранилась по праву.

Младшего сына дона Белтрана, героя книги, которую я читал, при рождении окрестили Иньиго. Еще подростком отец отправил его служить при дворе, где он находился в подчинении у королевского казначея дона

Хуана Веласкеса де Куэльяра. Служба в те времена слыла делом почетным, знатные люди не считали ниже своего достоинства посылать сыновей в услужение сановным придворным. Они подавали за столом, стелили постели, разжигали камины, подметали полы и были у своих хозяев на посылках. Дон Хуан Веласкес занимал пост губернатора Аревало в провинции Авила; Аревало был одним из тех городов, которые достались матери Изабеллы, вдове Хуана II Кастильского. На гербе города был изображен рыцарь в доспехах, в украшенном плюмажем шлеме; сидел рыцарь верхом на коне, опустив копье, на фоне городской стены с бойницами. В доме дона Хуана юный Иньиго выучился хорошим манерам, узнал жизнь и приобрел навыки, потребные истинному дворянину. Достигнув совершеннолетия и следуя примеру своих братьев, людей, достойных во всех отношениях, а также движимый высокими идеалами, он решил овладеть военным искусством и превзойти своих сверстников в отваге и доблести. Впрочем, на этом периоде его жизни биограф не задерживается. О том, что дон Иньиго всегда готов был отстаивать свою честь, когда она оказывалась под угрозой, что он любил охотиться и был азартным игроком, нам известно лишь по его собственным, брошенным вскользь замечаниям. Известно нам также, что в молодости он был хорош собой, не очень высок, но сложения крепкого; нога у него была маленькая, чем он немало гордился и в старости признавался, что молодым человеком любил носить сапоги, которые были ему тесны. У него были красивые светло-каштановые волосы и огромные, очень живые и пронизательные карие глаза. Обращали также на себя внимание его белая кожа и крючковатый нос, который был самой заметной частью его лица и при этом несколько его не уродовал. Дорогие наряды, принятые при дворе, носил он с неизменным изяществом. Скромные одежды, которые надевали, за исключением особых okazji, при дворе бережливого Фердинанда, с приходом Филиппа Красивого и его фламандских наследников, сменились на одеяния, отличавшиеся немислимой роскошью. Дон Иньиго был вдобавок весьма любвеобилен, и считается, что он был любовником Жермен де Фуа, молодой жены Фердинанда, на которой король, вопреки данному ему имени Благоразумный, женился после смерти Изабеллы. Французский хронист называет ее «bonne et fort belle princesse»^[110], однако другой ее современник утверждает, что была она совсем не хороша собой и вдобавок хромоножка. Очень может быть, хронист был к молодой королеве пристрастен. «Эта женщина, — с раздражением пишет он, — приучила кастильцев вести невоздержанный образ жизни, много и жадно есть, хотя сами кастильцы и даже их короли всегда были в этом отношении весьма

умеренны». «Всякий, кто тратил деньги на пиры, устраиваемые в ее честь, становился ее другом». Когда Жермен де Фуа вышла замуж, ей было всего восемнадцать (а Фердинанду пятьдесят четыре), и нет ничего удивительного в том, что в развлечениях она знала толк. Дон Иньиго страстно в нее влюбился. Он потакал ей во всем и сочинял в ее честь мадригалы. Это был истинный дворянин.

Легкомысленную жизнь бретера и волокиты дон Иньиго вел до двадцати семи лет, когда, после смерти короля Фердинанда и повторной женитьбы его вдовы, он перешел на службу к дону Антонио Манрике, герцогу Нахерскому, покровителю его семьи, и принял участие в нескольких военных походах герцога, проявив недюжинные тщеславие и энергию. Его отличал природный дар ладить с людьми, и герцог Нахерский использовал его в делах, требовавших особой осмотрительности. Однажды герцог отправил его в Гипускоа примирить враждующие клики, и дону Иньиго удалось вскоре уладить дело к взаимному удовольствию враждующих сторон. Начало царствования Карла V ознаменовалось рядом ошибок, приведших к неповиновению и бунтам. Воспользовавшись этим, король Франции объявил своему сопернику войну, и французская армия вступила в Наварру. Стоявший во главе испанцев герцог Нахерский, оставив гарнизон в Памплоне, вывел свои войска из Наварры. Французы осадили город, и попавшие в окружение офицеры, среди которых был и дон Иньиго, решили, не видя иного выхода, капитулировать, однако дон Иньиго этому решению воспротивился и, благодаря природному своему красноречию, сумел разжечь в товарищах угасший боевой дух, убедить их сражаться с врагом до последней капли крови. Увы, во время штурма города был он ранен в обе ноги: в правую попало пушечное ядро, а в левую — осколок отлетевшего от стены камня. Он рухнул на землю, а осажденные, которым передалась было его отвага, пали духом и сдались на милость победителям.

Французы вошли в город. Обнаружив дону Иньиго и сообразив, кто он такой, они отнесли к нему с состраданием и перевязали его раны. Для того же чтобы обеспечить раненому постоянный уход, движимый благородными чувствами французский военачальник отдал приказ, чтобы дону Иньиго, как только это будет возможно, перенесли на носилках в его собственный дом. Но не успел дон Иньиго вернуться домой, как его раны, особенно на правой ноге, нагноились, и хирурги сочли, что единственный способ спасти ногу это вновь сломать кость. Что и было сделано; во время операции раненый испытывал чудовищную боль, но ни разу не изменился в лице, ни разу не застонал и не произнес ни единого слова, которое бы

свидетельствовало о том, что отвага и долготерпение ему изменили. И все же, несмотря на все усилия врачей, лучше больному не стало, и надежд на выздоровление с каждым днем оставалось все меньше. Дону Иньиго сообщили о грозившей ему опасности, после чего он исповедался и был причащен и соборован. Однако ночью явился ему Святой Петр, которому дон Иньиго всегда поклонялся, и на следующий же день кости на поврежденных ногах начали сростаться и больной почувствовал, что идет на поправку. Из его правой ноги извлекли двадцать осколков кости, отчего она сделалась короче левой и словно бы вывернутой наизнанку, вследствие чего он был не в состоянии ни ходить, ни стоять. На левой ноге из-под колена самым неприглядным образом торчала сломанная кость, и это так огорчило дон Иньиго, что он спросил у хирургов, есть ли возможность этот изъян устранить. Хирурги ответили, что нарост отрезать можно, но боль при этом раненый испытает такую, какой не испытывал никогда в жизни. Поскольку дон Иньиго намеревался сделать военную карьеру, был тщеславен, к тому же хотел носить изящные сапоги, которые тогда были в моде, он, не обращая внимания на колебания врачей, настоял на том, чтобы операция состоялась. При этом он не дал привязать себя к операционному столу, сочтя это недостойным своего благородного происхождения, и перенес мучения, не шевельнувшись и не издав ни единого звука. Деформация была устранена, а затем, с помощью колес и прочих приспособлений, причинивших дону Иньиго невыносимую боль, ногу постепенно растянули и выпрямили. И, тем не менее, правая нога навсегда осталась у него короче левой, и дон Иньиго хромал потом всю оставшуюся жизнь.

Дабы скрасить долгие часы выздоровления, он велел раздобыть ему рыцарские романы, которые очень любил, однако дома их почему-то не оказалось. Пришлось довольствоваться теми книгами, которые в домашней библиотеке имелись. А именно — жизнеописанием Христа и историями святых: «Flos Sanctorum»^[111]. И дон Иньиго начал эти книги читать — сначала без особого интереса, но спустя некоторое время они запали ему в душу, и у него возникла потребность самому совершить те великие деяния, про которые читал. Однако забыть прошлое ему удалось далеко не сразу, ему вспоминались его воинские подвиги, беззаботная жизнь при дворе, к тому же ему не давали покоя мысли о любви. Бог и дьявол сражались за его душу. Но вот что дон Иньиго заметил: когда он думал о божественном — сердце его преисполнялось ликования. И наоборот, когда мысли касались всего бренного, преходящего — он оставался собой недоволен. И решение было принято: он свою жизнь изменит. Горше всего было расставаться с

любовью, которую ему никак не удавалось вырвать из своего томившегося сердца. И вот, однажды ночью, когда он по обыкновению встал с постели на молитву, ему с младенцем на руках явилась Царица Небесная. И с этой минуты он освободился от не дававших ему покоя грешных мыслей и до конца своих дней жил жизнью праведника, сохраняя чистоту души и помыслов.

Его старший брат и другие домочадцы видели, что он на них не похож, ибо, хоть дон Иньиго никому о произошедшей в нем перемене не рассказывал, он стал совсем другим человеком. И то сказать, они не могли не догадаться, что творится с ним что-то очень странное, ибо, когда юный воин принял окончательное решение следовать по стопам Иисуса, весь дом вдруг сотрясся, словно от удара грома, и в толстой каменной стене образовалась трещина от пола до потолка. Не могла его родня не заметить и того, что дон Иньиго много читает (занятие для человека его происхождения непривычное), молится и избегает шуток; говорил он теперь сухо и взвешенно и в основном на темы духовные, а также много писал. Он завел тетрадь в красивом переплете, куда изящным своим почерком выписывал самые запоминающиеся суждения и деяния Иисуса, Марии и святых. Слова и деяния Иисуса выводил он золотыми буквами, слова и деяния Богоматери — синими, то же, что говорили и делали святые, — буквами различных цветов в зависимости от того, насколько он был тому или иному святому предан. Подобные занятия доставляли ему несказанное удовольствие, однако еще больше любил он созерцать небо и звезды. Созерцание светил учило его презирать все то преходящее, что находится под ними, и разжигало его любовь к Богу. Привычка эта сохранилась у дона Иньиго до конца дней, и его биограф рассказывает, как в старости, наблюдая за небесами с горы, он бывал так поглощен этим зрелищем, что не помнил себя. Когда же он приходил в чувство, слезы умиления лились у него из глаз, и он говорил: «Какой же жалкой и ничтожной кажется земля, когда я смотрю на небо; она — сплошная грязь и нечисть, и ничего больше». Он решил, что, как только поправится, направит свои стопы в Иерусалим, пока же постом, покаянием и жестокими телесными истязаниями будет умерщвлять свою плоть. Он избрал образ жизни, при котором, отринув мирскую суету, он станет бичевать себя с неумолимостью, которая найдет сочувствие у Спасителя.

Когда же дон Иньиго окреп настолько, что мог пуститься в путь, он решил, зная, что у родственников его затея одобрения не вызовет, отговориться тем, что хочет нанести визит своему покровителю герцогу Нахерскому, который за время его болезни несколько раз справлялся о его

здоровье. Однако дон Мартин, заподозрив, что у брата совсем другое на уме, отозвал дона Иньиго в сторону и сказал ему:

— Дорогой брат, ты удался всем. Ты умен, рассудителен, отважен. Ты в расцвете лет и сил, ты принадлежишь к знатному роду, ты хорош собой, ты пользуешься уважением у великих мира сего. Отечество признаёт твои боевые заслуги, ценит твою мудрость и практическую сметку, а потому связывает с тобой большие надежды. Как же ты можешь, поддавшись прихоти, обмануть наши ожидания и лишит нас результатов твоих побед и выгоды от твоих плодотворных трудов? У меня перед тобой только одно преимущество — я родился раньше тебя; во всем же остальном ты меня превосходишь. Умоляю тебя, дорогой брат мой, одумайся, не ступай на тот путь, что не только лишит нас надежд, которые мы на тебя возлагали, но и покроет наш род позором и бесчестьем.

Ответ дона Иньиго был краток. Он сказал, что не забудет о своей принадлежности к знатному роду, и пообещал, что не сделает ничего, что бы обесчестило его семью. В путь он отправился в сопровождении двух слуг, однако вскоре, щедро их одарив, отпустил восвояси. Первым делом он направился в Монсеррат. С той минуты, как он покинул отчий дом, не проходило и ночи, чтобы он безжалостно себя не бичевал. Он вознамерился совершать великие и многотрудные дела, для чего, следуя примеру святых, неумолимо умерщвлял свою плоть. При этом целью его было не столько покаяться в грехах, сколько угодить Господу. Однажды он догнал на дороге мавра, одного из тех, кого в те времена еще можно было в изобилии встретить в королевствах Валенсии и Арагона, и они некоторое время ехали вместе. Разговор зашел о непорочности Пречистой Девы. Мавр готов был согласиться, что Мадонна пребывала в этом благословенном состоянии до и при рождении Иисуса, однако наотрез отказывался признать, что сохранила Она непорочность и в дальнейшем. Дон Иньиго пытался разубедить упряма, но тот стоял на своем. Мавр поехал дальше, а дон Иньиго остановился и задумался: он никак не мог решить, обязывают ли вера и любовь к Христу последовать за мавром и вонзить ему в сердце кинжал, наказав его тем самым за неслыханное святотатство. Ведь он был солдатом, честь была для него превыше всего, и он не мог допустить, чтобы неверный посмел в его присутствии столь неуважительно отзываться о Царице Небесной. Он долго думал, как ему поступить, и решил, в конце концов, отдаться на волю Божью. Доеду до развилки, сказал он себе, брошу поводья, и если конь поскачет по той дороге, которую избрал мавр, — догоню его и убью. Если же конь поедет по другой дороге, сохраню мавру жизнь. Так дон Иньиго и поступил, и его конь, оставив в стороне широкую,

прямую дорогу, по которой поехал мавр, свернул в сторону. Так решил Господь. Достигнув предместья Монсеррата, дон Иньиго остановился в деревне, где запасся самым необходимым для своего дальнейшего путешествия. Купил рубаху до пят из грубого полотна, веревку вместо пояса, сандалии на веревочной подошве и сосуд для питьевой воды.

Монсеррат был бенедиктинским монастырем, известным происходившими в нем чудесами, а также огромным скоплением людей, приходивших со всей Испании просить милости у Святой Девы. По прибытии дон Иньиго обратился к духовнику и исповедался — продолжалась исповедь три дня. Исповедавшись, он отдал своего коня монастырю и положил меч и кинжал пред алтарем Богоматери, а с наступлением ночи отдал нищему всю свою одежду, даже нижнюю сорочку, сам же облачился в купленную в деревне грубую рубаху. А поскольку в рыцарских романах он вычитал, что у посвященных в рыцари принято с ночи до утра бдеть над своим оружием, дон Иньиго, новообращенный рыцарь Христов, провел бессонную ночь пред ликом Пресвятой Девы, горько оплакивая совершенные им грехи и вознамерившись в дальнейшей жизни любой ценой искупить их. В предрассветный час, дабы никто не знал, куда он держит путь, дон Иньиго покинул монастырь, свернул с большой дороги, ведущей в Барселону (откуда ему надлежало отплыть на корабле в Италию), и поспешил в горную деревню Манреса. Шел он в одной грубой рубахе и босиком, но, коль скоро рана еще до конца не зажила, одна нога была у него обута в сапог. Не прошел он, однако, и нескольких километров, как увидел у себя за спиной человека: тот шел за ним и что-то ему издали кричал. Поравнявшись с доном Иньиго, незнакомец спросил, действительно ли отдал он свою одежду нищему; его заподозрили в краже дорогой одежды и посадили в тюрьму. Дон Иньиго подтвердил, что он и вправду отдал нищему все, что на нем было, однако на вопрос, кто он и куда идет, отвечать не стал.

В Манресе, скрывая свое происхождение и прежнюю жизнь, дон Иньиго поселился в приюте для бедных, и если раньше, в миру, он следил за своей внешностью и гордился своими красивыми, длинными волосами, то теперь утратил к ним всякий интерес и отрезал их, зато отпустил бороду и перестал стричь ногти. Трижды в день он безжалостно бичевал себя и семь часов проводил на коленях. Каждый день ходил к мессе и вставал на вечернюю молитву. Каждый день просил милостыню. Не ел мяса и не пил вина; жил одним хлебом и водой. Спал на голой земле, большую часть ночи проводя в молитве. Методично лишал себя всего, что ублажало бы его тело,

и, хотя человек он был от природы здоровый и крепкий, в очень скором времени он довел себя умерщвлением плоти до полного изнеможения. Но вот однажды, находясь в нищенском приюте, среди убожества и грязи, он спросил себя: «Что ты делаешь в этом мерзком, смрадном месте? Почему ходишь в лохмотьях и совершенно за собой не следишь? Разве ты не понимаешь, что, общаясь с этим сбродом, ведя себя так, словно ты ничем от них не отличаешься, ты затмеваешь величие своего рода?» Он знал — то был голос дьявола, и еще ближе сошелся с приютскими бедняками, заставил себя относиться к ним по-дружески. В другой раз, когда он валился с ног от усталости, ему пришла в голову мысль, что терпеть столь тяжкую, беспросветную жизнь, которую стерпит не всякий дикарь, ему придется еще очень долго — быть может, лет семьдесят. «Но что такое семьдесят лет покаяния в сравнении с вечностью?» — возразил он сам себе. Спустя некоторое время снизошедший на него душевный покой, что служил ему утешением, покинул его, и он ощутил на сердце великий холод — точно кто-то сдавил его душу, и молитва перестала доставлять ему удовлетворение и облегчение. Он вдруг засомневался: сказал ли он, исповедуясь, всё, что обязан был сказать? Его так мучили угрызения совести, что ночи он проводил без сна, в тревоге и слезах. Однажды, когда он, уйдя из приюта, жил в доминиканском монастыре, его охватило такое отчаяние, что он насилу справился с искушением выброситься из окна своей кельи. Тогда-то он и раскрыл «Flos Sanctorum», ибо ему вспомнился святой, который, дабы услышать слово Божье, решил поститься до тех пор, пока Господь до него не снизойдет. Сходным образом и дон Иньиго вознамерился не есть и не пить, покуда не обретет потерянный душевный покой. В течение целой недели с его губ не сорвалось ни единого слова, и все эти дни продолжал он молиться, стоя по семь часов на коленях, бичевал себя трижды в день и исполнял прочие религиозные обряды, давно уже ставшие для него привычными. И силы, в конце концов, к нему вернулись, однако духовник приказал ему принимать пищу и отказался, пока он вновь не начнет есть, отпускать ему грехи. Дон Иньиго прервал свой пост, и сомнения, его обуревавшие, перестали его преследовать; он предал забвению память о прошлых грехах, и впредь они больше душу ему не омрачали.

В дальнейшем снизошли на кающегося грешника и прочие благодеяния. Однажды, когда он молился на ступенях церкви Святого Доминика, дух его вознесся, и ему явлена была Святая Троица, которую увидел он будто бы собственными глазами. От увиденного душа его преисполнилась такой благостью, что он долгое время был не в состоянии

думать и говорить ни о чем другом. Сие таинство истолковал он столь многочисленными доводами, привел столько сравнений и примеров, что все слушавшие его не могли скрыть своего восхищения и изумления. Часто, когда он молился, перед его взором предстал священный лик Иисуса Христа или благословенной Девы Марии. Как-то раз, прогуливаясь у реки в окрестностях Манресы и погрузившись по обыкновению в свои благостные мысли, он сел на берегу и устремил взгляд на воду. И вдруг глаза его словно бы раскрылись, он узрел (не буквально, а в высшем, вневещественном смысле) какой-то новый, непривычный свет и проникся не только тайной веры, но и тайной познания. В конце жизни он подтвердил, что никакое знание, обретенное им в дальнейшем благодаря учению или же посредством сверхъестественной благодати, не могло своей всеохватностью сравниться с тем знанием, какое он обрел тогда, на берегу реки, в миг просветления.

Как-то в субботу, погруженный, как всегда, в свои благочестивые размышления, он внезапно лишился чувств, стоявшие рядом сочли, что он мертв, и предали бы его тело земле, если бы один из молившихся не пощупал ему пульс и не сказал, что сердце у него еще бьется. В таком состоянии пролежал он до следующей субботы, после чего пробудился, словно все это время крепко и безмятежно спал.

Утомленный тяжкими телесными трудами и непрестанной душевной тревогой, он счел за лучшее немного отдохнуть, однако его посещали столь поразительные видения, на него снисходили столь благостные мысли, что он был не в состоянии отдавать сну даже самое непродолжительное время и все ночи проводил в религиозном экстазе. В результате он так тяжело занемог, что надежд на выздоровление не оставалось. Когда он готовился к смерти, сатана внушил ему, что дону Иньиго, человеку доброму и богобоязненному, смерти бояться нечего. Мысль эта привела его в ужас, и он боролся с ней изо всех сил, пытаясь воспоминанием о совершенных грехах вырвать из сердца дьявольскую надежду на Божью милость. Когда же болезнь отступила и он вновь обрел дар речи, то попросил тех, кто наблюдал за его предсмертными мучениями, обратиться к нему со словами: «О жалкий грешник, о несчастный, помни же зло, которое ты совершил, помни прегрешения, коими вызвал ты гнев Господень!» Стоило ему почувствовать себя чуть лучше, как он немедленно возобновил свои покаянные молитвы, вернулся к суровому образу жизни. Преисполнившись неустанной решимости себя превозмочь, он взвалил на свое измученное тело бремя большее, чем оно могло вынести, и тяжело заболел во второй и третий раз. Наконец, испытывая тяжкую боль в животе и мучаясь от холода

(стояла суровая зима), он убедил себя облачиться во что-то теплое. Так прожил он большую часть года, и вот настало, наконец, время, когда он счел себя готовым к паломничеству в Иерусалим. Среди его окружения были люди, которые предлагали, что поедут вместе с ним; были и такие, кто пытался отговорить его от столь долгого и тяжкого путешествия и убеждал, что без попутчика, знающего итальянский или латынь и могущего служить ему проводником и переводчиком, он не справится. Однако дон Иньиго хотел быть наедине с Богом, дабы его с Ним единение никем нарушено не было. Дон Иньиго Ему целиком доверился и не хотел, полагаясь на чью-то помощь, доверие это нарушить. И он направился в Барселону, а оттуда в далекий Иерусалим, взяв в попутчики одного лишь Господа.

Таково начало жизненного пути дона Иньиго де Оньяса, испанского дворянина, известного в истории под именем святого Игнатия Лойолы. Читатель, полагаю, давно уже догадался, о ком идет речь, ибо история, которую я рассказал, хорошо известна. Книга, которую дон Фернандо мне навязал, представляет собой жизнеописание Игнатия Лойолы, которое было написано вскоре после его смерти отцом Педро де Рибаденейра, членом ордена иезуитов.

Перевод А. Ливерганта

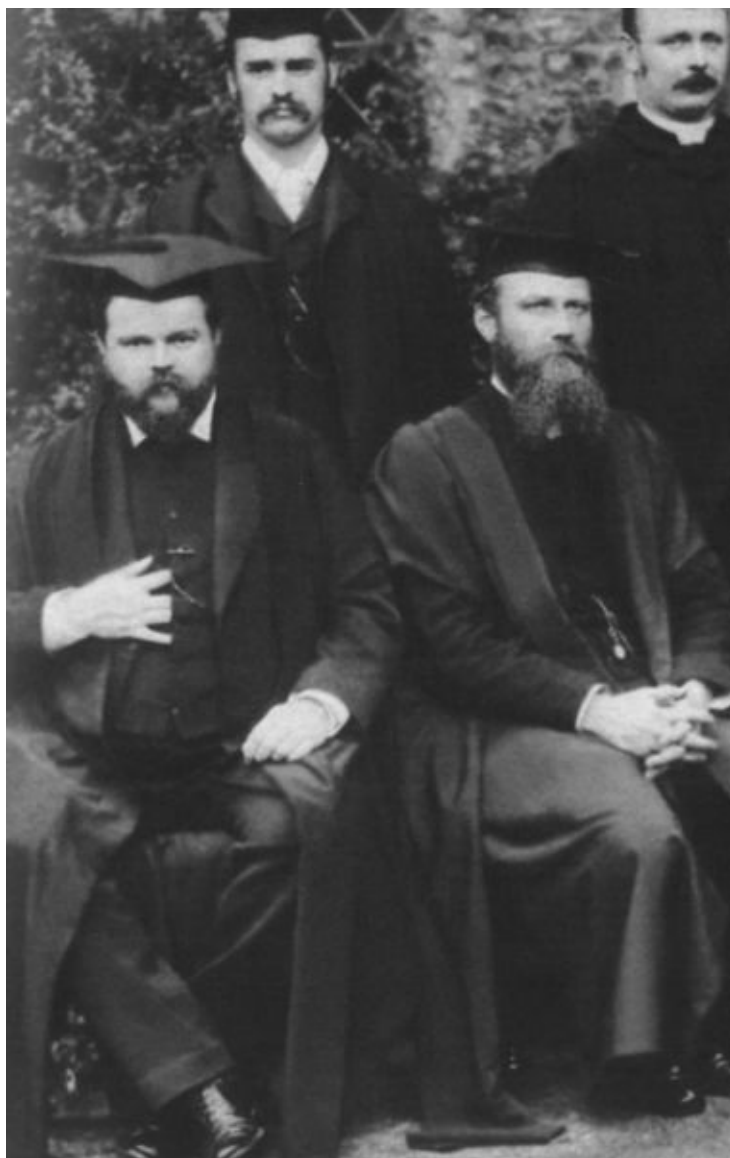
ИЛЛЮСТРАЦИИ



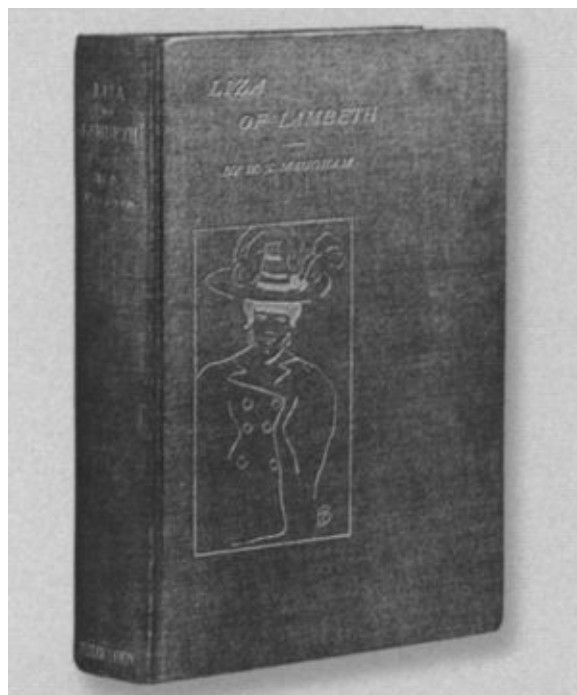
Эдит Мэри Снелл мать писателя



Детство в Париже



Преподаватели Королевской школы: преподобные Мейсон (кличка «Морячок»), Прайс («Ирландец»), Кемпбелл («Выскачка») и Ходжсон («Меланхолик»)



Первый роман «Лиза из Ламбета»



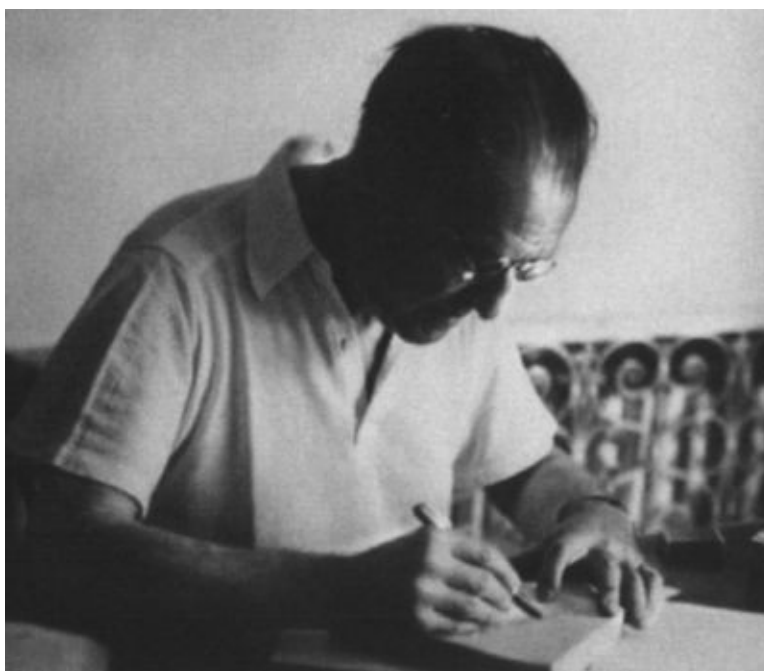
Уильям Сомерсет Моэм. 1911 г.



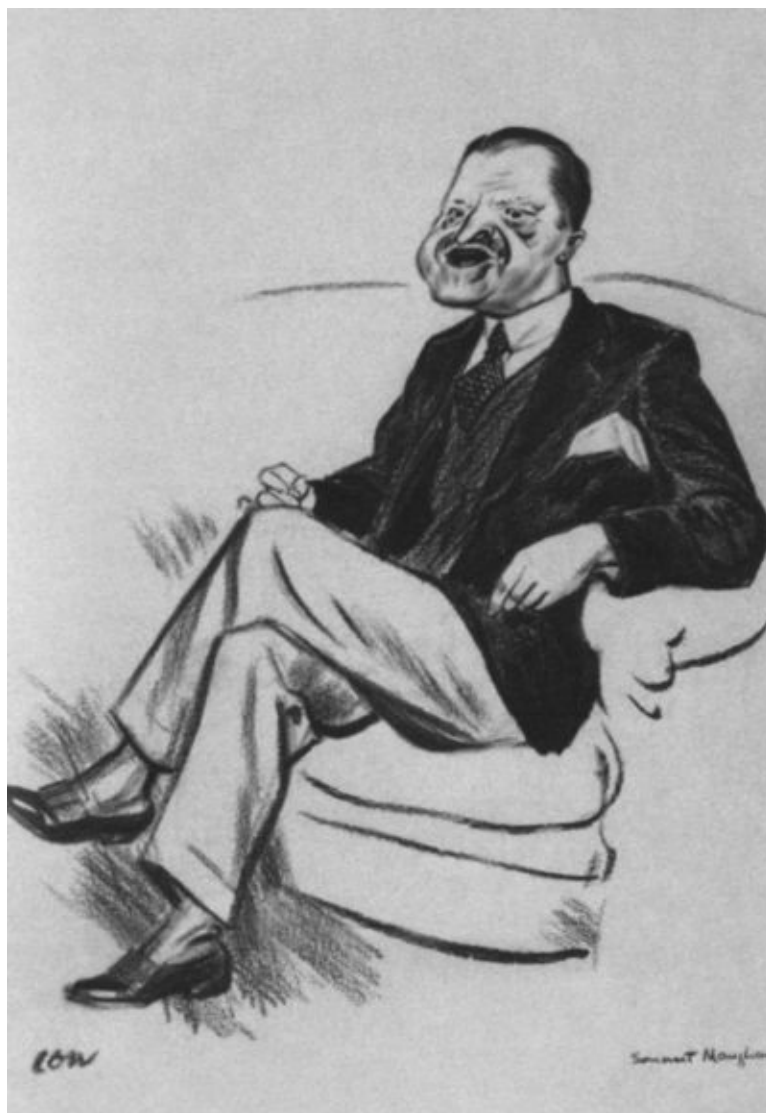
«Насмешник». Портрет работы Джералда Келли. 1911 г.



Знаменитость



За работой



Полемист



Сайри Моэм



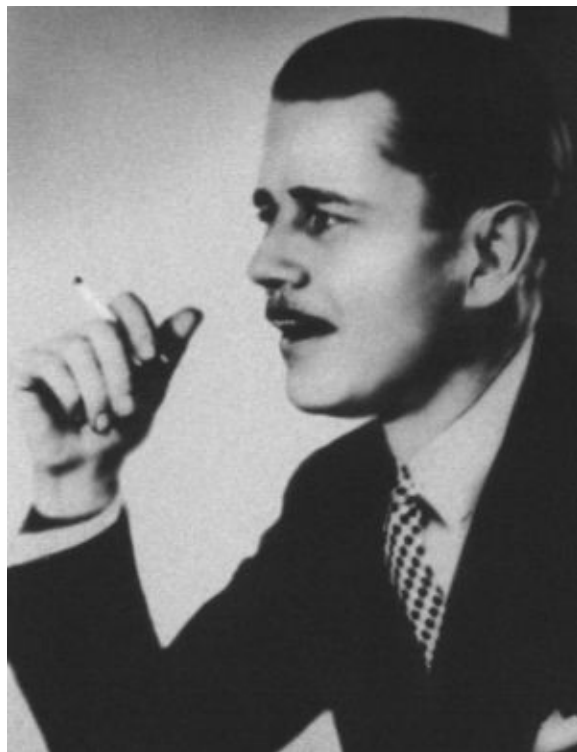
Сомерсет Моэм. 1920-е гг.



«Вилла Мореск»



Уильям Сомерсет Моэм. 1934 г.



Джералд Хэкстон



Завтрак на «Вилле Мореск»



С братом Фредериком



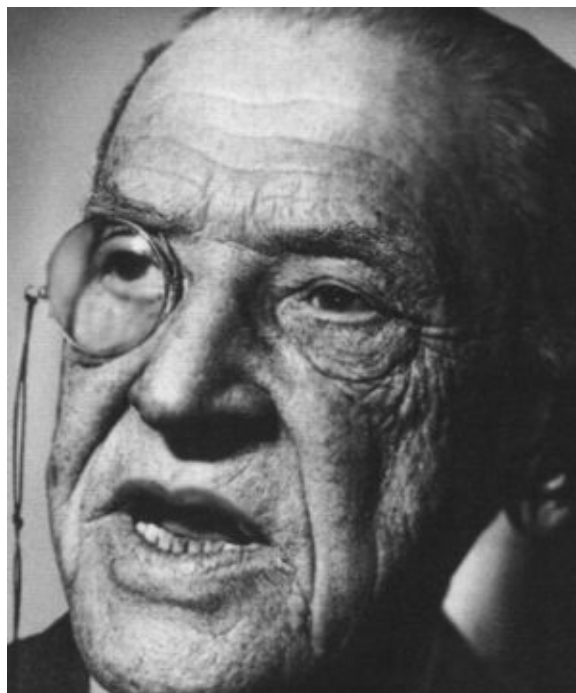
Дочь Лиза



С женой Сайри



Играет в бридж



Моэм в старости



С племянником Робином Моэмом



Портрет Моэма работы Грэма Сазерленда. 1949 г.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА УИЛЬЯМА СОМЕРСЕТА МОЭМА

1874, 25 января — у юрисконсульта британского посольства в Париже Роберта Ормонда Моэма и его жены, урожденной Эдит Мэри Снелл, рождается четвертый сын Уильям Сомерсет Моэм.

1881, 31 января — в возрасте сорока одного года умирает от туберкулеза мать Моэма Эдит Мэри Снелл.

1884, 24 июня — в возрасте шестидесяти одного года умирает от рака желудка отец Моэма Роберт Ормонд Моэм. Уильям (Уилли) переезжает в Англию, в графство Кент, в приморский Уитстейбл, к своему опекуну, младшему брату отца, местному викарию Генри Макдональду Моэму, и его жене, дочери нюрнбергского коммерсанта, Софии фон Шейдлин.

1885, май — Генри Макдональд Моэм отдает племянника в младшие классы закрытой школы Кингз-скул в Кентербери при Кентерберийском соборе.

1886 — Уилли получает приз лучшего в классе ученика года.

1887 — Уилли переводится в старшие классы Кингз-скул.

1888, зима — у Уилли приступ плеврита, он пропускает семестр и проходит лечение на юге Франции в Йере, на Лазурном Берегу.

Август — в школьной газете «Кентербериец» печатается сообщение о том, что четырнадцатилетний Уильям Сомерсет Моэм награждается поощрительной премией за успехи в богословии, истории и французском языке.

1889 — старший брат Моэма Чарлз Ормонд Моэм по окончании Кембриджа (1886) переезжает в Париж, где открывает юридическую контору «Сьюэлл и Моэм», и спустя пять лет женится на художнице Белди Гарди.

Июль — Уилли покидает Кингз-скул, не закончив обучения.

1890, весна — Моэм уезжает учиться в Германию, в Гейдельберг, живет в пансионе, посещает лекции Куно Фишера и спектакли по пьесам Генрика Ибсена и Германа Зудермана.

1892, весна — возвращение из Гейдельберга в Англию.

Лето — по рекомендации второго опекуна Уилли, партнера Роберта Ормонда Моэма мистера Диксона, Моэм в течение месяца служит клерком в аудиторской конторе в Чансери-Лейн, в Лондоне. Август — в Эмсе, в Германии, скоропостижно умирает тетка Моэма София фон Шейдлин.

27 сентября — восемнадцатилетний Моэм поступает в медицинскую школу при лондонской больнице Святого Фомы.

1894, весна — первая поездка Моэма в Италию. Генуя, Пиза, Флоренция, Венеция, Верона, Милан.

6 июня — Генри Макдональд Моэм женится вторично; его вторая жена — дочь генерала из Бата, художница-любительница Элен Мэри Мэттьюз.

1895, весна — пребывание Моэма на Капри.

1896, лето — лондонское издательство «Фишер Анвин» отклоняет два рассказа Моэма «Дурной пример» и «Дейзи». Моэм начинает писать свой первый роман, который первоначально называет «Ламбетская идиллия».

1897, 14 января — Моэм сдает роман «Ламбетская идиллия» в издательство «Фишер Анвин».

Сентябрь — «Фишер Анвин» выпускает роман Моэма «Лиза из Ламбета» («Ламбетская идиллия»).

18 сентября — умирает Генри Макдональд Моэм. Уилли, вместе с братом Гарри, приезжает в Уитстейбл на похороны.

Октябрь — Моэм сдает выпускные экзамены в медицинской школе при больнице Святого Фомы и получает диплом «лицензированного терапевта и хирурга».

Декабрь — 1898, апрель 1899 — Моэм в Испании. Андалузия: Рондо, Кордова, Гранада, Севилья, Херес, Кадис.

1898, май — в «Фишер Анвин» и одновременно в США выходит исторический роман Моэма «Сотворение святого», писавшийся на Капри летом 1897 года.

Октябрь — в лондонском журнале «Космополис», выходившем на нескольких языках, печатается привезенный из Испании рассказ Моэма «Предусмотрительный дон Себастьян».

1899, июнь — тиражом две тысячи экземпляров «Фишер Анвин» выпускает первый сборник рассказов Моэма «Ориентиры», куда вошли написанные в середине 90-х годов два рассказа Моэма «Дурной пример» и «Дейзи», а также четыре рассказа, привезенные из Испании: «Предусмотрительный дон Себастьян», «Вера», «Суд Аминтаса» и «De Amicitia».

1901 — в лондонском издательстве Хатчинсона выходит роман Моэма «Герой» (писался с октября 1900-го по январь 1901-го).

11 августа — в лондонской «Санди сан» печатается хвалебная рецензия Моэма на книгу путевых очерков Джорджа Гиссинга «У Ионического моря».

1902, 3 января — в берлинском экспериментальном театре «Schall und

Rauch» («Пустой звук») в постановке Макса Рейнхардта ставится написанная в 1896 году одноактная пьеса Моэма «Браки совершаются на небесах». Это первая поставленная пьеса Моэма.

Ноябрь — в издательстве Хатчинсона выходит роман Моэма «Миссис Крэддок».

1903, 23 и 24 февраля — в лондонском «Импириэл тиэтр» два премьерных спектакля пьесы Моэма «Человек чести». На премьере продается номер журнала «Форнайтли ревью» с текстом пьесы.

1904 — в лондонском издательстве Хайнеманна — в дальнейшем постоянного британского издателя произведений Моэма — выходит роман Моэма «Карусель».

27 июля — брат Моэма Гарри Моэм совершает самоубийство. Лето-осень — Моэм гостит у брата Чарлза под Парижем, в Медоне. Знакомство с художником Джералдом Келли.

1905, январь — в издательстве Хайнеманна тиражом 1250 экземпляров выходят переработанные в 1902 году и написанные в 1898 году путевые очерки Моэма об Испании «Земля Пресвятой Девы». Февраль-ноябрь — Моэм со своим сожителем и литературным секретарем Гарри Филипсом — в Париже: Келли знакомит Моэма с Арнолдом Беннеттом.

Июль-август — Моэм на Капри с Гарри Филипсом.

1906, январь-апрель — Швейцария, Греция, Египет; в Александрии и Каире Моэм изучает арабский язык.

Февраль — в издательстве Хайнеманна выходит роман Моэма «Фартук епископа».

1907, август — Моэм принят в лондонский театральный клуб «Дэвид Гаррикс».

Сентябрь — октябрь — Моэм на Сицилии.

26 октября — в лондонском театре «Корт» премьера пьесы Моэма «Леди Фредерик».

Декабрь — в Лондоне выходит роман Моэма «Исследователь».

1908 — в Лондоне выходит роман Моэма «Маг».

26 марта — в лондонском театре «Водевиль» премьера фарса Моэма «Джек Стро».

27 апреля — в лондонском театре «Комеди тиэтр» премьера комедии Моэма «Миссис Дот».

13 июня — премьера пьесы Моэма «Исследователь», переделанной автором из одноименного романа.

1909, начало года — Моэм лечится от туберкулеза в лондонской частной клинике Доры Айзек на Хайнд-стрит.

9 января — лондонская премьера пьесы Моэма «Пенелопа».

Март — Моэм вместе с Джеймсом Барри, Артуром Пинеро и др. основывает в Лондоне «Клуб драматургов» («Dramatists' Club»).

30 сентября — в лондонском театре «Комеди тиэтр» премьера пьесы Моэма «Смит».

1910 — премьера пьесы Моэма «Грейс» — авторской переработки романа «Карусель».

Февраль — в лондонском театре «Глобус» премьера пьесы Моэма «Десятый человек».

22 октября — Моэм на пароходе «Карония» отплывает в Нью-Йорк. Это его первая поездка в США. В Нью-Йорке посещает библиотеку «Пьерпонт Морган Лайбрери», где хранится рукопись «Эндимиона» Джона Китса. В Бостоне встречается с Генри Джеймсом, приехавшим на похороны старшего брата, философа Уильяма Джеймса.

Декабрь — возвращение из США в Англию.

1911 — Моэм отказывается от всех театральных контрактов и начинает переделывать отвергнутый Фишером Анвином роман «Творческий темперамент Стивена Кэри». Начало работы над романом «Время страстей человеческих».

24 февраля — премьера в Лондоне, в театре герцога Йоркского, пьесы Моэма «Хлеба и рыбы», переделанной автором из романа «Фартук епископа».

Декабрь — в доме общих знакомых Моэм встречается со своей будущей женой Гвендолен Мод Сайри Уэллком, урожденной Барнардо.

1912 — Моэм работает над комедией «Безукоризненный джентльмен» — переделкой пьесы Мольера «Мещанин во дворянстве».

1913 — в лондонском «Театре его величества» премьера комедии Моэма «Безукоризненный джентльмен» в постановке главного режиссера театра сэра Бирбома Три.

Октябрь — ноябрь — пребывание в Канаде. Моэм живет на ферме в Манитобе и работает над «Землей обетованной» — ремейком «Укрощения строптивой» Шекспира на канадском материале.

Ноябрь — Моэм в Нью-Йорке; присутствует на репетициях «Земли обетованной». Едет в Чикаго, где делает предложение своей любовнице актрисе Сью Артур Джонс, которая в это время играет в чикагской постановке пьесы приятеля Моэма, американского драматурга Эдварда Шелдона «Любовная история». Сью Джонс отказывается выходить за Моэма замуж.

26 ноября — нью-йоркская премьера «Земли обетованной».

1914, январь — возвращение в Лондон; участие в репетициях лондонской постановки «Земли обетованной»; в главной роли Айрин Вэнбру.

26 февраля — лондонская премьера «Земли обетованной». Моэм приглашает на спектакль Сайри Уэллкам. В тот же день Сайри Уэллкам приглашает Моэма на прием по случаю покупки дома в Риджентс-парке.

Апрель-май — Моэм живет с Сайри Уэллкам в Париже в ее квартире на Кэ Д'Орсе. Едет вместе с Сайри на ее машине из Парижа в Биарриц, а оттуда в Испанию; на обратном пути останавливается в Бордо.

Июль-август — Моэм с Джералдом Келли и Сайри Уэллкам на Капри. 4 августа узнают о начале Первой мировой войны.

Осень — Моэм выезжает во Францию в качестве переводчика, водителя и санитара в составе благотворительной организации при Красном Кресте «Скорая помощь на колесах». Вывозит раненых с линии фронта в Северной Франции (Ипр, Дуйен, Мондидье, Амьен) и во Фландрии.

6 октября — Моэм подписывает с Хайнеманном контракт на роман «Бремя страстей человеческих». В контракте — три названия романа: «Преходящее», «Гордиться жизнью» и «Бремя страстей человеческих».

Конец года — Моэм знакомится во Фландрии со своим будущим сожителем, другом, компаньоном и литературным секретарем Фредериком Джералдом Хэкстоном.

1915, 4 февраля — Моэм возвращается из Фландрии в Лондон в отпуск. Сайри беременна.

Июль — Моэм и Сайри Уэллкам в Риме.

12 августа — в нью-йоркском издательстве Джорджа Дорана выходит роман Моэма «Путь жизни» («Бремя страстей человеческих»). Тираж — пять тысяч экземпляров.

13 августа — в Лондоне, в издательстве Хайнеманна, выходит «Бремя страстей человеческих». Тираж — пять тысяч экземпляров. Первоначальное название романа — несколько видоизмененная цитата из пророка Исаяи «Вместо пепла украшение».

1 сентября — у Моэма и Сайри Уэллкам рождается в Риме дочь Элизабет (Лиза) Мэри Моэм.

Октябрь — 1916, февраль — Моэм живет в нейтральной Швейцарии в качестве резидента британской разведки.

13 ноября — Джералд Хэкстон задержан в Англии по обвинению в «публичной гомосексуальной связи».

7 декабря — Хэкстон предстает перед Центральным уголовным судом

в Олд-Бейли и после оправдательного приговора возвращается в США.

1916, февраль — лондонская премьера писавшейся в Швейцарии комедии Моэма «Кэролайн».

Август — Моэм едет в Нью-Йорк, куда, спустя несколько недель, приезжает Сайри Уэллкам с дочерью Лизой. Моэм обдумывает план поездки на Таити вместе с Джералдом Хэкстоном.

Начало ноября — Моэм и Хэкстон на пароходе «Грейт Нортерн» отплывают из Сан-Франциско в Гонолулу.

4 декабря — на пароходе «Сонома» отплывают из Гонолулу в Паго-Паго, столицу восточного Самоа.

1917, 13 января — прибывают на остров Сува, Фиджи.

28 января — Окленд, Веллингтон (Новая Зеландия).

с 11 февраля — живут на Таити, где Моэм собирает материал о жизни и творчестве Поля Гогена.

15 апреля — после полугодичного отсутствия Моэм и Хэкстон возвращаются в Сан-Франциско.

Май — по пути в тренировочный военный лагерь в Южной Африке призванный в американскую армию Джералд Хэкстон попадает в германский плен и до начала 1919 года находится в лагере для военнопленных на северо-востоке Германии, неподалеку от Гамбурга. 26 мая — свадьба Моэма и Сайри Уэллкам в США, в Джерси-Сити. Начало июня — Моэм принимает предложение сэра Уильяма Уайзмана, руководителя отдела британской разведки М-16, поехать под кодовым именем S (Somerville) из Америки в Петроград, чтобы воспрепятствовать выходу России из войны, снабжать США и Великобританию информацией о событиях в этой стране, а также выяснить расклад политических сил. Согласно официальной версии, Моэм — репортер лондонской «Дейли телеграф».

Июль — медовый месяц Моэма и Сайри на Лонг-Айленде под Нью-Йорком.

28 июля — Моэм отплывает из Сан-Франциско во Владивосток через Токио.

Начало сентября — по Транссибирской железной дороге Моэм добирается до Петрограда и останавливается в гостинице «Европейская». Конец октября — после прихода к власти большевиков Моэм отозван из Петрограда; возвращается в Лондон через Скандинавию и Шотландию. Передает премьер-министру Великобритании Дэвиду Ллойд Джорджу послание от Керенского.

Декабрь — 1918, май — Моэм лечится от очередной вспышки

туберкулеза в санатории в Нордрак-он-Ди, в северной Шотландии. Впоследствии этот опыт описан в рассказе «Санаторий».

1918, 26 января — в лондонском театре «Глобус» премьера пьесы Моэма «Любовь в коттедже», писавшейся в первой половине 1917 года. Май-август — Моэм с семьей проводит лето в графстве Суррей, в Чарлз-Хилл-Корт, близ Фарнема. Пользуясь собранными в своем путешествии на Таити в конце 1916-го — начале 1917 года материалами, начинает писать роман «Луна и грош» (первоначальное название — «Грош и луна»).

1918, октябрь — 1919, январь — Моэм вновь лечится от туберкулеза в Нордрак-он-Ди. В санатории пишет фарс «Дом и красота».

1919, февраль — по возвращении в Лондон через Копенгаген из германского плена Джералд Хэкстон депортирован из Великобритании как «нежелательный иностранец» с последующим запрещением въезда в страну, а также в страны Содружества.

27 марта — лондонская премьера пьесы Моэма «Жена кесаря»; в основе пьесы роман мадам де Лафайет «Принцесса Клевская». 247 спектаклей.

Апрель — в Лондоне, в издательстве Хайнеманна, выходит роман Моэма «Луна и грош»; тираж первого издания — шесть тысяч экземпляров. Моэм покупает четырехэтажный георгианский дом в Лондоне, в районе Мэрилбон, на Уиндэм-плейс.

Август — Моэм отплывает из Ливерпуля в Нью-Йорк, заезжает в Чикаго за Хэкстоном, с которым зимой — весной 1919/20 года они в течение полугола путешествуют по Китаю, проделав более 1500 миль по реке Янцзы; завершается путешествие в Гонконге, куда Моэм и Хэкстон приезжают из Шанхая.

1920, апрель — возвращение в Англию через Суэцкий канал.

Один из лучших рассказов Моэма «Мисс Томпсон» (впоследствии — «Дождь») печатается в американском журнале Генри Луиса Менкена и Джорджа Джина Нейтана «Смарт Сет» («Высшее общество»).

9 августа — лондонская премьера пьесы Моэма «Неизвестный»; написана зимой 1919 года в санатории Нордрак-он-Ди. В основе пьесы — роман Моэма «Герой».

30 августа — лондонская премьера пьесы Моэма «Дом и красота» с Глэдис Купер в главной роли; 235 спектаклей.

17 сентября — Моэм отплывает в США. Нью-Йорк — Чикаго — Лос-Анджелес (где он встречается с кинопродюсером Джесси Ласки и получает предложение писать киносценарии) — Сан-Франциско.

1921, февраль — Моэм, Хэкстон и американский друг Моэма брокер

Бертрам Апансон отплывают на пароходе «Росомаший штат» из Сан-Франциско в Гонолулу. Февраль — 1922, январь — Малайская федерация, Сингапур, Сара-ван (Северное Борнео), Австралия, Ява.

3 марта — лондонская премьера самой известной пьесы Моэма «Круг» в театре «Хеймаркет». Впоследствии пьеса ставилась еще трижды — в 1931, 1944 (в главной роли Джон Гилгуд) и 1976 (в главной роли Гуджи Уизерс) годах. Голливудские киноверсии пьесы выходят на экраны в 1925 и 1930 годах. В СССР «Круг» ставился дважды: Московским театром драмы (1946) и театром им. Маяковского (1988). 17 сентября — в США, в издательстве Джорджа Дорана, выходит первый сборник рассказов Моэма «Трепет листа: Маленькие истории об островах Южного моря»; тираж — три тысячи экземпляров. 6 октября — «Трепет листа» выходит в Англии, в издательстве Хайнеманна и быстро раскупается. Действие всех рассказов сборника — в Юго-Восточной Азии. Сборник переиздается в 1928, 1932, 1933, 1938 и 1940 годах в таком же составе, но под другими названиями: «Сэди Томпсон и другие рассказы об островах Южного моря» и «Дождь».

1922, январь — возвращение в Англию из путешествия по Малайскому архипелагу.

2 сентября — лондонская премьера пьесы Моэма «К востоку от Суэца».

5 сентября — 1923, 23 апреля — вместе с Хэкстоном на французском пароходе «Портос» Моэм плывет через Суэцкий канал на Цейлон, оттуда в Рангун и через джунгли добирается на мулах и пони до китайской границы, откуда на поезде едет в Бангкок, из Бангкока на машине — в Пномпень. Гонконг — Шанхай — Йокогама — Ванкувер — Нью-Йорк.

Октябрь — в Лондоне выходит книга путевых заметок Моэма «На китайской ширме» — 58 очерков. В основу очерков легло его путешествие по Китаю (зима 1919 года — весна 1920 года).

19 октября — Сайри Моэм в Лондоне на Парк-Лейн сбивает на машине велосипедистку — известную пианистку Глэдис Купер. Заключение суда: «Случайная смерть». Сайри оправдана.

7 ноября — премьера в Нью-Йорке на Бродвее пьесы Моэма «Мисс Томпсон» по его новелле «Дождь». Сценическая версия американского драматурга Джона Колтона. Спектакль с Джин Иглз в роли Сэди Томпсон имеет грандиозный успех и играется 648 раз. Существуют один мюзикл и три экранизации рассказа — 1928 года (немой фильм), 1932 года — с Джоан Крофорд в главной роли, 1953 года — с Ритой Хейуорт и Хосе Феррер.

1923, 22 мая — после завершения путешествия в Бирму и Таиланд

Моэм и Хэкстон на пароходе «Аквитания» отплывают из Нью-Йорка в Англию.

Осень — начало работы над романом «Узорный покров».

12 сентября — премьера в лондонском театре «Глобус» антиамериканской сатирической комедии Моэма «Вышестоящие лица», написанной в 1915 году и запрещенной во время войны военной цензурой. (Нью-йоркская премьера состоялась в 1917 году.) 548 спектаклей.

Середина сентября — 24 ноября — очередная поездка Моэма в США. Нью-Йорк — Вашингтон. Моэм присутствует на репетициях своего фарса «Верблюжий горб». Премьера — 13 ноября.

1924, январь — лондонская премьера «Верблюжьего горба».

2 апреля — вчерне закончен роман «Узорный покров».

17 сентября — на пароходе «Маджестик» Моэм отплывает с Хэкстоном в Нью-Йорк. Нью-Йорк — Новый Орлеан — Мехико. Встреча в Мехико с Дэвидом Гербертом Лоуренсом и его женой Фридой.

Ноябрь — в лондонском журнале «Нэш мэгэзин» начинает печататься с продолжением роман Моэма «Узорный покров».

Ноябрь — 1925, начало марта — продолжение путешествия Моэма и Хэкстона по Центральной Америке: Куба — Ямайка — Британский Гондурас — Гватемала. Возвращение в Нью-Йорк; в американском журнале «Херстс интернэшнл» печатается с продолжением «Узорный покров».

Декабрь — 1925, июль — «Узорный покров» печатается в «Нэш мэгэзин».

1925 — американский издатель Моэма Джордж Доран выпускает рекламный буклет «У. Сомерсет Моэм. Романист. Эссеист. Драматург», куда помещены пять хвалебных статей о Моэме поклонников его таланта.

14 марта — после путешествия по Центральной Америке Моэм на пароходе «Аквитания» возвращается из Нью-Йорка в Англию.

23 апреля — в лондонском издательстве «Хайнеманн» выходит роман Моэма «Узорный покров». В связи с возникшими судебными тяжбами (обвинения в клевете) некоторые страницы в книге в типографии изымаются и вклеиваются новые. Совокупный тираж пяти переизданий романа — 23 тысячи экземпляров.

12 мая — лондонская премьера «Дождя» — пьесы по одноименному рассказу Моэма. На премьере присутствует весь цвет английской литературы: Джон Голсуорси, Герберт Уэллс, Арнолд Беннетт. 150 спектаклей.

4 сентября — лондонская премьера пьесы Эдит Эллис «Луна и грош» по одноименному роману Моэма; в роли Чарлза Стрикленда — Генри

Эйтли. Фильм по роману будет снят в 1942 году голливудской кинокомпанией «Юнайтед Артистс».

6 октября — 1926, март — семимесячное путешествие Моэма и Хэкстона по Юго-Восточной Азии: Сингапур — Малайский архипелаг — Индокитай — Сайгон — Марсель. В Малайзии Моэм собирает материал для романа «Малый уголок».

1926, август — Моэм и Сайри на Зальцбургском фестивале.

2 сентября — в Лондоне, в издательстве Хайнеманна, выходит сборник рассказов Моэма «Казуарина»; действие всех семи рассказов — Малайский архипелаг и Борнео. В 1930 году сборник переиздан под общим названием «Записка».

17 сентября — «Казуарина» выходит в США, в издательстве Джорджа Дорана.

28 сентября — Моэм отплывает в Нью-Йорк на репетиции американской постановки своей пьесы «Верная жена».

1 ноября — премьера «Верной жены» в Кливленде. В главной роли Этель Берримор. 295 спектаклей.

6 ноября — возвращение в Англию из США.

1927, 24 февраля — лондонская премьера пьесы Моэма «Записка» по его одноименному рассказу. В главной роли Глэдис Купер. 338 спектаклей. Рассказ экранизируется дважды: в 1929 году с Джин Иглз в главной роли и в 1940 году — в главных ролях Бетт Дэвис и Герберт Маршалл.

Весна — Моэм покупает «Виллу Мореск» («Мавританка») на мысе Ферра, на Лазурном Берегу, между Ниццей и Монте-Карло.

6 апреля — лондонская премьера «Верной жены»; в главной роли Фей Комптон.

Июль — по приглашению Моэма Сайри приезжает на «Мавританку» и осматривает виллу. По возвращении в Антибы пишет мужу письмо с предложением развестись.

Август — Моэм и Хэкстон окончательно переезжают из отеля на перестроенную и отремонтированную виллу «Мавританка».

1928 — в Париже выходит книга друга Моэма, французского критика Поля Доттена «У. Сомерсет Моэм и его романы» («W. Somerset Maugham et ses romans»).

Весна — в Лондоне Моэм знакомится с Аланом Серлом, который со временем сменит Джералда Хэкстона в роли его литературного секретаря и сожителя.

29 марта — в Лондоне, в издательстве Хайнеманна, выходит сборник рассказов Моэма «Эшенден, или Британский агент»; тираж — десять тысяч

экземпляров.

30 марта — «Эшенден, или Британский агент» выходит в Нью-Йорке в издательстве «Даблдей-Доран» тиражом десять тысяч экземпляров.

Осень — Моэм в Нью-Йорке на репетициях своей пьесы «Священное пламя».

19 ноября — нью-йоркская премьера «Священного пламени» с Глэдис Купер в главной роли.

1929 — близкий друг, американский издатель Моэма Нелсон Даблдей становится владельцем объединенного издательства «Даблдей-Доран».

11 мая — во Дворце правосудия Ниццы слушается дело о разводе Уильяма Сомерсета Моэма и Гвендолин Мод Сайри Моэм, урожденной Барнардо. Основание для развода — «семейная несовместимость».

31 мая — на Капри от рака печени умирает гейдельбергский приятель и наставник Моэма, поэт и переводчик Эллингем Брукс. Июль — Моэм завершает работу над романом «Пироги и пиво». Ноябрь — после завершения работы над «Пирогам и пивом» Моэм с Хэкстоном путешествуют по Греции, Египту и Турции.

1930, февраль — в Лондоне выходят путевые очерки и рассказы Моэма «Джентльмен в гостиной» о путешествии по Бирме, Сиаму и Индокитаю в 1922–1923 годах.

Апрель — «Джентльмен в гостиной» выходит в США в издательстве «Даблдей-Доран».

29 сентября — в лондонском издательстве «Хайнеманн» выходит роман Моэма «Пироги и пиво».

30 сентября — лондонская премьера комедии Моэма «Кормилец» в театре «Водевиль»; 158 спектаклей.

1931, январь — в США выходит роман «Джин и горькое пиво» — пародия на «Пироги и пиво». Автор — подруга вдовы Томаса Гарди, американская писательница Элино́р Мордонт, скрывающаяся под псевдонимом «A. Riposte» (буквально — «Ответный удар»).

Март — роман-пародия Э. Мордонт выходит в Англии под названием «Полный круг». В заглавии — аллюзия на пьесу Моэма «Круг».

27 марта — в Лондоне умирает от тифа Арнолд Беннетт.

17 сентября — в США, в издательстве «Даблдей-Доран», выходит сборник рассказов Моэма «Шесть рассказов, написанных от первого лица».

19 сентября — лондонская премьера пьесы Бартлетта Кормака по роману Моэма «Узорный покров»; в главной роли Глэдис Купер. 28 сентября — сборник «Шесть рассказов, написанных от первого лица» выходит в Лондоне в издательстве Хайнеманна.

Декабрь — Моэм в Париже; присутствует на процессе Альбера Давена, приговоренного к пожизненному заключению за убийство своего богатого американского друга Ричарда Уолла. Это убийство будет описано в романе Моэма «Рождественские каникулы» (1939).

1932, лето — Моэм и Хэкстон путешествуют на машине по Северной Италии, Австрии и Германии.

Сентябрь — путешествие Моэма и Хэкстона по Испании и Португалии.

Ноябрь — в Лондоне выходит роман Моэма «Малый уголок». Совокупный тираж романа только в США составил 67 тысяч экземпляров.

1 ноября — премьера пьесы Моэма «За заслуги» в лондонском театре «Глобус».

Ноябрь — декабрь — «За заслуги» печатается с продолжением в лондонской «Санди экспресс». Отдельным изданием пьеса выходит в Англии в декабре 1932 года, в США — в апреле 1933 года.

1933 — выходит составленная Моэмом антология путевого очерка «Библиотека путешественников» («The Travelers' Library»), где представлены более 50 современных английских писателей.

В Париже выходит исследование Сюзанны Гери «Философия Сомерсета Моэма» («La philosophie de Somerset Maugham»).

Январь — Моэм и Хэкстон снимают квартиру в Мюнхене.

14 сентября — лондонская премьера пьесы Моэма «Шеппи» в «Уиндэм тиэтр» в постановке Джона Гилгуда. Пьеса написана по мотивам раннего рассказа Моэма «Дурной пример» (1899) из сборника «Ориентиры». 83 спектакля.

19 сентября — в Лондоне, в издательстве Хайнеманна, выходит сборник рассказов Моэма «А Кинг: Шесть рассказов».

Октябрь — Моэм в Испании: Гранада, Севилья, Кордова.

9 ноября — сборник «А Кинг» выходит в США в издательстве «Даблдей-Доран».

1934 — выходит сборник избранных рассказов Моэма «Восток и Запад».

В лондонском издательстве Хайнеманна выходит первое собрание сочинений Моэма (The Collected Edition of the Works of W. Somerset Maugham).

На экраны выходит фильм «Время страстей человеческих» с Лесли Говардом в главной роли.

Март-апрель — Моэм и Хэкстон путешествуют на машине по Испании. Таррагона, Валенсия, Гранада, Гибралтар, Севилья, Мадрид.

Моэм собирает материал для книги по Испании.

Июнь — Моэм и Хэкстон во Французских Альпах.

Июль — август — Италия (Тоскана), Австрия, Италия (озеро Комо).

1935 — умирает старший из братьев Моэмов Чарлз.

Июнь — выходит книга Моэма об Испании «Дон Фернандо» (переиздание — 1950).

Июнь-август — Моэм и Хэкстон путешествуют по Центральной и Восточной Европе. Мюнхен, Зальцбург, Вена, Братислава.

2 ноября — Моэм вместе с Хэкстоном, впервые за последние семь лет, отплывает в США.

Ноябрь — 1936, март — Моэм и Хэкстон путешествуют по Северной и Центральной Америке. Нью-Йорк, Южная Каролина, Джорджия, Гаити, Доминиканская Республика, Мартиника, Святая Лючия, Тринидад, Французская Гвиана, Кюрасао, Картахена, Панамский канал, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорк.

1936 — Моэм жертвует пять тысяч фунтов на строительство теннисных кортов в Кингз-скул.

21 февраля — в США, в издательстве «Даблдей-Доран», выходит сборник рассказов Моэма «Космополиты: Очень короткие рассказы». Первоначально, с 1923 по 1929 год, эти рассказы объемом, не превышающим 1500–2000 слов, ежемесячно печатались в нью-йоркских журналах «Космополитэн мэгэзин», «Интернэшнл мэгэзин» и в лондонском журнале «Нэш мэгэзин».

30 марта — «Космополиты» выходят в Англии, в издательстве Хайнеманна.

24 июля — свадьба Лизы Моэм и сына швейцарского дипломата Винсента Паравичини в Вестминстере, в церкви Святой Маргариты. Медовый месяц молодых — на вилле «Мавританка».

Август — Моэм и Хэкстон в Будапеште.

13 октября — Моэм присутствует на торжественном ужине в лондонском ПЕН-клубе в честь семидесятилетия Герберта Уэллса.

1937 — В Париже выходит монография Поля Доттена «Театр У. Сомерсета Моэма» («Le théâtre de W. Somerset Maugham»).

Март — в Англии и в США почти одновременно выходит роман Моэма «Театр»; совокупный тираж первого издания 20 тысяч экземпляров.

10 июня — Моэм, вместе с Хэкстоном и своей приятельницей романисткой Глэдис Стерн, едет в Швецию и Данию. Стокгольм, Копенгаген.

Июль — Моэм решает продать виллу «Мавританка» и выставляет ее

на торги за 25 тысяч фунтов стерлингов, однако покупателей не находит.

Конец июля — Моэм в Австрии, Германии, Италии. Зальцбург, Мюнхен, лечебный курорт Бадгаштейн, Венеция.

Октябрь — у Лизы Моэм и Винсента Паравичини рождается сын Николас Сомерсет.

Ноябрь — в Лондоне выходит книга Ричарда Корделла «У. Сомерсет Моэм».

18 декабря — Моэм и Хэкстон отплывают в Бомбей.

Декабрь — 1938, март — Моэм и Хэкстон путешествуют по Индии. Бомбей, Гоа, Мадур, Мадрас, Бангалор, Хайдарабад, Калькутта, Бенарес, Агра, Дели, Бомбей.

1938, январь — в Лондоне выходит книга Моэма «Подводя итоги» — сочетание автобиографии, эссе об искусстве и исповеди.

Март — английский премьер-министр Невилл Чемберлен назначает старшего брата Моэма семидесятилетнего Фредерика Моэма лорд-канцлером.

«Подводя итоги» выходит в США.

7 сентября — Моэм, в сопровождении Алана Серла, едет в Швейцарию, в Кларенс, где проходит лечение в клинике профессора Пауля Ниханса «Лужайка» («La Prairie»).

17 сентября — возвращаясь из Швейцарии, на шоссе «Женева — Париж» Моэм попадает в автомобильную аварию, из-за чего на две недели задерживается в Париже.

14 декабря — старший брат Моэма лорд-канцлер Фредерик Моэм выступает в Конституционном клубе с речью в поддержку политики умиротворения Гитлера, которую проводит кабинет Невилла Чемберлена.

1939 — Моэм составляет и издает антологию рассказов английских, американских, французских, русских и немецких писателей под названием «Рассказчики историй. 100 новелл» («Tellers of Tales, 100 Short Stories»).

Выходит составленный Моэмом сборник рассказов, стихов и очерков английских и американских писателей «Вступление в современную английскую и американскую литературу» («Introduction to Modern English and American Literature»).

Январь — Моэм отплывает из Канн в Нью-Йорк.

Январь-март — Нью-Йорк, Сан-Франциско (гостит у драматурга Юджина О'Нила в Тао-Хаус), Чикаго, Вашингтон, Нью-Йорк. В нью-йоркской газете «Сатердей ивнинг пост» печатаются статьи Моэма о пользе чтения «Книга и ты» и «И снова — ты и книги». Февраль — в Англии тиражом 20 тысяч экземпляров выходит роман Моэма «Рождественские

каникулы».

Май — Моэм и Хэкстон в санатории в Монтекатини. Путешествуют по Тоскане: Флоренция, Лукка, Пистойя.

3 сентября — через два дня после начала Второй мировой войны Фредерик Моэм уходит в отставку с поста лорд-канцлера, пробыв на этом посту полтора года.

Октябрь — «Рождественские каникулы» выходят в США. Октябрь-ноябрь — Моэм, по заданию британского министерства информации, пишет брошюру о боевых действиях во Франции.

1940, весна — в американском журнале «Редбук» печатается с продолжением роман Моэма «Вилла на холме».

15 марта, 15 апреля — Моэм выступает по Би-би-си в серии передач «Vive la France!» («Да здравствует Франция!»).

Апрель — тиражом десять тысяч экземпляров выходит книга очерков Моэма «Воюющая Франция». Министерство информации Великобритании выкупает четыре тысячи экземпляров книги для бесплатного распространения по английским библиотекам. После падения Франции тираж книги из книжных магазинов изымается.

Лето — Лиза Моэм, беременная вторым ребенком, переезжает из Англии в США и останавливается у Нелсона Даблдея на Лонг-Айленде. Винсент Паравичини получает британское гражданство и идет в армию.

6 июня — в Англии, в издательстве Хайнеманна, выходит сборник рассказов Моэма «По тому же рецепту».

17 июня — 8 июля — вместе с еще 1300 беженцами — английскими подданными, в трюме угольщика «Солтерсгейт» Моэм отплывает из Ниццы в Марсель. Марсель, Оран, Гибралтар, Лиссабон, Ливерпуль.

18 июля — сборник «По тому же рецепту» выходит в США, в издательстве «Даблдей-Доран».

Октябрь — в американском журнале «Редбук» печатаются очерки Моэма «Подробности о крахе Франции».

2 октября — Моэм вылетает из Бристоля в Лиссабон, а спустя неделю вылетает из Лиссабона в Нью-Йорк, куда прибывает 11 октября и останавливается в отеле «Риц-Карлтон». Это первый перелет Моэма через Атлантику.

31 октября — Моэм, вместе с Томасом Манном и Францем Верфелем, выступает на обеде в пользу английской благотворительной организации «Комитет по неотложному спасению» («Emergency Rescue Committee»).

24 ноября — в Нью-Йорк с юга Франции, препоручив виллу «Мавританка» своему парижскому знакомому Леграну и спрятав картины у

соседей, прибывает Джералд Хэкстон.

26 ноября — Моэм выступает в Нью-Йорке на многотысячном митинге в поддержку создания союза всех демократических стран против нацизма.

Осень — 1941, зима — Моэм пишет статьи пропагандистского характера для американских журналов и газет.

20 декабря — Моэм и Хэкстон выезжают из Нью-Йорка в Чикаго, а оттуда — в Сан-Франциско, где до конца января живут у Бертрама Апансона.

1941–1942 — статьи Моэма печатаются в ведущих американских газетах и журналах: «Нью-йоркер», «Сатердей ивнинг пост», «Редбук», «Лайф», «Ливинг эйдж», «Всё для дома» («Housekeeping»), «На этой неделе» («This Week»).

Январь — в Сан-Франциско Моэм создает благотворительный фонд с целью приобретения машин «скорой помощи» для Великобритании. Собрано 400 тысяч долларов.

Март — с Западного побережья Моэм возвращается в Чикаго. Пропагандистский лекционный тур: Чикаго, Нью-Йорк, Филадельфия.

Апрель — в США выходит роман Моэма «Вилла на холме». Английский писатель, приятель Моэма Кристофер Ишервуд пишет вместе с автором сценарий по этому роману для кинокомпании «Уорнер Бразерс».

Конец мая — Моэм и Хэкстон выезжают на машине из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, где идут съемки пропагандистского фильма Моэма и где они пробудут до сентября, снимая дом на Саут-Бeverли-Гленн-Бульвар. Увлечение Моэма индийской философией. Встречи с Олдосом Хаксли и Кристофером Ишервудом.

Июнь — к Моэму в Лос-Анджелес приезжает дочь Лиза с детьми — сыном и только что родившейся дочерью Камиллой.

3 сентября — в Нью-Йорке выходит сборник Моэма «Строго по секрету» («Strictly Personal»), куда вошли статьи, печатавшиеся в американских газетах и журналах в 1940–1941 годах.

Декабрь — Моэм переселяется в бунгало «Паркерс-Ферри», на плантации Бонни-Холл, принадлежащей Нелсону Даблдею, в Йемасси, Южная Каролина, где живет зимние месяцы вплоть до конца 1944 года.

1942, январь — Моэм лечится от малярии в Нью-Йорке, в клинике венского врача Макса Вольфа, ученика Пауля Ниханса, практикующих так называемую «целлюлярную» терапию.

Апрель — в нью-йоркской газете «Сатердей ивнинг пост» печатается статья Моэма «За что вы нас не любите» об английском и американском

национальном характере; статья вызывает бурную читательскую реакцию.

28 мая — во время оборонительных боев Восьмой британской армии против танкового корпуса Роммеля в Северной Африке тяжело ранен племянник Моэма, начинающий писатель Робин Моэм, автор книги воспоминаний о Моэме.

Июнь — в Нью-Йорке выходит роман Моэма «За час до рассвета», написанный первоначально как киносценарий.

5 сентября — в Нью-Йорке Моэм присутствует на премьере фильма «Луна и грош» по одноименному роману.

9 ноября — в Нью-Хейвене, в мемориальном центре Фрэнсиса Бергена, Моэм выступает с лекцией о демократии и ответственности политика.

1943 — Моэм составляет и издает сборник рассказов, стихотворений, писем, эссе, речей английских и американских писателей под названием «Большое современное чтение» («Great Modern Reading»).

В Нью-Йорке выходит сборник наиболее известных произведений Моэма «Лучшее у Уильяма Сомерсета Моэма» («The W. Somerset Maugham Sampler»); составитель Джером Уайдмен.

Весна — Моэм сходитя с семнадцатилетним поэтом из Лоренсвилля Дэвидом Познером.

18 августа — Моэм завершает работу над романом «Острие бритвы».

1944, 25 января — Моэм в полном одиночестве отмечает свое семидесятилетие в Паркерс-Ферри.

Апрель — в США выходит роман Моэма «Острие бритвы» тиражом 375 тысяч экземпляров.

Начало июля — Моэм отвозит Хэкстона в туберкулезный санаторий на озере Саранак.

Июль — «Острие бритвы» выходит в Англии.

Август — Хэкстон лечится от туберкулеза в баптистском госпитале в Новой Англии, под Бостоном.

15 августа — американская Седьмая армия высаживается на Лазурном Берегу. Вилла «Мавританка» используется в качестве дома отдыха для офицеров.

7 ноября — в Нью-Йорке, в больнице «Докторе Хоспитэл», от аддисоновой болезни и туберкулеза в возрасте пятидесяти двух лет умирает Джералд Хэкстон.

1945, июнь — Моэм в Голливуде на съемках фильма по роману «Острие бритвы». Гонорар за сценарий — картина Писсарро «Гавань в Руане» стоимостью 15 тысяч долларов.

2 декабря — в США из Англии прибывает новый секретарь Моэма Алан Серл с рукописью романа «Бремя страстей человеческих».

1946, 20 апреля — Моэм дарит Библиотеке Конгресса рукопись романа «Бремя страстей человеческих».

Май — в США выходит предпоследний роман Моэма — из жизни Италии XVI века «Тогда и теперь».

29 мая — Моэм и Алан Серл на французском пароходе «Коломби» отплывают из Нью-Йорка в Марсель.

Июль — Моэм возвращается на виллу «Мавританка»; ремонт пострадавших от обстрелов и бомбардировок здания виллы и сада.

3 октября — Моэм присутствует на премьере новой постановки «Вышестоящих лиц» в лондонском театре «Плейхаус».

Декабрь — вилла «Мавританка» полностью отремонтирована.

1947 — Моэм выступает в Королевском литературном обществе с лекцией о Редьярде Киплинге.

В Королевском литературном обществе Моэм читает лекцию «Новелла» («Short Story»).

Апрель — Моэм учреждает «Премия Сомерсета Моэма».

Лето — Лиза Моэм разводится со своим первым мужем Винсентом Паравичини.

17 июля — в Англии, в издательстве Хайнеманна, выходит итоговый сборник рассказов Моэма «Игрушки судьбы», куда вошли лучшие рассказы писателя. В том же месяце сборник выходит в США, в издательстве «Даблдей-Доран».

Конец года — в американском журнале «Атлантик мансли» печатаются эссе Моэма биографического и критического характера.

1948, апрель — Моэм, в сопровождении Алана Серла, едет в Испанию, где работает над статьей об испанском живописце Франциско Сурбаране, встречается в Барселоне со своими правовыми агентами.

21 июля — Лиза Моэм выходит замуж за лорда Джона Хоупа, сына бывшего вице-короля Индии лорда Линлитгоу.

Август — тиражом 50 тысяч экземпляров выходит последний роман Моэма «Каталина» из времен испанской инквизиции. До книжной публикации роман печатался с продолжением в американском журнале «Харперс».

Сентябрь — в США, в филадельфийском религиозном издательстве Джона Уинстона, выходят отдельной книгой критические эссе Моэма «Великие романисты и их романы» («Great Novelists and Their Novels»), предваряющие отрывки из десяти лучших романов, в том числе «Войны и

мира» и «Братьев Карамазовых».

Ноябрь — на экраны США выходит фильм «Квартет»; в сценарий Р. С. Шериффа включены четыре рассказа Моэма: «На чужом жнивье», «Жена полковника», «Воздушный змей» и «Отцовский наказ». Каждый рассказ предваряется авторским комментарием. Декабрь — Моэм и Серл отплывают в США, где живут в Ойстер-Бее (штат Мэриленд) у Нелсона Даблдея; Даблдей находится при смерти.

1949 — Моэм путешествует по Португалии.

Январь — в возрасте 60 лет умирает Нелсон Даблдей.

25 января — 75-летний юбилей Моэм отмечает у Бертрама Алансона в Сан-Франциско.

Январь — февраль — перед возвращением в Европу из США Моэм пополняет свою коллекцию живописи, покупает на имя дочери полотна Руо, Ренуара, Клода Моне и Утрилло.

17 февраля — июнь — Грэм Сазерленд на вилле «Мавританка» пишет портрет Моэма. Моэм покупает портрет за 35 тысяч долларов и дарит его дочери Лизе, которая в 1951 году передает его в лондонскую галерею «Тейт».

Август — в статье, напечатанной в московской «Литературной газете», про Моэма говорится: «...незадачливый английский шпион, который ныне находится в услужении у своих новых хозяев с Уоллстрита с целью духовно разоружить массы».

Октябрь — в издательстве Хайнеманна выходят «Записные книжки» Моэма (записи с 1892 по 1944 год). Первоначально фрагменты из «Записных книжек» печатаются в нью-йоркском журнале «Космополитен». «Записные книжки» Моэм посвящает «памяти моего дорогого друга Джералда Хэкстона». Отрывки из «Записных книжек» Моэм читает по Би-би-си.

1950 — по американскому телевидению демонстрируется серия фильмов, снятых по рассказам Моэма «Театр Сомерсета Моэма»; фильмы сопровождаются комментариями автора.

6 марта — у Лизы Моэм рождается сын от лорда Хоупа Джулиан Джон Сомерсет.

30 марта — поездка Моэма и Серла в Марокко.

27 сентября — 10 ноября — последний визит Моэма в США.

5 октября — присутствует в Нью-йоркском музее современного искусства на закрытом просмотре фильма «Трио» — второго фильма по трем рассказам Моэма «Мистер Всезнайка», «Санаторий», «Церковный служитель».

11 октября — дарит рукопись своего раннего и неопубликованного романа «Творческий темперамент Стивена Кэри» Библиотеке Конгресса.

17 октября — присутствует на торжественном обеде в Институте искусств и литературы.

23 октября — дарит Библиотеке Моргана рукопись сборника рассказов «А Кинг».

2 ноября — читает в Колумбийском университете лекцию о Канте. Приобретает картины Ренуара, Тулуз-Лотрека и Боннара.

Ноябрь — читает в записи свои рассказы на Би-би-си.

1951 — Моэм и Серл на Капри и на Сицилии.

В издательстве Хайнеманна выходит «Полное собрание рассказов У. Сомерсета Моэма» в трех томах.

Март — вместе с премьер-министром Великобритании Клементом Эттли, Уинстоном Черчиллем и адмиралом лордом Корком Моэм выступает по приглашению президента Королевской академии живописи Джералда Келли на торжественном обеде в Академии. 21 апреля — у Лизы Моэм рождается второй сын от лорда Хоупа Джонатан Чарлз.

Конец июня — Моэму вручают в Оксфорде почетную степень доктора литературы.

Июль — сентябрь — Моэм лечится в Лозанне от ущемления грыжи. Октябрь — Моэм выступает на заседании Национальной книжной лиги с лекцией «Писательская точка зрения».

Ноябрь — Моэм посещает Кингз-скул в Кентерберии и просит у ее директора каноника Шерли разрешения захоронить свой прах на территории Кентерберийского собора.

1952 — «Полное собрание рассказов У. Сомерсета Моэма в двух томах» выходит в Нью-Йорке в издательстве «Даблдей и компания».

В издательстве Хайнеманна выходит трехтомник «Избранные пьесы У. Сомерсета Моэма».

Конец сентября — в Лондоне, в издательстве «Корнхилл», тиражом 40 тысяч экземпляров выходит сборник критических статей и воспоминаний Моэма «Переменчивое настроение» («The Vagrant Mood»).

1953 — Моэм и Серл в Турции и Греции.

Моэм жертвует три тысячи фунтов на строительство эллинга для учащихся Кингз-скул.

Выходит составленный Моэмом сборник стихов и прозы Редьярда Киплинга «Лучшее у Киплинга» («Choice of Kipling's Best»).

Январь — умирает бессменный редактор и друг Моэма Эдди Марш.

1954 — в издательстве Хайнеманна тиражом 50 тысяч экземпляров

выходит сборник избранных критических статей Моэма. В английском издании «Великие романисты и их романы» называются «Десять романов и их авторы» («Ten Novels and Their Authors»).

Чтобы избежать налога на наследство, Моэм превращает «Виллу Мореск» в корпорацию Société Civile Villa Mauresque и передает акции дочери Лизе.

25 января — торжественный обед в лондонском клубе «Дэвид Гаррик» в ознаменование восьмидесятилетнего юбилея Моэма.

Лето — в качестве почетного гостя Испанского государственного туристического агентства Моэм путешествует по Испании.

Июнь — королева Елизавета вручает Моэму в Букингемском дворце орден «Кавалер чести».

1955, 26 июля — в возрасте 76 лет умирает Сайри Моэм-Барнардо.

Август — Моэм в Зальцбурге на музыкальном фестивале.

1956 — в Рапалло умирает Макс Бирбом.

Январь-февраль — Моэм и Серл в Египте. Генуя, Александрия, Каир, Асуан, Луксор, Каир, Александрия.

11 февраля — возвращение на виллу «Мавританка».

Май — Моэм в Париже на 500-м спектакле «Обожаемая Джулия» — пьесы по роману «Театр».

1957 — Моэм и Серл присутствуют на лондонской премьере оперы «Луна и грош» по одноименному роману Моэма.

1958 — Моэм избирается вице-президентом Королевского литературного общества.

«Ночи костров» на вилле «Мавританка»: Моэм и Алан Серл регулярно сжигают письма, адресованные Моэму, а также неопубликованные произведения писателя, в частности четырнадцать рассказов из цикла «Эшенден».

23 марта — умирает старший брат Сомерсета Моэма, в прошлом лорд-канцлер Фредерик Моэм.

Май — Моэм и А. Серл вторично лечатся в швейцарской клинике доктора Ниханса.

Бертрам Алансон безвозмездно, с согласия Моэма, передает в Станфордский университет свою «моэмиану» — принадлежащие ему письма и рукописи Моэма.

26 мая — от рака горла в Сан-Франциско умирает Бертрам Алансон. Июнь — Моэм присутствует на открытии научных лабораторий в Кингз-скул, на которые жертвует десять тысяч долларов.

Ноябрь — выходит последний сборник эссе Моэма «Точки зрения»

(«Points of View»).

1959, январь — в США выходит биография Моэма «Сомерсет Моэм» его друга, университетского профессора Карла Пфайффера.

Апрель — Моэм путешествует по Европе: Лондон, Мюнхен, Бадгаштейн, Вена и Венеция.

5 октября — 1960, 5 марта — Моэм и Серл в Японии. Марсель — Аден — Бомбей — Коломбо — Сингапур — Сайгон — Манила — Гонконг — Кобе — Йокогама. Возвращение через Бангкок, Рангун, Сингапур (16 февраля), Марсель (5 марта). В Токио, в Марузене — самом большом книжном магазине города — Моэм произносит короткую речь, которая транслируется по телевидению.

1960, май — Моэм в Мюнхене, Бадгаштейне и Венеции.

Ноябрь — Моэм в Кентербери; на встрече с директором Кингз-скул писатель объявляет, что передает Королевской школе часть своей библиотеки.

1961 — Моэм открывает в Кингз-скул здание «Библиотеки Моэма», которой передает 1390 книг на разных языках из своей домашней библиотеки, а также рукописи своего первого и последнего романов: «Лиза из Ламбета» и «Каталина».

Февраль — Моэм — почетный член Королевского литературного общества.

Май — Моэму вручается памятный знак «Кавалер литературы», учрежденный Королевским литературным обществом.

31 мая — Моэм и А. Серл в Гейдельберге, где Моэм, в ознаменование 575-й годовщины Гейдельбергского университета удостоивается звания Почетного сенатора Гейдельберга «за безупречное изображение человеческого характера». Гейдельберг — Венеция — Милан.

24 июня — по данным журнала «Букселлер», совокупный тираж всех изданий произведений Моэма достигает 40 миллионов экземпляров.

14 сентября — Моэм принимает решение продать свою коллекцию живописи.

1962, 9 апреля — в издательстве Хайнеманна выходят отрывки из книги Моэма под названием «Исключительно для собственного удовольствия» («Purely for My Pleasure»), где писатель рассказывает о своей коллекции картин.

10 апреля — на аукционе «Сотби» в присутствии 2500 человек продаются 35 картин из коллекции Моэма на общую сумму 524 тысячи фунтов стерлингов.

Лето — английское издательство «Хайнеманн» и американское

издательство «Даблдей» отказываются печатать автобиографические записки Моэма «Вглядываясь в прошлое», в которых содержатся грубые нападки на покойную жену писателя.

Июнь — август — в США, в журнале «Шоу», печатаются фрагменты из книги Моэма «Вглядываясь в прошлое».

9 сентября — 28 октября — «Вглядываясь в прошлое» печатается в сокращении в лондонской «Санди экспресс».

28 декабря — Моэм отказывает Лизе в правах на наследство, не желая признавать ее своей законной дочерью. Одновременно он усыновляет А. Серла, который становится, таким образом, его единственным наследником.

1963 — в Нью-Йорке, в издательстве «Даблдей и компания», выходит сборник «Избранные вступительные статьи и предисловия У. Сомерсета Моэма».

7 апреля — Моэм, в сопровождении Серла, — в Венеции. Это последнее путешествие писателя.

12 июня — во Дворце правосудия Ниццы слушается дело «Леди Лиза Хоуп против У. Сомерсета Моэма» об усыновлении А. Серла и лишении прав на наследство Лизы Моэм (леди Хоуп).

3 июля — суд выносит решение в пользу дочери Моэма Лизы — она законная наследница писателя. Суд подтверждает права Лизы как его законной дочери; усыновление же А. Серла признано судом недействительным и аннулируется.

1964, 22 января — Лиза Моэм выигрывает процесс против аукциона «Сотби» и получает свою долю от продажи картин в апреле 1962 года.

9 июля — Моэм составляет завещание; Лиза получает виллу «Мавританка», а А. Серл — обстановку виллы, 140 тысяч долларов и процент с продаж произведений писателя. После смерти Серла доход от продажи прав поступает в Королевский литературный фонд для поддержки неимущих авторов и их семей.

1965, март — у Моэма двусторонняя пневмония.

Декабрь — Моэма госпитализируют в англо-американский госпиталь в Ницце.

16 декабря, 3.30 утра — Уильям Сомерсет Моэм умирает в англо-американском госпитале в Ницце. После кремации его прах погребен в Кингз-скул у стены школьной библиотеки (впоследствии названной «Библиотека Моэма»).

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Barnes, Ronald E. *The Dramatic Comedy of William Somerset Maugham*. The Hague-Paris, 1968.

Bennett, Arnold. *Journals, Volume 1: 1896–1910*. London, 1932.

Brander, Laurence. *Somerset Maugham. A Guide*. Edinburgh-London, 1963.

Calder, Robert Lorin. *Willie: The Life of W. Somerset Maugham*. London, 1989.

Curtis, Anthony. *The Pattern of Maugham. A Critical Portrait*. London, 1974.

Curtis, Anthony. *Somerset Maugham*. New York, 1977.

Fisher, Richard B. *Syrie Maugham*. London, 1978.

Kanin, Garson. *Remembering Mr. Maugham*. London, 1966.

Loss, Archie Krug. *W. Somerset Maugham*. New York, 1987.

Mander, Ray; Mitchenson, Joe. *Theatrical Companion to Maugham*. London, 1955.

Maugham, Robin. *Somerset and All the Maughams*. London, 1966.

Maugham, Robin. *Conversations with Willie*. London, 1978.

Maugham, W. Somerset. *Andalusia: Sketches and Impressions*. New York, 1920.

Maugham, W. Somerset. *Collected Works: In 28 volumes*. London, 1934–1969.

Maugham, W. Somerset. *Don Fernando*. London, 1935.

Maugham, W. Somerset. *France at War*. New York, 1940.

Maugham, W. Somerset. *Strictly Personal*. New York, 1941.

Maugham, W. Somerset. *Then and Now*. New York, 1946.

Maugham, W. Somerset. *A Writer's Notebook*. London, 1949.

Maugham, W. Somerset. *The Travel Books of W. Somerset Maugham*. Melbourne, 1955.

Maugham, W. Somerset. *Collected Plays: In 3 volumes*. London, 1955.

Maugham, W. Somerset. *Looking Back*. London, 1962.

Maugham, W. Somerset. *The Gentleman in the Parlor*. New York, 1970.

Maugham, W. Somerset. *A Traveler in Romance: Uncollected Writings, 1901–1964*. New York, 1984.

Menard, Wilmon. *The Two Worlds of Somerset Maugham*. Los Angeles, 1965.

- Morgan, Ted. Somerset Maugham. London, 1980.
Nichols, Beverley. A Case of Human Bondage. London, 1966.
Pfeiffer, KarlG. W. Somerset Maugham. A Candid Portrait. New York, 1959.
Raphael, Frederick. Somerset Maugham and His World. London, 1976.
Walpole, Hugh. Somerset Maugham. A Pen Portrait by a Friendly Hand. In: Vanity Fair: A Cavalcade of the 1920s and 1930s. New York, 1960.
Whitehead, John. Maugham: A Reappraisal. London, 1987.

**ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ С. МОЭМА НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ**

- Дождь. Рассказы. М., 1961.
Ожерелье. Рассказы. М., 1969.
Избранные произведения: В 2 т. М., 1985.
Искусство слова: О себе и о других. М., 1989.
Собрание сочинений: В 5 т. М., 1991–1994.
Вилла на холме; Эшенден, или Британский агент. Рассказы. М., 1992.
Полное собрание рассказов: В 5 т. М., 2000–2002.
Луна и грош. Рассказы. Острие бритвы. М., 2003.
Записные книжки. М., 2009.
Малый уголок. М., 2010.
На китайской ширме. М., 2010.
Подводя итоги. М., 2010.
Рождественские каникулы. М., 2010.

notes

Примечания

1

Перевод А. Франковского.

2

Грязные немцы (фр.).

Перевод И. Стам.

4

Перевод М. Загота.

Перевод М. Лорие.

Перевод И. Стам.

Здесь и далее перевод И. Стам.

Перевод Е. Гольшевой, Б. Изакова.

Перевод Н. Ман.

Перевод Ю. С. и И. З. под редакцией Э. Кузьминой.

Перевод Е. Гольшевой, Б. Изакова.

Перевод И. Стам.

Перевод И. Стам.

Перевод Е. Гольшевой, Б. Изакова.

Перевод Н. Ман.

Перевод Ю. С. и И. З. под редакцией Э. Кузьминой.

Перевод И. Стам.

Перевод М. Лорие.

Перевод Н. Ман.

Перевод М. Лорие.

Перевод Е. Гольшевой, Б. Изакова.

Перевод И. Стам.

Перевод Ю. С. и И.З. под редакцией Э. Кузьминой.

Перевод М. Лорие.

Перевод И. Стам.

Перевод Е. Гольшевой, Б. Изакова.

Здесь и далее перевод И. Стам.

Перевод М. Зинде.

Перевод А. Иорданского.

Перевод И. Стам.

Перевод М. Зинде.

Перевод Ю. С. и И. З. под редакцией Э. Кузьминой.

Перевод И. Стам.

Перевод М. Лорие.

Перевод М. Лорие.

Перевод М. Лорие.

Перевод И. Стам.

Перевод Н. Васильевой

Здесь и далее перевод И. Стам.

Перевод М. Лорие.

Цитаты из пьесы даются в переводе В. Харитонова.

Перевод М. Лорие.

Перевод Ю. С. и И. З. под редакцией Э. Кузьминой.

Перевод И. Стам.

Перевод М. Лорие.

Перевод Ю. С. и И. З. под редакцией Э. Кузьминой.

Перевод М. Лорие.

Перевод М. Лорие.

Здесь и далее перевод Е. Гольшевой и Б. Изакова.

Перевод М. Лорие.

Перевод М. Лорие.

Перевод Н. Васильевой.

Перевод М. Лорие.

Перевод Е. Гольшевой, Б. Изакова.

Перевод М. Лорие.

Перевод А. Стерниной.

Перевод Ю. С. и И. З. под редакцией Э. Кузьминой.

Перевод Ю. С. и И. З. под редакцией Э. Кузьминой.

Перевод И. Стам.

Перевод Ю. С. и И. З. под редакцией Э. Кузьминой.

Перевод Л. Беспаловой.

Так по-английски звучит фамилия Моэм.

Итак, для начала суп с фрикадельками. А потом телячьи эскалопы в мадере. А на десерт крем-брюле (фр.).

Сыр «бри» в желе (фр.).

Перевод М. Зинде.

Манн Т. Волшебная гора. Перевод В. Станевич.

Перевод Л. Беспаловой.

Перевод М. Зинде.

Перевод Л. Беспаловой.

Перевод А. Кудрявицкого.

Перевод Л. Беспаловой.

«Десять романов и их создатели». Перевод М. Зинде.

Перевод А. Кудрявицкого.

Свифт Дж. Путешествия Гулливера. Здесь и далее перевод под редакцией А. Франковского.

Перевод И. Бернштейн.

Перевод И. Бернштейн.

Здесь: что-то не поделили (фр.).

Перевод И. Бернштейн.

Перевод И. Стам.

Здесь и далее перевод И. Гуровой.

Перевод И. Стам.

Перевод И. Стам.

Перевод М. Лорие.

См., например, статью В. А. Скороденко «Художник слова и англичанин». В кн.: Моэм С. Луна и грош. Рассказы. Острие бритвы. М.: АСТ, НФ «Пушкинская библиотека», 2003.

Перевод И. Бернштейн.

Перевод М. Лорие.

Здесь и далее перевод И. Бернштейн.

Перевод М. Лорие.

Перевод И. Бернштейн.

Перевод М. Зинде.

Перевод И. Бернштейн.

Здесь и далее перевод Р. Облонской.

Здесь и далее перевод И. Гуровой.

Перевод М. Беккер.

Перевод Т. Казавчинской.

Перевод М. Лорие.

Перевод Н. Галь.

Перевод М. Загота.

В первой редакции этот рассказ назывался точнее: «Искушение Нейла Макадама» («The Temptation of Neil MacAdam»).

Здесь и далее перевод Н. Васильевой.

101

Кофе с молоком (фр.).

Сладкой жизни (фр.).

Перевод М. Зинде.

Перевод М. Зинде.

Чарлз Лэм известен печатавшимися в периодике «Очерками Элии» (1823).

Любителем, почитателем (исп.).

Бюро, секретер (исп.).

«Издано вдовой Алонсо Гомеса, печатника его величества в Мадриде»
(исп.).

Volver — возвращаться (исп.).

«Доброй и несказанно красивой принцессой» (фр.).

«Цвет святости» (лат.).